

ISSN 0012-6756



Дружба народов

6/2025



В номере:

Что происходит со временем?..

«Мы, недавние москвичи, “перебежчики” из Петербурга-Ленинграда, ходили знакомиться и любоваться Москвой. Нам нравилось всё: кривые улицы с горками и спусками, невиданные в Питере, старомосковские особнячки с фамильными вензелями, путаница Басманных переулков ...» В повести Алексея ИВАНОВА «Формула московского утра» герои путешествуют во времени и обстоятельствах прошлой жизни, в перипетиях политики (как же без этого в среде русской интеллигенции!) внутренней, внешней и мировой. «Ускорилося время, и вот уже гвардейские офицеры, напившись вина, идут под командованием Николая Зубова и Леонтия Беннигсена по гулким коридорам Михайловского замка мимо караульных, для которых время замедлилось, а бедный, бедный Павел в ночной сорочке прячется за портьеру... Утро поплыло над Москвой...»

«Всё во мне, и я во всём»

«...Грустной красотой, печалью одиночества, горьким привкусом отрешённости повеяло от заброшенного жилища. ...Под банкой со свечой — пожелтевший листок в клеточку. Записка: “Добро пожаловать, добрый человек! Располагайся, отдыхай. Будешь уходить, не забудь прикрыть дверь”. Хозяин давно покинул хижину, скорее всего, его уже и среди живых нет, а приглашение осталось. Приятно быть добрым человеком, которому доверяют, приглашают отдохнуть. Хотя бы и с того света...» Рассказ Николая ВЕРЁВОЧКИНА «Хижина в ореховой роще» — о полноте и хрупкости жизни. Акварельное письмо отправляет к Паустовскому и Казакову.

«и радость есть... и счастье ещё будет»

Лирические миниатюры Алексея АЛЁХИНА — афористичные, лёгкие, звонкие, как «ноты из воздуха», — о творчестве, о судьбах людей и жизни, которая не меньше, но и не больше, чем «вдох выдох вдох».

Стихи о любви пишут Евгений ДЬЯКОНОВ: «ты любила/ цветы полевые... / мне по нраву/ цветы — болевые», — и Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ: «Люблю — такое маленькое слово».

Казахстанский поэт Заир АСИМ в своих философских верлибрах раздумывает «о жизни памяти» и делает парадоксальный вывод: «воспоминания даны чтоб не помнить».

...в «лихие 90-е»

Две картинки из калейдоскопа.

«Просмотр “Санты-Барбары” стал частью повседневной жизни, три дня в неделю — в среду, четверг и пятницу (а затем и чаще) — после новостей спешили москвичи к телевизору. Появились анекдоты. Жена говорит мужу: “Я уеду жить в Санту-Барбару!” “Да ты же языком не владеешь! Как ты там будешь?” — “Зато я там всех знаю!”» Сериал шёл на канале РТР с 1992-го по 2002 год.

В 1998-м на Таганке Юрий Любимов ставит спектакль по роману Солженицына «В круге первом». Премьера совпала с 80-летием автора. «Здесь же, в театре, Александр Исаевич заявил, что отказывается принять высшую награду страны — орден Святого апостола Андрея Первозванного: “От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу”».

«Культура “лихих 90-х” тем и отличается от культуры эпохи застоя или оттепели, что её очень сложно структурировать, — утверждает Александр ВАСЬКИН. — Повседневная жизнь была частью этой культуры».

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.04.2025.
Подписано в печать 22.05.2025.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН





СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алексей АЛЁХИН. Вдох выдох вдох. <i>Стихи</i>	3
Алексей ИВАНОВ. Формула московского утра. <i>Повесть</i>	6
Владимир СУХОРЕБРЫЙ. Сонет. Шекспир. Венок. <i>Рассказ с грузинским акцентом</i>	44
Евгений ДЬЯКОНОВ. ...И счастье ещё будет. <i>Стихи</i>	58
Вадим ГАЛКИН. Добрые нелюди. <i>Рассказ</i>	62
Андрей ТЕМНОВ. Эол. <i>Рассказ</i>	76
Николай ВЕРЁВОЧКИН. Хижина в ореховой роще. <i>Рассказ</i>	88
Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ. Такое маленькое слово. <i>Стихи</i>	110
Михаил БАЛАБИН. Правильно — любить. <i>Рассказы</i>	113
Ирина БАРАБАНОВА. Дитё Советского Союза. <i>Рассказы</i>	132
Анна ПЕСТЕРЕВА. Два рассказа	143
Анна БЕЗУКЛАДНИКОВА. Тетрис. <i>Рассказ</i>	153
Заир АСИМ. О жизни памяти. <i>Стихи</i>	163

ПРОЗА. ДОС

Игорь КЛЕХ. Книга старости. <i>Главы из парадоксальной повести</i>	166
--	-----

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Наталья САЛТАНОВА. Два рассказа	185
---------------------------------------	-----

МАЛЕНЬКИМ КАРАНДАШОМ

Багдат ТУМАЛАЕВ. В тени бога. <i>Миниатюры</i>	191
--	-----

НАЦИЯ И МИР

Алёна ТИМОФЕЕВА. Театральные перекрёстки Алматы	193
---	-----

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Нина ОРЛОВА-МАРКГРАФ. На всхожем солнце. <i>Этнографическая повесть.</i> <i>Избранные главы</i>	197
--	-----

ПРОСТО ЖИЗНЬ

Александр ВАСЬКИН. «Санта-Барбара» 90-х. <i>Беглые заметки</i> <i>о духовной жизни общества</i>	212
--	-----

NON-FICTION PRO

Александр ЧАНЦЕВ. Анархи, хаоты и суфийский катехон	242
---	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Кто сегодня знаменитый?	263
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Дон Кихот из Рыбинска	268
---	-----

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Хижина в ореховой роще. <i>Фотоохота Николая Верёвочкина</i>	
--	--

Алексей Алёхин

ВДОХ ВЫДОХ ВДОХ

Притча о новых людях

...вкусив сытости и воли
обменяли всё достояние своё на игрушки
и убежали от Бога как дети от родителей

зная что те их всё равно разыщут

Наука любви

путеводитель по женщине прочитал до конца
и всё равно заблудился

в бретельках и кружевах
в туманной как облако линии бедра
в азаниях на подоконнике

отчего у них такое самоуверенное лицо
когда входят в спальню
с выглаженным бельём в руках?

огрызок Евиного яблока
так и валяется в Раю на боковой дорожке

вот приду и поддену ногой

Алёхин Алексей Давидович — поэт, эссеист, критик. Родился в 1949 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор более десяти книг стихов и поэтической прозы. Основатель и главный редактор первого русского поэтического журнала «Арион» (1994—2019). Лауреат премии «Петрополь» (2004), премии журнала «Новый мир» (2013) и др. Живёт в Москве.

Это с тобой

я понял
число звёзд на небе нечётное

иначе небо было бы можно поделить
пополам

Предвкушение концерта

сад уже надушился вечерними духами

ноты из воздуха усеяли чёрными точками лопух
электричка пробует голос

багровый край светила рухнул за дальние сирени
как люстра в мюзикле

на тёмных хорах речитативом заскрипели птицы
заведённые басовым ключом

им тихо рукоплещут липы

Двери закрываются

увидев человека с собакой на поводке
улыбнись собаке

моё отражение
так и застряло в тёмном бабушкином зеркале
когда та была жива

а помнишь как мы увязли в небесах
и шлёпнулись оттуда в расстеленную простынь?

это из учебника английского:
Mr. Smith and Mrs. Smith went for a long walk

закатный свет не похож на утренний

напоследок мелькнёт ещё в окнах что-то светленькое
вроде халатика медсестры

берёзе надоело расти и она засохла

Творчество

а внутри тебя заведётся мраморный человек

толкается твёрдым локтем под ребро
и раздвигает грудь

а после выйдет как через кирпичный проём
из разрушенного дома

с оббитыми руками
без головы

только широкоплечий торс и шагающие ноги

и сверху окаменелые облака

Вдох выдох вдох

уличные словечки разлетелись как воробы
рабочие закапывают трубы в землю

вот маляры придут и перекрасят небо

Осенняя уборка

старик причащает сад к зиме
не зная увидит ли летом

пусть ему снег будет пухом

Светопредставление

на чёрном беззвёздном небе
загорается огромными белыми буквами

КОНЕЦ

и все выходят из зала

Алексей Иванов

Формула московского утра

Повесть

...И в сердце входит медленная пуля.

С.В. Петров

Жена спала, трогательно свернувшись калачиком. Я пожалел, что отворил дверь, потому что она почти сразу, хоть я и старался не шуметь, открыла глаза.

— Ты хочешь идти гулять? Я с тобой! — Она спустила ноги с кровати.

Во дворе старый бомж мыл бутылки. Он извлекал их из необъятного мешка и держал под журчащим ручейком, бежавшим из ржавой трубы, высунувшейся сквозь забор, окружавший детский сад. Чистые бутылки стояли длинными разнокалиберными рядами, но мешок был по-прежнему набит. Я, по обыкновению, кивнул ему, но он почему-то не ответил. Видимо, решил, что мне, идущему с интеллигентной дамой, не к лицу или западло быть знакомым с бомжом. Тем более утром, когда он ещё не успел умыться вот тут же, под струёй воды, светящимися на солнце брызгами разлетающейся под коричневыми корявыми ладонями.

— Он похож на грузина, — сказала жена.

— Может быть, — сказал я и перевёл разговор.

Мне не хотелось, чтобы он был похож на грузина. Хотя на самом деле он напоминал моего дядю Шалико, когда тот мыл бутылки, подставляя их под журчащий ручёк, бегущий с горы по деревянному жёлобу. Гора эта, на вершине которой, там, где начинался альпийский луг и пасли коров и овец, всегда казалась мне не очень высокой и безобидной. Пока я не узнал, что однажды с неё сошла лавина и медленно, но с какой-то мрачной молчаливой силой сдвинула с фундамента старый, построенный ещё прадедом дом, навалившись на стены, выдавила окна, заползла внутрь и постепенно разрушила: по старым

Иванов Алексей Георгиевич родился в Ленинграде. Автор романов, в т.ч. «Опыт № 1918» (М., ArsisBooks, 2019; первая публикация: «ДН», 2017, №№ 5—7), нескольких книг повестей и рассказов. Печатался в журналах «Звезда», «Аврора», «Нева» и др., книги выходили в издательствах «Лениздат», «Советский писатель». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — роман «Крестословица» (2024, №№ 8—9).

штукатуренным бокам пошли трещины, снег, утрамбованный и твёрдый, как камень, втиснулся в нижний этаж, поднялся по треснувшей стене вверх и обрушил его. Хорошо, старики — мрачноватый, чёрный, похожий на насупившегося беркута Шалико и голубоглазый, весёлый Ваню — не дожили до этого дня.

Мы вышли на проспект Сахарова, несостоявшийся Новокировский, поднялись по Садово-Спасской вверх до Красных ворот и перешли улицу на сторону Министерства железнодорожного транспорта. Точнее — на Новую Басманную. К храму, построенному по рисунку-проекту Петра I. Говорят, Пётр ездил в Преображенское именно по Новой Басманной, а не по Покровке и Старой Басманной. Мы любили этот храм. Я — за лёгкость архитектуры и галерею на втором этаже, жена — за намоленность, шапочку Митрофания Воронежского, который ей был почему-то особенно близок. Мне удалось как-то купить редкую икону Митрофания Воронежского. Я подарил жене, а она позже отдала её, с моего ведома, в храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Басманной слободе. С условием, что икона будет висеть неподалёку от ниши со стеклом, где хранилась шапочка свт. Митрофания. Конечно, как я и предполагал, икону и не подумали повесить, но в храм мы иногда ходили.

Солнце с трудом пробивалось сквозь довольно плотный туман. Колокольня храма куталась в разведённом небесном молоке, но солнце добралось до золотого навершия колокольни. Это напоминало импрессионистов. Красавица-башня выныривает из белёсого полупрозрачного тумана и плывёт, сверкая солнечным золотом. Может быть, так и представлял её Пётр? Солнечная сторона улицы была явственно отделена от теневой. Там, слегка смазанные туманом, шли одно за другим строения Куракинского шпиталья, первого в России странноприимного дома, богадельни, где в скоромные дни давали мясо и птицу, а в постные — рыбу. И по праздникам, а их было поболее двухсот в году, кормили до пятисот московских нищих. Рядом с Куракиными — Демидовы, Головины, Голицыны, Трубецкие, золотопромышленник-эстет Н.Д.Стахеев. И все не случайно, не папрасно, — строились на века и жили веками.

Мы, недавние москвичи, «перебежчики» из Петербурга-Ленинграда, ходили знакомиться и любоваться Москвой. Нам нравилось всё: кривые улицы с горками и спусками, невиданные в Питере, старые деревья, то похожие на зелёный взрыв среди улицы, то будто нарисованные каким-нибудь английским графиком вроде Обри Бердслея, старомосковские особнячки с фамильными вензелями, пусть даже и уродливо надстроенные в советские времена, путаница Басманных переулков, где можно встретить... вот карета с гербом князей Куракиных четвернёй и с двумя дылдами за запятками или изысканная коляска Голицыных. Распахиваются парадные въездные ворота, лакей в бакенбардах и парике встречает коляску и бежит рядом, чтобы успеть откинуть ступеньку. Запах сирени из сада, запах здоровых, разгорячённых коней, чистейшего дёгтя и драгоценных парижских духов...

Новая Басманная любила играть с нами. То, если смотреть с солнечной стороны, обернётся старой, мощённой булыжником мостовой, то прокатят мимо Голицынской усадьбы комиссары в кожанках на лакированном «Линкольне»

из царского гаража, то мне самому захочется заглянуть, кто же так торжественно прибыл в карете четвернёй... Человек в парике галантно подаёт руку даме, помогая выйти из кареты, я вижу свежую девичью щёчку, крутые кольца парика и нежный, словно чуть задыхающийся голос. Ах, Новая Басманная, всякий раз приоткрывающая свою исчезнувшую жизнь! Дом Мусина-Пушкина, который называют домом Брюса. Конечно же, того самого, колдуна Брюса. Впрочем, сам Брюс в этом доме никогда не бывал. Из видимых тайн осталась лишь таинственная мраморная доска от солнечных часов с «вечным» календарём и едва видимые буквы тайнописи, учинённой аббатом Адрианом Сюригом, которые до сих пор никто не прочитал. Дом со стороны кажется мёртвым. А как можно выжить, когда в тебя (1812 год!) вселяются французы и, поражаясь богатейшему убранству (дикая страна!), бродят по залам, украшенным золочёной резьбой, рассматривая дивные картины, постреливая в них, испражняясь в изумительной красоты и цены китайские вазы и поджигая (шутка, господа!) драгоценные гобелены на стенах. Дом не ожил после французов, хотя и впустил в себя 2-ю московскую гимназию, военный госпиталь Красной армии, потом Дом Красной Армии, индустриально-педагогический институт им. Карла Либкнехта, а с военного 1943 года — Московский строительный университет, в девичестве МИСИ им. Куйбышева. Особняк-дворец хотел смириться (примириться?) с этой жизнью, но она неслась быстрее старого дома: переворот вышвырнул гимназию и разместил красных командиров. Почему-то сразу сломались перила красного дерева, почернели и раскололись ступени на мраморной лестнице и подсолнечная шелуха вперемешку с остатками самокруток покрыла наборный паркет, заказанный Мусиным-Пушкиным у итальянских мастеров. Итальянские же мраморы-скульптуры исчезли из дома как-то сами собой, словно поняв, что им тут уже не место. Оставались ещё привезённые из Рима антики — барельефы на мраморных досках, но при очередном коменданте, задумавшем ремонт, и они исчезли. Ремонт тоже не состоялся. А позже, когда в дом вселились архитекторы, особняк показался маловат, и был надстроен ещё этаж. Такая была мода в те времена. Я ещё не подошёл к нему, но уже издали видно было, что дом мёртв. Так сразу по неуловимым признакам распознаёшь мертвеца. Но я пришёл к нему как к близкому родственнику на кладбище. Мне захотелось поговорить с ним, он молчал, это было сочувственное молчание.

А направо шла Старая Басманная, бывшая Коммуны, Марксова улица и позже — Карла Маркса. Совсем потерявшая старый облик и дух. Не спасал ни заброшенный особняк Муравьёвых-Апостолов, ни старый, безжизненный храм мученика Никиты, ни парадный въезд в усадьбу Голицыных с вечной выставкой Сальвадора Дали и Пикассо в подвале бывшего дома прислуги. Что-то было общее по идиотизму в шутовском автопортрете Дали с лихо закрученным усом, разделённом пополам автором рекламного плаката — видимо, абсурда Дали и безумия Пикассо ему показалось маловато по сравнению с нынешним названием бывшей усадьбы князей Голицыных: «Сад им. Н.Э.Баумана».

Спросите москвичей, и может быть, сотый ответит после задумчивой паузы: «Какой-то революционер. Кажется, его убили». А на вопрос «почему

Императорское московское инженерное училище теперь называется Университетом... имени Баумана?» и вовсе никто не ответит.

Как не ответит никто, почему сын владельца обойной и столярной мастерской, родом из тихих поволжских немцев, бросил гимназию, принялся учиться на ветеринара, — недоучившись, кинулся, как тогда было принято говорить, «с головой» в революцию? За что был арестован, сидел 22 месяца в одиночной (почему?) камере, был выпущен и сослан в город Орлов Вятской губернии, но почти сразу бежал за границу? Чем там занимался и на что жил? Что за «дело Баумана» — некто Василий Митров, отбывавший с ним ссылку, требовал партийного суда над ним из-за самоубийства Клавдии Приходьковой, супруги Митрова? Она сошлась с Бауманом, а после тот посылал (куда? кому?) компрометирующие письма из-за границы, доведшие её до суицида. Как собрать по осколкам хотя бы примерный образ их жизни? Как относилась к этой истории фактическая жена и соратница Баумана по партии Капитолина Григорьевна Медведева?

Вернулся Бауман в Москву по указанию Ленина «для борьбы с меньшевиками». А кем был тот мужик Николай Михалин, вскочивший в пролётку 18 октября 1905 года, на которой мчался Бауман, держа в руках лозунг «Долой самодержавие!»? И почему стрелял в него из браунинга Бауман? Что за драка произошла в пролётке? Якобы Бауман кричал «долой царя!», а Михалин возмутился: «...Как это “долой царя”, я ему пять лет верой и правдой...» Заражённый марксизмом поволжский немец Бауман был убит возле дома Ключиной на Немецкой (!) улице. В Михалина стреляли соратники Баумана, но он скрылся в воротах картонной фабрики Щапова. А потом были похороны на Ваганьковском. При большом стечении народа. А как же Университет, он же бывшее Высшее техническое училище имени Баумана? А так... Немецкая-то улица, где разыгралась трагедия, неподалёку была от Императорского училища. Вот тебе и «Сад им.Баумана», бывшая усадьба князей Голицыных. С выставкой Дали и Пикассо. Говорят, усадьба Голицыных суший рай для соловьёв. Интересно, это потомки тех же соловьёв, которых князь Михаил Михайлович Голицын, большой любитель и знаток птичьих голосов, завёз из Курской губернии, где птички были особенно хороши? Птички прижились и «слух зело услаждали». А потому всем москвичам позволялось «гулять по саду невозбранно».

А на углу Гороховского переулка у меня жила тайна. Нет, тайна эта не была связана с именем великого живописца Рокотова, когда-то была здесь его мастерская и даже дом, где он, кажется, не жил и дня. Я бывал в этой путанице дворики и проулков до женитьбы, о чём не знала жена. Тогда я долго плутал среди стареньких деревянных домов-особнячков, радовавших привыкший к дворцам глаз петербуржца, пока не увидел на крылечке одного из них одинокую фигурку. Волнами накатывали запахи сирени и черёмухи. Пока я бродил по Старой Басманной (тогда ещё Карла Маркса), уже начало вечереть, но было не по-весеннему тепло. Я сразу узнал её. Когда-то мы с ней целовались в садике возле Греческой церкви в Ленинграде. Она жила неподалёку и должна была прийти домой до возвращения мамы. Я не помнил, о чём мы говорили тогда.

Или молчали? Наверное, говорили, потому что её мама вышла замуж за инженера-путейца, и они должны были переехать в Москву. Осталось в памяти сложное чувство — близкой потери. Может быть, первой близкой и неизбежной потери. Странно, вот мы сидим в обнимку на неудобной скамейке, я чувствую тепло её рук, помню горячие губы и солоноватые слёзы: она не хотела уезжать, чувствовала, что мы расстаёмся навсегда. Какое тяжёлое слово «навсегда». В смысл этого слова человек не хочет вникать: навсегда — это как? И почему это так, когда можно сидеть обнявшись в садике возле Греческой церкви, целовать мягкие губы и в тишине вдруг замершего города слышать, как с соседнего куста жасмина опадают тяжёлые лепестки. Похожие на бабочек-однодневок, взлетевших весёлым роем вверх и теперь, выполнив таинственную миссию, рассыпавшихся под грузными ветвями жасминового куста. Я проводил её до дома в Озёрном переулке, она медленно поднималась по широкой с крутым поворотом лестнице, слышны были её исчезающие, нерешительные шаги, словно она ждала, что я позову. Ах, как простучали бы её каблучки вниз, как мы бросились бы друг к другу... Но я не позвал. Будто слово «навсегда» придавило меня. Навсегда — это вот эти затихающие, замедляющиеся шаги, слышные откуда-то сверху, из-за широкого разворота мраморной лестницы.

Оказалось, что не навсегда. Случайно или почти случайно, мне хочется думать, что «что-то вело» меня, я зашёл домой к тогда ещё живым родителям по старому своему адресу. И оказалось — мне письмо. Оно было коротким. Что-то вроде: «Я собираюсь уезжать насовсем. Если сможешь, приезжай до... — тут стояла дата отъезда. — Я буду очень ждать. Твоя...» Это было время массового отъезда евреев в Израиль. Или вообще отъезда. Куда-нибудь. Но при чём тут она? Хотя я слышал краем уха, что она вышла замуж. И, кажется, удачно. Об этом рассказала мне наша старая подруга. «Кажется, удачно» она произнесла с особым смыслом, давая понять, каким же я был дураком. И после «кажется, удачно» понятно, что это навсегда. Опять мраморно-могильное «навсегда».

И опять — нет. Я иду, путаясь в московских особнячках с дурацкими «строение 1», но тут же почему-то «строение 7» и вдруг вижу: на крыльце одного из «строений» стоит она. Мы пили чай с сушками, она помнила, что я любил сушки с маком, говорили ни о чём, рассматривая и вновь узнавая друг друга. На полке стеллажика стояли две фотографии. Красивый седовласый джентльмен, похожий на американского актёра в роли крупного бизнесмена-финансиста. И моя — старенькая, с ещё модным тогда коком на голове. Сейчас кока уже не было. «Муж?» — спросил я, понимая, что это муж и есть. Она кивнула. «А зачем ты вытащила мою фотографию?» — «Она всегда стояла здесь. Муж знал про тебя». — «Представляю, как он меня ненавидел!» — «Нет, он любил меня». Потом я ушёл. Оказалось, уже под утро. Наверное, столько чая я не пил никогда в жизни. Не осталось и ни одной сушки. Мы обнялись в комнате, поцеловались, губы были незнакомые, чужие. Она уезжала в Америку к родственникам умершего мужа и своей дочери. «Я назвала её Александрой». — «В честь меня?» — по-идиотски предположил я. Она кивнула. «Хочешь взять свое фото?» — спросила. Я отрицательно помотал головой. Потом мы, взявшись за руки, в коридоре было темновато, прошли по чуть проседающим половицам, вышли

на крылечко. Где-то далеко, за колокольной церкви мученика Никиты, собиралась разгораться заря. Мы ещё раз поцеловались чужими губами, и я пошёл в холодном коридоре утренней росистой сирени. Оглянулся — она стояла на крыльце, обхватив себя руками. Боже, как хорошо я знал этот жест!

Она умерла через две недели. Об этом сообщила всё та же наша подруга. «Ты не понял. Ни в какую Америку она не собиралась, — сказала подруга, — у неё была онкология».

Жена, обходя лужицу своей чуть семенящей походкой, обогнала меня и обернулась. Мне нравилась её лёгкая походка. Может быть, она осталась от Ленинградского балетного училища? Хотя грозная Вавочка Мей, внучка поэта Мея, бывшая её преподавательница по классике, лупившая девчонок железной линейкой по рукам и ногам, встретив нас на улице Зодчего Росси возле Вагановки, остановилась, всплеснула игрушечными ручками и сказала голоском героя из мультика: «Боже, какая ты стала бельфамистая!»

Жена обернулась и улыбнулась любимой моей улыбкой — весёлой, как когда-то в детстве. «Ты был в этом храме?» — за её спиной был храм Никиты-мученика. «Да, конечно», — ответил я. Знаменитый московский храм. Почти ровесник Петропавловскому на Новой Басманной. По преданию строил его князь Дмитрий Васильевич Ухтомский. Московское, точнее, елизаветинское барокко. Красавец. Здесь отпевали дядю Пушкина Василия Львовича. Присутствовали Пушкин, Вяземский, братья Полевые — много знаменитостей тогдашних. Василий Львович был человек известный. А потом, уже в XX веке, здесь пел лучший протодьяконский бас Михаил Кузьмич Холмогоров. Его голосу завидовал Шаляпин. «Это тот, которого рисовали Корин и Нестеров?» — «Да», — ответил я. «Зайдём?» — предложила жена. И мы зашли в храм, к сожалению, мёртвый, как и многие памятные дома на Старой Басманной. Неужели славное имя Маркса так иссушает всё вокруг себя? Мистика. В храме идеальная чистота и такая же пустота. Ни одного человека. За свечным ящиком пожилая служительница с недовольным (или злым?) лицом. Ощущение то же, что было много лет назад: храм после закрытия и разграбления не ожил. Тогда мы были в храме с популярнейшим актёром тех лет и племянником моей жены Никитой Михайловским. Признаюсь, это я затащил Никиту в храм. Он не был крещёным и упирался, словно я вёл его на казнь. Никита был оригинальный человек: популярный с самого детства (сыграл главные роли в нескольких фильмах), он был совершенно равнодушен к своей известности и даже славе. Надо сказать, что после фильма «Вам и не снилось» выйти с ним на улицу было невозможно: не только восторженные девчонки, но и вполне зрелые матроны советского разлива бросались за автографами. По счастью, мобильных телефонов ещё не было, и просьбы сфотографироваться с ним были нечастыми. Он, почти не останавливаясь, черкал что-то на бумаге, продолжая разговаривать или идти, и тут же забывал о поклонниках. Впрочем, точно так же он не испытывал ни малейшего трепета к знаменитым актёрам, работавшим с ним на съёмочной площадке. А это были Елена Соловей, Альберт Филозов, Татьяна Пельцер, Леонид Филатов, Алексей Баталов, Вера Глаголева, да мало ли... Он прекрасно (и довольно оригинально) рисовал, неплохо владел пером и, видимо, жил

в каком-то ином измерении. Но это касалось только творчества. Если к кинематографу вообще применимо это слово. Впрочем, в иных отношениях он тоже предпочитал быть как-то наособицу. Причём с самого раннего детства. Я помню Никиту совсем мальчиком, было ему лет девять-десять. Он впервые пришёл к нам в дом, его мать по разным причинам, о которых вряд ли стоит говорить (как и о ней самой), старалась не давать сближаться Никите с нами. Может быть, потому, что она уже разошлась с отцом мальчика Александром Михайловским, у неё был другой роман, в котором Никита должен был стать инструментом, отмычкой для проникновения в следующую семью. Итак, Никита впервые приходит в наш дом, без тени стеснения деловито осматривается и совершенно по-взрослому, хотя взрослый этого и не сказал бы, но по-взрослому интонационно, одобряюще говорит: «Неплохо, неплохо живёте!»

Напомню, это были времена тотального дефицита. В тот день на обед у нас было шикарное (по нашим представлениям) жаркое, приготовленное мной. Сам же и раздобывал продукты у школьного своего друга, заведующего мясным отделом в гастрономе Бориса Морозова. Гастроном этот находился в чёртовой дали (или это мы находились в такой дали, в питерском «Весёлом посёлке»). Я тащился через весь город и вернулся домой с относительно редкой добычей. Готовил я жаркое с большим энтузиазмом, как мне казалось тогда «по-кавказски», с большим количеством зелени (сушёной), томатной пасты (дефицит!), лука и красного перца. Словом, жаркое — моя гордость! Никита же был худ и бледен до синевы, но, усаженный за стол, лениво ковырнув мясо, отдал предпочтение «Боржоми» и принялся рассказывать рецепты приготовления «мягкой индейки». Не помню, ел ли я к тому времени индюшачье мясо или только слышал о нём, но подробный рассказ о способах приготовления индюшатины произвёл впечатление. Равно как и само изложение: без эмоций, с лёгкой ироничной улыбкой, как бы дающей понять, что каким-то жарким взять его, Никиту, невозможно. Даже если оно приготовлено по-кавказски, с зеленью, томатной пастой и красным перцем.

Таким же спокойно-ироничным Никита оставался всегда. Может быть, в этом и секрет его актёрского успеха. Он работал на съёмочной площадке с выдающимися актёрами советского кинематографа, но в редкие моменты, когда ему хотелось что-то рассказать о съёмках, рассказы получались смешливые, без тени пиетета к великим.

Но — к нашему тогдашнему посещению храма Мученика Никиты. Храм был пуст, чисто прибран, пахло свежим ремонтом — извёсткой, краской, мастикой для полов. Я купил свечки у мрачной старухи за свечным ящиком, дал несколько штук Никите. Пока я ставил свечи, он смотрел на меня спокойно, без иронии. Спросил, кивнув на свечи: «Это обязательно?» — и лениво, нехотя зажигал и устанавливал свечки. Мы подошли к приделу Никиты-мученика, я указал ему на икону и шутя спросил: «Похож?» — даже не задумываясь, на кого похож Мученик. Само собою — на него, Никиту. Никита внимательно смотрел на икону, заходя с разных сторон, — светило солнце, икона бликовала. Потом молча отошёл, не поставив свечи, и направился

к выходу. В это время в храм вошёл священник, побеседовал коротко со служительницей и зашагал было вглубь храма, но увидел Никиту, узнал в нём, как многие узнавали, актёра и подошёл к нам. Не помню начала разговора, может быть, священник предложил поисповедоваться (святой покровитель Никиты — Никита-исповедник), потому что наш Никита довольно спокойно сказал, что он не верует в Бога.

— Почему? — спросил его настоятель (как позже выяснилось) храма.

— А вы веруете? — ответил Никита.

— Конечно! — несколько покровительственно кивнул священник.

— А почему?

Тот слегка запнулся от неожиданности, но принялся объяснять несмыслёнышу что-то. Никита слушал не очень внимательно, а потом спросил:

— Так, по-вашему, всё в руках Божьих?

Священник закивал и снова принялся за объяснения.

— Тогда, — перебил его Никита, — объясните, почему у моей матери врождённый порок сердца и она должна скоро умереть? Чем она провинилась? Перед Богом?

Священник залепетал что-то невнятное, но убедительное, на его взгляд. Никита снова перебил его:

— Но если бы мы, я и мама, жили в Америке, ей бы сделали операцию и она могла бы жить долго! Где тут решение Бога? Какое решение верное?

— Божья воля, — нелепо сказал священник, — нам, простым людям, его промысл не понять! — и сдуру принялся рассказывать, каких миллионов стоит в Америке такая операция.

— Во-первых, — тут Никита слушал его, склонив на бок голову, — такие операции делаются там, — он кивнул в сторону спящего от солнца окна, — бесплатно! За счёт благотворительных фондов. А во-вторых, за главные роли в Голливуде я бы получил столько денег, что их хватило бы на несколько операций! — Он потерял интерес к священнику, посмотрел внимательно, но уже со своей ироничной улыбкой и сказал: — Простите, святой отец, но тут или вы, или я чего-то не понимаем! — повернулся и шагнул к выходу.

— Я не святой отец! — только и нашёлся священник.

Но Никита уже шёл, поглядывая по сторонам и презрительно улыбаясь. Мы вышли, молча прошли несколько минут, потом Никита повернулся ко мне:

— Он совершенно не похож!

— Кто? — не понял я.

— Этот Никита-исповедник, который на иконе.

— На кого не похож?

— На себя. Он не исповедник, для Никиты-исповедника у него слишком фальшивое лицо. Как у этого священника!

Больше я не делал попыток приобщить его к церкви.

Когда Никита умирал от лимфобластомы в Королевском госпитале в Лондоне, куда его приняли с подачи Маргарет Тэтчер, деньги на его лечение прислал Борис Ельцин из личного фонда. А Тэтчер позаботилась о нём

как о внуке ветерана Отечественной войны, воевавшего на Севере вместе с англичанами. Такое не забывается.

Ни Союз кинематографистов, ни тем более православная церковь не жертвовали ни пенса.

Сквозь солнечные лучи полетели вдруг ниоткуда, с чистого и высокого неба капли весеннего дождя.

Жена раскинула руки, как это делают девчонки, бегущие навстречу с любимым, и сделала несколько лёгких шагов.

— Как здорово, что у нас нету зонтика, — засмеялась она мне навстречу. — Стоит мне взять зонтик, дождь пугается и не идёт!

Через полминуты дождь кончился, но этого хватило, чтобы засверкали промытые окна автобусов и машин, чтобы отблески солнца рассыпались по тусклым ещё пять минут назад окнам домов, пустили зайчиков молодые листья и от только что серого асфальта, ставшего вдруг синим, стал подниматься лёгкий пар. Асфальт задымился на солнце, очищая дымный московский, такой родной воздух.

— Смотри, мы уже почти возле Кольца! — она, смеясь, встряхнула ветку сирени, протянувшейся к ней, с ветки веером полетели капли. — Я вчера смотрела старые фотографии этого места, а сейчас ничего не узнаю!

— Ты смотрела фото до тридцать четвёртого года, — я любовался её улыбкой, — с того времени всё изменилось. Здесь снесли целые кварталы!

— Зачем?

— Сталин не любил Ле Корбюзье!

— При чём тут Ле Корбюзье? Он ведь построил только здание Центросоюза на Мясницкой?

— Он участвовал в плане строительства новой Москвы. Предлагал снести к чертям весь старый центр Москвы и построить её по лучевому принципу. «Москва лучезарная», кажется, назывался проект. Видно, кто-то из его советских учеников — Ной Троцкий, братья Веснины, ещё кто-то, — передали мэтру, что Сталин не любит старую Москву, вот Ле Корбюзье и расстарался. Хотел сделать что-то вроде Османовской реконструкции Парижа, только покруче. По легенде Сталин сказал, что слишком дорогой проект, сейчас, мол, денег нету на него.

— А на самом деле? — мы вышли на пересечение Кольца и Новой Басманной.

— Как было на самом деле, никто не знает. Говорят, всё из-за проекта Дворца Советов. Ле Корбюзье вцепился в этот проект, он любил всё самое крупное. А тут одна фигура Ленина планировалась не менее ста метров. Между прочим, здание Центросоюза в своё время было самым большим офисным зданием в Европе. Но Сталину проект не понравился. Ле Корбюзье предложил центральный зал Дворца Советов подвесить на таком... на такой параболической арке... Это Сталину не понравилось. По слухам он вызвал Кагановича и говорит: «Лазарь, что это такое?» Тот не понял сразу, отвечает: «Проект, товарищ Сталин, знаменитого архитектора Ле, Ле... точно я забыл, француз в общем, тот, что здание Центросоюза строил». — «Ты же говорил, наши строили?» — «Строили наши, его только проект был...» — «А это что?»

Лазарь опять не понял. Сталин ткнул красным карандашом в чертёж. «Главный зал», — теряя обычную наглость, сказал Каганович. «По проекту француза главный зал Дворца Советов будет на какой-то оглобле болтаться, как яйца барана! А куда Ленина поставим? Тоже подвешивать собираешься? — в глазах Сталина вспыхнули жёлтые огоньки, что не предвещало ничего хорошего. — За какое место собираешься Ильича подвешивать?»

— Легенда, — сказала жена.

— Конечно, — согласился я. — Но Сталин такие разговоры с Кагановичем вёл, документально подтверждено. Относительно Садового кольца, например. Команда расширить вдвое! Все здания, что мешают, включая уникальную Сухареву башню, снести, деревья старые — тут же бульвары были — вырубить.

— А зачем?

— Есть зафиксированный ответ: «Сейчас в Москве, ты говоришь, Лазарь, три миллиона живут, а сколько автомашин сейчас в городе, а? Не знаешь, могу тебе подсказать! А через десять лет будет десять миллионов жителей. Как они будут ездить? — И через паузу: — Я вчера ехал по Садовому кольцу, что это за деревня? Петухи кругом кричат! Скоро свиньи в канавах валяться будут! Надо убрать к чёртовой бабушке все эти старые хибары, пусть твои архитекторы построят настоящие дома, достойные нашего времени!» — Каганович не будь дурак выяснил, где вчера проезжал вождь, оказалось, останавливался на углу Покровки и Садово-Черногрязской. Но смотрел в сторону Старой Басманной, — и снесли целые кварталы. А тут было что сносить! На Старой-то Басманной с самого её начала селились люди непростые, как ты знаешь... Другое дело, здесь по сию пору присутствует какой-то уничтожающий дух Маркса. Как в растениях с внешним перевариванием: упала мушка в ядовитую жидкость, она жива, но уже начинает медленно перевариваться, растворяться...

— Ты знаешь, — жена, прищурившись, смотрела на громадные, массивные, словно вырубленные из одной глыбы дома, — мне кажется, у тебя с Марксом какие-то личные отношения.

— Может быть, не думал об этом, — я обернулся на храм Никиты Великомученика. Солнце весело ударяло в окна могучих домов, они вспыхивали, словно улыбаясь, и только высокая колокольня храма с золотым навершием была по-прежнему тусклой. — Я впервые почувствовал его присутствие на Хайгейтском кладбище в Лондоне. Тогда в обязательном порядке всем делегациям следовало возложить цветы на могилу, к памятнику основоположнику. А уж журналистским — тем более. Явка обязательна! Под фотофиксацию! Сама могила стараниями местных коммунистов давно уже включена в памятники первой категории этого округа, то есть поток туристов не иссякает. Громаднейший монумент, метра три с лишним. Сверху — бронзовая голова, а по граниту золотом: *Workers of all lands — unite*. Кстати, неизвестно, к каким рабочим он обращался.

— Не поняла, — сказала жена, — что значит «к каким»? Ко всем, наверное?

— Это одна из их с Энгельсом загадок, — я оглянулся, на углу была маленькая кафешка, открытая с утра. — Не хочешь кофейку? С мороженым? — я знал её маленькую слабость.

Барменша, она же официантка и бариста по-нынешнему, хозяйка кофе-машины, была не очень довольна нашим появлением. Мы, как ей казалось, могли нарушить её бизнес: она из-под прилавка приторговывала вином. С раннего утра, что очень привлекало к ней жаждущих и страждущих клиентов. По большей части тихо спивающихся интеллигентов.

— Так что за загадки у Маркса с Энгельсом?

Мы примостились за маленький столик возле окна. Отсюда был виден мигающий зелёным светофор на перекрёстке, угол дома, а если прислониться к стеклу, то и колокольня, оставшаяся от храма Усекновения Головы Иоанна Предтечи.

— Загадки у марксистов, включая Ленина, в том, — хозяйка принесла капучино с красивым коричневым вензелем на пенке и мороженое, — что в их работах можно найти цитаты на все случаи жизни.

— Ну и что? — не поняла жена. — Это нормально для крупных философов.

— Но чтобы были прямо противоположные мнения по одному вопросу — это находка марксистов! Называется диалектика!

— Я не так уж хорошо их знаю, — она принялась за мороженое. — Только в рамках основательно забытого и никогда хорошо не ученного университетского курса марксизма-ленинизма. У нас преподавал замечательный человек, — она засмеялась. — На потоке были почти одни девчонки, он, как старый сластолюбец, пристально изучал кружок потенциальных жертв и читал марксизм «для дам». А всю политэкономию объяснял почему-то на стульях.

— Что значит «жертв»? — спросил я, рассматривая бело-розово-зеленоватые шарики мороженого. В их тающих трещинках посверкивали блёстки.

— Некоторые девчонки предпочитали ходить к нему на «дополнительные занятия», что вполне обеспечивало отличную оценку на экзамене. А многие жили тогда только на стипендию. Трёха на экзамене — и стипендии нет. Так что лишний «пятак», пятёрочка за «допзанятия», не помешает. Как истинный марксист он ещё поддерживал их и материально. Во всяком случае, слухи такие ходили.

— Что же касается личных отношений... — тут мне пришлось задуматься. — Ты знаешь, когда я от имени нашей делегации принялся укладывать цветы к монументу, к могиле, я вдруг почувствовал себя вот этой самой мухой, растворяющейся в чьём-то желудочном соке. — Хозяйка-бариста принесла и мне кофе-эспрессо. — Начну издалика, с западников и славянофилов. — Жена удивлённо подняла брови. — Кто-то из великих умов написал, что литература не только и не столько предсказывает будущее, сколько формирует его. — Брови её поползли ещё выше. — До тех пор, пока Тургенев не придумал «тургеневских» девушек, их в России не было. Это же касается и героев Достоевского и Гоголя, но речь сейчас не о том. Маркс и Энгельс, в этом их гениальность, чётко выстроили философскую и политическую систему отношений Запада и России, Запада и всех славянских народов Европы, провели границу между Востоком и Западом по Эльбе, которую до того именовали на славянский манер Лабою, и Неманом.

— Можно подумать, что до них не было славянофилов и западников на Руси.

— Были, конечно! Но это были, скорее, частные, личные отношения приязни и неприязни, не были сформулированы и названы онтологические противоречия!

— Онтологические?

— Конечно, на уровне бытия. Русофобия вообще-то возникла, похоже, на более раннем основании, из ненависти к Восточному христианству (православию). Не будем забывать, что ещё в 1054 году римский папа Лев IX и Кируларий, константинопольский патриарх, предали друг друга анафеме, то есть натурально произошёл раскол, схизма.

— Но ведь, я слышала, они помирились?

— Да, в шестьдесят пятом, в 1965 году анафема была «предана забвению». Но девятьсот-то лет из истории не выкинешь. Между прочим, ещё в XVIII веке все восточноевропейские народы в Риме обозначались как скифы. Пока историк Гердер не позаимствовал у варваров словечко «славяне». Но для западных европейцев ещё долго славяне были скифами, варварами, Востоком. Даже Моцарт, представь, Моцарт, которого, нам кажется, знаем как родного...

— Благодаря Пушкину!

— Конечно! Но даже Моцарт, отправляясь на гастроли из Вены в Прагу, писал отцу, что едет на Восток, к славянам!

— Прага-то, мне кажется, куда западнее Вены!

— Конечно! Но в головах — Восток. К тому же православие уже было объявлено языческой ересью и по учению любезного твоему сердцу св. Августина с ними следовало поступать, как евреи с египтянами — обирать их. С XII века начались крестовые походы против славян, ведь сам факт принятия христианства от Византии читался как чистая азиатчина, язычество. А что с ними, язычниками, ещё делать?

Кофе, несмотря на надутую физиономию хозяйки, оказался неплохим. Мороженое в моей вазочке подтаяло, а у жены — исчезло. Я передвинул ей своё.

— Кстати, связь, пусть и духовную, с Византией просвещённые русские западники считали причиной «умственной незрелости» русских. Чаадаев считал, что мы, повинувшись нашей злой судьбе, обратились к «жалкой, презираемой всеми народами Византии за нравственным уставом», который позже лёг в основу нашего воспитания. Между прочим, обожаемая Валерия Новодворская, дама весьма образованная и проницательная, считала, что нас «похоронила Византия, а геополитика нас отпела».

— Хорошо, а при чём здесь Маркс?

— Подожди, дойдём и до него! — мне было смешно видеть, как от соседнего столика к нам присматривается и прислушивается, отходя за бокалом красного от утреннего похмелья, помятый гражданин. — Только не сразу. Напомню, великий Рабле ставил в один ряд московитов, индейцев, персов и троглодитов.

— Ну, ты уже в такие глубины ушёл...

— Могу вынырнуть. Сокращая: в 1942 году в Берлине довольно пышно праздновали 1200-летие рождения Карла Европейца, очистившего Европу

от славян, а не так уж давно кёльнский кардинал называл «холодную войну» реализацией планов Карла Великого. Теперь о Марксе, хотя тут надо сказать и о его дружке Фреде, об Энгельсе.

Я отошёл к стойке, чтобы заказать ещё чашку кофе. Жена доедала мороженое, поглядывая в окно. Поток людей на улице увеличился, судя по времени, появился оживлённый «офисный планктон». Неслышные за стеклом, они смеялись, жестикулировали, весело разговаривали. Кое-то из молодёжи уже скинул осенне-зимний наряд, заблестели открытые руки, плечи, без того не длинные юбки заметно укоротились.

— Была такая чудовищная работа Энгельса «Армии Европы», там есть глава «Русская армия». Она чудовищна тем, что там всё правда. Что-то вроде: «...Русские, к какому бы классу ни принадлежали, ещё слишком варвары, чтобы находить удовольствие в научных занятиях или умственной работе (исключая интриги)», — как тебе нравится? По Энгельсу, все выдающиеся люди, служившие в русской армии, — иностранцы или остзейские немцы на худой конец. Может, это и правда, но когда о твоей армии с явным презрением говорит иностранец...

— Ну да, — поддержала жена, — это как всё равно, что о твоём ребёнке говорит кто-то чужой. Самой костерить его можно, но чужому...

— Да, теперь к Марксу. Есть сотни воспоминаний, что когда вышел в России первый том «Капитала», это год примерно 1872—1875, стало просто неприлично для студентов, учителей, интеллигенции не быть марксистом. Как в наши времена в Европе не принимать гомосексов и всё ЛГБТ-сообщество. Значит, ты не свой, не наш. Но при всей русофобии, пронизывавшей Маркса, это была первая мировоззренческая система, в которой на современном, тогдашнем, конечно, уровне ставились проблемы бытия, свободы, необходимости. Собственно говоря, даже тягу к религиозной философии пробудил марксизм. А уж либералы — что и говорить! И даже такие правые лидеры кадетов, как Пётр Бернгардович Струве, Набоков... Тут уж Маркса и вовсе понесло: забыл про пролетариат, вспомнил про «нации», разделил нации на прогрессивные и деградирующие, они же революционные и контрреволюционные, к прогрессивным — разумеется, немцы, венгры и поляки, все прочие славяне, а их было немало, — чехи, словенцы, словаки, лужичане, лютичи — полно! Самый распространённый этнос в Европе. Но, по Марксу, — он же деградирующий. Ну, Московия, что и говорить, — как бы само собою. И дружок Фред ему подпевал: мол, славяне не успокоятся, пока не уничтожена будет их опора — Русь. Вот и получилось — слово выпущено, начинает жить своей жизнью, по своим, нам, кстати, неизвестным, законам. Наши западники возликовали — кто только убогих русских не поносил! А уж в Европе! — Тут пришлось порыться в телефоне, отыскать цитату. — Вот Бернштейн, лидер Второго Интернационала, и не то чтобы страстный марксист, смотри: «Народы, враждебные цивилизации и неспособные подняться на высшие уровни культуры, не имеют никакого права рассчитывать на наши симпатии, когда они восстанут против цивилизации», — читай, — это уж я от себя, — когда восстанут против захвата своих земель и своего физического уничтожения. Дальше: «Мы не перестанем критиковать некоторые

методы, посредством которых закабаляют дикарей, но не ставим под сомнение и не возражаем против их подчинения и господства над ними прав цивилизации...»

— Это он про Европу?

— Конечно! Слушай дальше: «Свобода какой-либо незначительной нации вне Европы или в центральной Европе не может быть поставлена на одну доску с развитием больших и цивилизованных народов Европы». Вот так, это Бернштейн, идеолог социал-демократов. Уже повторяет за Марксом и Энгельсом слово в слово.

Мы помолчали, поглядывая сквозь стекло. Мне показалось, что мужичок, внимательно нас слушавший, придвинулся поближе. Ещё чуть — и придётся сделать замечание.

— Вообще, парочка была ещё та... Ради святой идеи о всемирной революции, заметь, революция 1848 года ещё только отгремела, готовы были идти на всё. Натравливали поляков, ихнее «шановне паньство», на русских, чтобы бучу заварить. Смотри, у меня есть выписки из письма Энгельса к Марксу в 1851 году: «Чем больше я размышляю над историей, тем яснее становится, что поляки *una nation foutue* (пропадающая, обречённая нация), которая нужна как средство лишь до того момента, пока Россия не будет вовлечена в аграрную революцию. С этого момента существование Польши теряет всякий смысл. Поляки никогда не совершали в истории ничего иного, кроме смелых, драчливых глупостей... — тут я пропущу малость, цитата длинноватая получилась. Та-ак, вот: «Россия восприняла гораздо больше элементов просвещения и промышленного развития, чем по самой природе своей шляшетско-сонная Польша...» И дальше: «Поляки никогда не умели ассимилировать чужеродные элементы. Немцы в польских городах остались и остаются немцами. Между тем каждый русский немец во втором поколении является живым примером того, как Россия умеет русифицировать немцев и евреев. Даже у евреев там вырастают славянские скулы...» А, каково?

— Особенно мне понравились славянские скулы у евреев! — отозвалась жена.

— А дальше — вывод. Это его собственный, Энгельсов: «Взять у поляков на западе всё, что возможно, заселить их крепости немцами, особенно Познань, под предлогом защиты, предоставить им хозяйничать, посылать их в огонь, пожирать их продукты, кормить их обещаниями Риги и Одессы, а в случае, если бы удалось вовлечь в движение русских, соединиться с ними и вынудить поляков к уступкам». Вот так! Это тебе и есть Маркс-Энгельс. С их манифестом — «Пролетарии всех стран...», написанным, напомним, в 1848 году. Ещё не отгремели революции во Франции и Германии, то, что называли «Весна народов», а они уже прикидывают, как бы натравить Польшу на Россию и под шумок оттяпать у поляков землицы. Всё равно они *una nation foutue*. Вот у кого учились наши революционеры, что там мелочиться, покушаться на государя, на царствующий двор, на министров... надо двигать народы, интриговать, управлять народами! Причём только что поляки у них — ничтожнейшая нация, а когда нужно, — без зазрения совести: «Снова польский народ, этот бессмертный рыцарь Европы, заставил монгола, — это Россию,

как ты понимаешь, — отступить!» Куда отступить? Он тут же пишет, что Россия «собралась нанести революции 1848 года удар в её последнем убежище». А уж про панславизм тот же Энгельс и вообще... «...Он ставит Европу перед альтернативой: либо покорение её славянами, либо разрушение навсегда его наступательной силы — России». Как тебе нравится? Особенно в духе сегодняшних событий!

— Почему они так ненавидели Россию? — Жена отодвинула пустые вазочки. — Только из-за размеров и полного непонимания? Или какая-то тут биология? Помнишь, Энгельс где-то писал, что на равнинах, мол, питаются травами, а потому у них мозг меньше, чем у германцев, которые едят мясо?

— А за европейцами и наши... Раз уж я в телефон залез, кого хочешь: академика Веселовского или Бунина?

— Бунина, конечно!

— Щас, отлистаю. Тут столько вкусных цитат, не знаешь, на ком остановиться. Слушай, это Энгельс или Маркс, что-то не пойму, о столкновении славян и немцев во время революции 1848 года. Он, конечно, на стороне «высшей расы», которая просто обязана «поглощать умирающие нации», чтобы выполнить свою цивилизаторскую миссию. Я сокращаю длинную цитату: «...Тенденция к поглощению со стороны немцев всегда составляла и составляет одно из самых могучих средств, при помощи которых цивилизация Западной Европы распространялась на востоке нашего континента... и что, следовательно, естественная и неизбежная участь этих умирающих наций состоит в том, чтобы дать завершиться этому процессу разложения и поглощения более сильными соседями». Вот так, наш учитель Энгельс!

Наступила вдруг странная, полная тишина. Ни звука со стороны улицы, ни одного человека, кроме нас и похмеляющегося типа в кафе, даже хмурая хозяйка перестала негромко греметь посудой и стояла, пригорюнившись, опершись по-бабьи подбородком на руку... Минута или, может быть, несколько секунд полной, немой тишины, которую Господь дал нам как бы для усвоения прочитанного и услышанного.

Звякнул телефон, возвращая в действительность. У меня вроде бы сама собой выскочила Бунинская цитата.

— Ага, вот он, наш дорогой Иван Алексеевич. Тоже надышался марксовой бациллой. По поводу русского народа: «От дикости в народе осталось много дряни, злобности, зависть, жадность. Хозяйство мужицкое как следует вести не умеют. Бабы всю жизнь пекут плохой хлеб. Бегут смотреть на драку или пожар и сожалеют, если скоро кончилось. По праздникам и на ярмарках в бессмысленных кулачных боях забивают насмерть. Дикий азарт. На Бога надеются и ленятся. Нет потребности улучшать свою жизнь. Кое-как живут в дикарской беспечности. Как чуть Боженька не уродил хлеб — голод».

— Бунину доверять можно, — сказала жена вполголоса. — Помнишь из романа Чернышевского: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы».

— Точно! — вдруг вставил похмелявшийся. — Всё точно про нас сказано!

Я сделал вид, что не заметил его замечания.

— Конечно, нация рабов! Мы с друзьями всё донимали нашу училку по литературе этой фразой. Страшная была дура, но благодаря ей я стал читать по-настоящему. Захотелось самому разобраться, почему мы наследники великой литературы.

— Ленин, кстати, тоже тут отличился, писал о реформе 1861 года, мол, теперь, полвека спустя, на русских осталось больше следов рабства, чем на неграх.

— Ого, — рассмеялся я, — чувствую, ваш университетский марксист не зря тратил время!

— Извините, — сказал помятый тип, смешно подпрыгнув на металлическом стульчике, как бы приближаясь к нам. — Меня Павел зовут, Павлуша, так местные привыкли. Я ваш разговор умный всё слушал, скажите, а Маркс с Энгельсом евреи?

— Маркс еврей, — ответил я, чтобы отвязаться.

— А Энгельс?

— Англичанин.

— Ну, эти ещё похуже евреев! — без сомнения сказал Павлуша и осторожно, стараясь не нарушать границы, придвинулся. — Я, извините, местный алкаш, вот она, Адиля, — он кивнул в сторону барменши, — по-нашему справедливая, значит, добрая душа, похмелиться мне даёт. Красненького наливает. Вот скажите, — он задумался, слышно было, как скрежещут мысли в нечёсаной голове, — вот всё это... умное, что вы говорили, это вы из книжек вычитали?

— Ну, допустим, — разговаривать с ним не хотелось, но и уходить из уютной кафешки из-за алкаша было как-то неловко.

— А вот вы всё, что говорили, тоже в книжке напишете?

— Да! — коротко ответил я, отворачиваясь.

— А зачем? — поинтересовался алкаш Павел.

— Чтобы другим не надо было читать столько книжек, сколько мы, — неожиданно сказала жена, искоса поглядывая на собеседника.

— А-а, — сказал он задумчиво, снова послышался скрежет в его голове, — а они тоже напишут книжки?

— Наверное, — уже с усмешкой сказала жена.

— Я понял! — вдруг уверенно сказал алкаш. — А потом те, другие, тоже напишут книжки, и книг будет становиться всё меньше, правда?

— Правда, — уже улыбалась жена. — Всё меньше, пока не останется на всё человечество одна книга.

— Во! — обрадовался алкаш. — Теперь всё ясно! Одна книга? — он удивился этой собственной мысли, и лицо его, поросшее рыжеватой щетиной, стало задумчивым. — Это вы про Библию сказали? — продолжал удивляться алкаш.

— Паша, хвалю! — сказала жена, поворачиваясь ко мне. — Гениально?!

Я кивнул.

— Хотите ещё похмелиться? — мне показалось, что она подмигнула мне.

— Красненького? — заинтересовался алкаш. — Лучше портвешку, если можно! У Адили есть. Эта бурда, — он показал пустой стакан, — не достаёт.

Адиля (справедливая) показала себя большим профи, втюхав жене бутылку портвейна: оказывается, до какого-то часа ей нельзя продавать спиртное в розлив. Бутылку — пожалуйста, а так...

Алкаш Павлуша был в восторге. Особенно восторг окреп после первого стакана, от которого у него на лбу появился трудовой поток.

— Вы что, по нашему району просто так гуляете? — по-светски поинтересовался он. — Архитектурой интересуетесь? — он сделал интригующую паузу. — А мою квартиру не желаете посмотреть? — и прищурился, чувствуя, что вот-вот попадёт в цель. — В старом особнячке квартира. С отдельным входом. С этим, — он постарался изобразить ладонями нечто крышеобразное, — с портиком. А по потолку такая красота наклеплена! Я как квартиру эту получил, сразу на две комнатухи разделил, сортир отдельный. В ей, видать, хозяин-то старый охотник был. По углам на потолке ангелочки, потом цветы всякие и эти... — алкаш задумался и в задумчивости выпил второй стакан. — Олени на стенах. Гипсовые. Я как делил на комнатухи, посбивал, конечно, малость, но голову оставил, — он поднял глаза вверх, как бы рассматривая потолок. — Для красоты! Старые-то жильцы, — видно было, портвейн начал действовать, — говорили, что, видно, у прежних хозяев тут столовая была. — Паша-алкаш призадумался и напрягся умом. — В охотничьем стиле столовая! — выложил он, наконец, результаты раздумья. Потом задумался и тряхнул головой, будто решившись на что-то. — Ребята, — он задышал часто-часто, — граждане... Хотите, я вам свою квартиру отдам, подарю? За бутылку! — Паша грохнул бутылкой о стол. — Нет, — сказал он после секундного раздумья. — За две! — и хлопнул ладонью по столу, попав по микроскопической портвейновой лужице. — Или не-е-е, — тут же засомневался он, — за две не отдам, а вот за ящик... — Паша даже прикрыл глаза, как бы представляя целый ящик портвейна.

— Врёт он всё, — сказала вдруг Адиля, не отходя от своего места за стойкой, — нет у него никакой квартиры. Он с вас ещё портвейну выцыганить хочет!

— Что, ты что?! — вскинулся Паша и схватил бутылку за горлышко, предварительно выпив из неё остатки портвейна. — Убью, тварь черножопая!

Справедливая Адиля, даже не подняв глаз, с загадочным восточным спокойствием смотрела в свой телефон.

Мы вышли из кафешки, оставив Адилю выяснять отношения с впавшим в истерику алкашом. Само собой рухнуло, исчезло очарование солнечного московского утра. Впрочем, и солнце, будто почувствовав общее настроение, припряталось в серых, едва различимых тучках. С подземным мрачноватым переходом закончилась Старая Басманная, пошла Покровка. С площади Цезаря Куникова.

— Вопрос на засыпку, — я стараюсь отвлечь жену, — кто такой Цезарь Куников?

— Куников? — я вижу, как она морщит лоб. — Кто-то, связанный с Брежневской «Малой землёй»? Моряк? — Это она подсмотрела: на площади установлен здоровенный, по местным меркам, конечно, якорь.

У меня другие воспоминания. Мы с Мишей Крушинским идём по коридору «Известий» пить кофе. Он — в штате газеты, активно печатается. Я — только начинаю сотрудничать с «Известиями». «Вторая газета» по тем временам. Первая, разумеется, «Правда». Кафешка в «Известиях» — особое место. Сюда приходят посидеть, поболтать, потравить байки, поглазеть друг на друга. Здесь в основном газетчики-работяги. Газетные «боги» сюда заходят редко. А тут — встреча в дверях.

— Саша, привет! — Высокий, худощавый человек крепко жмёт руку. — Ты что, сюда, к нам? — Это Анатолий Аграновский. Первое, оно же «золотое», перо «Известий». И мой сосед по даче в писательском посёлке Внуково. — Какими судьбами?

— Сотрудничаю, пока вне штата, — отвечаю я и чувствую, как вокруг нас образовалась какая-то пустота, и все в кафешке, повернувшись, смотрят в нашу сторону. Аграновский — бог. Автор Брежневской трилогии, за которую тот получил Ленинскую премию по литературе. Что получил Аграновский — большой секрет.

Анекдот того времени: Идёт Брежнев по коридору, навстречу Подгорный. «Поздравляю, Леонид Ильич, читал вашу книгу. Очень интересно!» Брежнев, пожимая ему руку: «Интересно, говоришь? Надо бы и мне, что ли, почитать!»

Аграновский здесь, в «Известиях», — непререкаемый авторитет. Бывает в газете редко, бродит преимущественно по верхним этажам у начальства, газетной подёнщиной не занимается. Его задача — раз в три-четыре месяца выдать очерк. Такой, чтобы о нём (об очерке) говорили. «Говорили» — это значит пришли бы отклики в газету, очерк обсуждался бы в неведомых нам «верхах», может быть, у самого Леонида Митрофановича Замятина, заведующего отделом Международной информации ЦК КПСС, руководителя авторской группы по созданию брежневского шедевра.

— А чего вне штата? — смеётся Аграновский. — Ты на своих книжечках не проживёшь — не заработаешь! — он задумался на секунду. — Послезавтра, восьмого, у меня день рождения. Буду там, — он поднял глаза вверх, мне показалось, что все сидящие в кафешке «Известий» тоже с почтением посмотрели вверх, представляя «верхи» Аграновского, — а девятого или десятого, точно не помню, в ближайшую субботу, приходи ко мне во Внуково. Встретим и отметим шаббат, — смеётся он.

Послезавтра, в мороз, идём с женой от станции Внуково. Ветер в лицо, пока не прячемся в густой лесок. Потом — более-менее расчищенная дорога. Здесь ветра нет, тишина. Всё замерло. Редкие фонари высвечивают тяжёлые ели, осевшие под шапками снега. Наш жигулёнок (спецзаказ на АвтоВАЗе) не завёлся, идём пешком. Безветрие и небывалая красота, как говорится, глаз не отвести, мороз пощипывает щёки. Сзади лёгонький, мягкий сигнал. Надобно посторониться. Дорога, что расчищена, довольно узкая. Шикарный лимузин притормаживает, в открытую дверцу высовывается пассажир. «Простите, писательский посёлок, это туда?» Мы дружно киваем:

«Да-да, правильно, скоро поворот направо — и там!» «Ты узнала, кто это?» — спрашиваю жену? Она: «Конечно, это Бовин! Ведёт “Международную панораму”»!

Идти на «встретим шаббат» после этого не захотелось. Ясно, что Бовин, в то время приближённый «к самым верхам», едет на день рождения Аграновского. Если бы не Фазиль Искандер, а особенно его очаровательная жена Тонечка, которых мы догнали по дороге, до Аграновских мы бы не дошли. Но Тонечка подхватила жену под руку: «Не валяйте дурака! Раз Толя пригласил, пойдёмте. Он будет петь!»

Стол был накрыт в холле первого этажа. Шумели, чокались и уже обнимались почтенные обитатели Внуковского писательского посёлка, на диване сидел, развалившись, подпивший Бовин, вокруг него суетился Ваншенкин, подливая ему то «водочки», то шампанского. Непрерывно звонил телефон, Аграновский только отмахивался: «Скажи, не может подойти!» И вдруг очаровательная умница Инна Анатольевна Гофф, жена Ваншенкина, сидевшая возле телефона, в лёгком полуприседе принесла Аграновскому модного цвета рыжий аппарат на длинном проводе, только что привезённый Бовиным и подключённый его водителем. «Украдено непосредственно из ЦК», — шутил Бовин.

Аграновский приложил палец к губам, призывая к тишине, а умница Гофф едва выдохнула: «Замятин!» Мне показалось, что при этом имени вальяжный Бовин уронил пепел сигары и протрезвел. Впрочем, как уверял позже Фазиль, Бовин при надобности умел трезветь гениально. «Да, Леонид Митрофанович, да, благодарю вас! Да, огромное спасибо!» — трубка ещё мягко пожурчала и затихла. Мне показалось, что последнее: «Да, огромное спасибо, Леонид Митрофанович!» — было сказано в уже молчащую трубку. Аграновский разогнулся и сел с видимым облегчением.

Принесли гитару, и Аграновский, отложив табуированную врачами сигарету, принялся петь почти что запрещённые песенки Галича, довольно ловко аккомпанируя себе тремя аккордами. Он, как всегда и в любой компании, был свой, был в центре внимания.

Уходили мы тоже с Искандерами. Ночь вдруг просветлела, в раздвинувшемся чёрно-синем небе засияли неожиданно крупные звёзды. Фазиль, весело смеясь, рассказывал, как Ваншенкин смертельно обиделся на Бенедикта Сарнова: тот пересказал шутку Маршака о том, что Винокуров и Ваншенкин, в сущности, один поэт, — даже фамилия у них одна, — Вайншенкер, то бишь Винокуров.

— Жаль расставаться, — сказал Фазиль возле дома, — в такую ночь только гулять да гулять.

— Будет тебе, — ласково потянула его за рукав Тоня. — Он простужен, — это уже нам, — днём температура была!

Фазиль поднялся было на ступеньку-другую, потом быстро спустился и, смеясь, негромко, словно по секрету, проговорил: «А ты заметил, как у Бовина ухо вытянулось в сторону телефона, когда Аграновский с Митрофанычем говорил?»

— Фазиль, а кто это, Митрофаныч? — не спускаясь с крылечка, спросила Тоня.

Фазиль, всё ещё смеясь, но «выстраивая» строгое лицо, отрапортовал: «Замятин Леонид Митрофанович, заведомо международной информации ЦК КПСС! Он же серый кардинал и покровитель нужных людей!»

Фазиль иногда по-особому вскидывал голову, странно косясь на собеседника и становясь похожим на игривого и вздорного жеребёнка.

Такие воспоминания всплыли при упоминании имени Цезаря Куникова. Бесшабашного и одновременно расчётливого еврея-героя. Речь не о том, что он был Героем Советского Союза. Хотя и об этом тоже. Просто имя его исчезло, стёрлось минувшим временем, мало ли было героев в России! И евреев-героев. Но не возьмись Анатолий Аграновский, талантливейший журналист, с подачи ловкого царедворца Замятина писать лживую насквозь трилогию генсека, и не всплыл бы вместе с десятками, а может быть, и сотнями погрузившихся в мутноватые воды брежневских времён истинных героев, Цезарь Куников. Тоже герой настоящий, отчаянной смелости и риска человек.

Так прав ли был подзабытый гений советской журналистики Анатолий Аграновский, рискнувший репутацией, замаравший её писанием за генсека, общением с «верхами» и служением этим «верхам»? Тот же Ваншенкин, говоря об Аграновском, любил сморщить нос, дескать, талант, конечно, но... — и ухмылочка. Ну, и умение влезть, что называется, без мыла... Правда, сам Анатолий Абрамович во время единственной нашей прогулки по весеннему Внуково сказал, не помню, к сожалению, по какому поводу, во всяком случае, кажется, не в адрес Ваншенкина: «Не продаются, потому что никто не покупает! Таланта маловато!» Но к Константину Яковлевичу это не имело отношения: он и продавался талантливо.

Изменчива московская весенняя погода. Откуда-то со стороны Таганки, Больших Каменщиков (не от Таганской ли тюрьмы?) повеяло холодным ветерком, натянуло комками серой ваты тучи с провисшим чёрно-сизым снежным брюхом, и Покровка потеряла богатый блеск и достойную дородность предреволюционного модерна. Да, мол, родни-предков знаменитых не имеем, но на месте бывших... не тем будь помянуты, домик построим такой, что иным на диво. А что доходным назовут, так для того и строимся: имущество не как прежде гнить-простаивать должно, а капиталец приумножать, на том стоим и держимся. И строим не абы как, а на века! Знать бы знаменитому старообрядцу-хлеботорговцу Фёдору Семёновичу Рахманову, или купцу 2-ой гильдии Якову Андриановичу Бабушкину, или потомственному почётному гражданину Фёдору Кудряшову, совладельцу Торгового дома братьев Кудряшовых, которым принадлежала суконная фабрика на Малой Семёновской, да и другим не грех, что займут их дома через два десятка лет не почётные и даже не почтенные граждане, а сброд с московских окраин да из Кишинёва со Жмеринкой, призадумались бы тогдашние потомственные почётные граждане, стоит ли капиталец-то свой бросать-отдавать не пойми кому. Голь перекатная, у кого, кроме глотки, оловом лужёной, кожанки с чужого плеча да маузера в деревянной кобуре, в кармане вошь на аркане!

Странно, но лица людей, идущих навстречу по Покровке, незаметно стёрлись, смазались, стали похожи на бледные страшноватые маски с застывшими

рисованными чертами. Разве что на одних масках застыла кукольно-театральная скорбь, на других — вымученная, надетая словно по команде улыбка. Они шли и шли, одинаково неотличимые, слышен был их тяжёлый нестройный топот, сиплое дыхание, будто дышал, захлёбываясь от одышки, один смертельно измученный и больной человек. Это было похоже на нескончаемый, медленно льющийся навстречу мутный селевой поток. Они шли по мощёной мостовой Покровки, по тротуару, не обходя нас с женой, а протекая сквозь, оставляя лишь холодок, ощутимый в сердце и кончиках пальцев. Я оглянулся — над одинаково серыми спинами были тесёмками-завязками укреплены такие же маски. Только, показалось мне, если на лицах — скорбь и тревога, то маски со спины, на затылках, — замершая кривоватая улыбка. Как, откуда взялись эти тени, куда ведут их тени-красноармейцы в фуражках блином и обмотках на тонких ногах? Покровка вся-вся, до самого знаменитого дома-комода Апраксиных-Трубецких, единственного цветного пятна в сером потоке, залита этим маршем масок. Мне показалось, начало потоку было возле здания храма Воскресения Словущего, из проулка между голубым домом-комодом и портиком храма, оставшимся от прежней колокольни XVIII века. Да-да, сам знаменитый красавец-храм, конечно же, был разграблен, закрыт, передан ГУЛАГУ и особому Лагерному суду.

Но неужели прав Вернадский, и это и есть то самое «целое», что всегда больше суммы его частей? Части не уничтожаются временем, они живут, существуя параллельно с нами, протекая сквозь нас, не давая забыть то, что жило здесь, заставляя чувствовать присутствие замирающим сердцем и кончиками холодеющих пальцев? А мы? И мы пойдём когда-то навстречу неведомым нам людям, прогуливающимся по Покровке, и пройдем мимо, мимо, оставив лишь холодок в чужом для нас сердце?

Или это просто эгрегоры, сгустки энергии, порождаемые мыслями и эмоциями человека, о которых Даниил Андреев писал в «Розе мира»? И правда ли, что эгрегор, это коллективное бессознательное, управляет действиями человека, а тот, как батарейка, подпитывает коварный сгусток?

В таком случае, что же я видел (или ощущал?) — эгрегор гусеницы из живых человеко-масок или изношенный, но ещё мощный эгрегор-сигнал от отцов-основателей марксизма, учения вечного, оттого что оно верно? Или, наоборот, верного, оттого что оноечно?

Из-за угла с улицы Чаплыгина вылетел на самокате малыш с безумными от счастья глазами и едва не врезался в меня. Но пролетел мимо с криком: «Би-би!» Как мы существуем все вместе в этом исчезающем куда и никогда пространстве великого Вернадского? Малыш промчался: «Би-би!» — даже не заметив ни меня, ни жены, ни грозно-нестройного топота потока, льющегося от храма Вознесения Словущего, но остался во мне, отпечатавшись лихим воплем и сверкающими бессмысленным счастьем глазами.

— Я устала, — повернулась ко мне жена, и я увидел, что она действительно устала. — Пойдём домой!

Мы свернули на Чаплыгина. Здесь тихо, снова солнечно на одной стороне тихой улочки, и Москва сразу становится доброй, милой старушкой, обрадовавшейся гостям. Проходите, милые, места ведь старенькие, не раз и сам

Александр Сергеич у Харитонья-то бывал! До Харитонья ещё идти и идти, а на тихом солнышке вспоминается давнее-давнее, когда ещё улица была Машковым переулком по построившему здесь одноэтажные палаты гоф-юнкеру двора Василию Машкову. Позже и примкнувшую к переулку улочку Добрую слободку переименовали в Машков переулок. А после гоф-юнкера построиться здесь многие почитали за честь. Тот же и Лев Владимирович Готье-Дюфайе, хотя и 2-й гильдии купец, но человек в России известный. Появились-то Готье-Дюфайе в Первопрестольной по указу Екатерины. Льготы иностранцам, желавшим развивать экономику России, по указу 1763 года были немалые. И прижились, став купцами первой (!) гильдии деловитые французы, открыв для начала дела магазины французской (а как же!) галантереи и музыкальных инструментов. А уж Лев Владимирович Готье-Дюфайе, построивший семейный особняк на Машковой тогда улице, был человек другого масштаба: металлургические, чугунно-литейные заводы, оптовая торговля железом, Тульская металлургическая, Терское горнопромышленное акционерное общество, прочее горное дело. И, конечно же, благотворительность, как принято было у московских купцов. Хоть бы и французского происхождения. Впрочем, как справедливо подметил Энгельс, в России «и у евреев скулы растут», — французы Готье-Дюфайе с первого же поколения стали русскими по духу и судьбе. Брат Льва Владимировича Эмилий, общественник и благотворитель, член Императорского Московского археологического общества, коллекционировал всё, связанное с историей Москвы. Его дар — коллекция из пятисот фотографий — до сих пор ценнейший документ по истории дореволюционной Москвы. Что не помешало ему и его супруге быть арестованными, пробыть несколько месяцев в Андрониковом монастыре, первом московском концлагере, и с трудом выбраться из благодарной России. Сестра Эмилия, Елизавета Львовна Готье-Дюфайе, вышла замуж за поручика Александра Александровича Рара — и тут начинается ещё одна история этой семьи. Начинается с госпиталя, в котором лежал раненный на Галицийском фронте поручик, продолжается, разумеется, арестами, которых не выдержала Елизавета Львовна, и содержания в том же Андрониковском концлагере, а потом — высылки во «вражескую» Эстонию, поскольку семья «классовых врагов» Раров происходила с острова Эзель.

А закончилась, сейчас во всяком случае, знаменитыми Рарами в НТС (Народно-трудовом союзе), помощью русским военнопленным и депортированным в Прибалтике, уходом на последнем корабле от «родной» Красной армии и снова работой с русскими, попавшими за рубежом в беду. «Русский дух» оказался у Раров неистребимым, хотя скулы были вполне остзейскими.

А пока что посольство Латвийской республики (бывший особняк Готье-Дюфайе) насупленно смотрело из-под трёхполосного красно-белого флага. Две красные полосы в честь ста латгальских ополченцев, будто бы пригласивших земгальцев в 1279 году для обороны замка Венден, он же нынешний Цесис. Дальше с флагом — путаница, хотя на знамени красно-бело-красном латышских стрелков в мае 1917 года и было написано: «Мы идём отомстить за стоны предков и завершить неоконченную борьбу». Осталось только понять хотя бы тем,

кто сидит под знаменем: куда идём и чем завершить загадочную борьбу. Они — не поняли. И отправились в Россию — ходить «с винтарём» по Петрограду (это латышским-то крестьянам, выше двухэтажного дома и баб в платках не выдавшим!) с красными бантами и сладким чувством полной безнаказанности, служить по-крестьянски честно и основательно, но... особо пригодились они в Чрезвычайке, где из них выстроили послушно-равнодушные расстрельные команды. Припомним забытое и неpolitкорректное по нынешним временам присловье: «Советская власть держится на еврейских мозгах, латышских штыках и русских дураках». А ведь поначалу латышских стрелков называли «железной гвардией Октября», пока не обнаружились за ними сотни и тысячи невинных жертв, тогда появилась другая фраза, попроще: «Не ищи палача, а ищи латыша».

Когда-то, когда Латвия только-только отделилась от России, мы сидели с одним из лучших писателей XX века Юрием Осиповичем Домбровским у него дома на девятом этаже в двухкомнатке на Просторной улице. Юрий Осипович, отбывший в лагерях и ссылках «добрых» полтора десятилетия, рассказывал о межнациональных отношениях и нацобразовании в концлагерях. Среди заключённых было немало и латышей. Они держались скромно, но кучно. А обвинения им политически разномастными зеками предъявлялись самые разные: от блокирования войск Северного фронта на пути к Петрограду в дни Октябрьского переворота, разгона Учредительного собрания, охраны большевистских вождей, подавления эсеровского мятежа в Москве, до участия в подавлении крестьянских волнений по всей России, массовых расстрелах и организации самих лагерей, начиная с Соловецкого. Будто несчастные зеки-латыши были повинны в зверствах предавших свой народ латышей-революционеров. И в свою очередь кончивших жизнь в лагерях и на расстрельных полигонах.

— Николай Дмитриевич Авксентьев, — размышлял Домбровский, он прихварывал, сидел съёжившись на стуле, похожий на старого, встрёпанного ворона, — председатель Уфимской директории, один из самых умных людей своего времени, на предложение командования «белочехов» разнести в прах отряды Красной армии, наскоро собранные из башкирцев, ответил: «Не хочу собственных латышей заводить!» Так-то, — Домбровский ловко перекидывал изжёванную папиросу в другой угол рта. — Мне как-то попались портреты глав республики Латвия, не помню уж, как они и назывались, может быть и президенты, — он, не вынимая папиросы изо рта, приложился к стакану крепчайшего чая, — у них у всех какой-то изначально обиженный вид, словно им что-то пообещали и недодали! — Потянулся к полке с книгами, снял одну и открыл её, не перелистывая. — Вот они, красавцы, на Беломорканале, — и снова повторил от него же впервые услышанное присловье, «на еврейских мозгах, латышских штыках и русских дураках».

Наступила долгая пауза. Слышно было, как Клара, жена Юрия Осиповича, хлопочет на кухне.

— Впрочем, — Юрий Осипович повернулся и смотрел на старинную, «древнего письма», икону Божьей Матери «Нечаянная радость», — они все были

хороши. И Россия была для них, как, по Троцкому, «вязанка хвороста» для большого революционного костра в Европе. — Он снова потянулся к полке. В небольшой комнате он, худой и высокий, легко доставал книги, не вставая со стула. Книга, которую вынул Домбровский, имела вполне почтенный вид. Старенькая, в потёртом переплёте и с закладками между посеребрившими от возраста страницами. — Это, между прочим, Маркс, немецкое издание. Мне его раздобыл московский книжник один, Миша Климов. У нас ведь до сих пор полного собрания Маркса, да и Энгельса тоже, нету. А знаете почему?

— Я эту книгу ненавижу, — перебила мужа Клара, появившаяся в комнате с целым блюдом горячих пирожков. — Когда Юрий Осипович её читает, особенно по-немецки, мне дурно делается. Физически!

— Тогда только одну цитатку из Маркса, — он виновато посмотрел на жену. — Это примерно 1854—1956 год, Крымская война. Тогда с божьей помощью вся Европа на Россию поднавалилась. Британия и Франция, разумеется, впереди, возглавляют. Секундочку... — Домбровский несколько раз открыл том, пользуясь закладками, и наконец нашёл нужную «цитаточку». — А Маркс и Энгельс всю призывают превратить войну в «священную борьбу европейских наций» против России. Между прочим, «священная борьба европейских наций» никого вам не напоминает? Из середины двадцатого века?

— Юрий Осипович, ты же обещал! — капризно сказала Клара. — Самаса остынут!

— Секундочку, — повторил Домбровский. — Это в моём переводе, добро? — и принялся вполголоса читать немецкий текст, поддерживая сползающие очки. — Значит, так: «...Кронштадт и Петербург необходимо уничтожить... Без Одессы, Кронштадта, Риги и Севастополя с эмансипированной Финляндией и враждебной армией у врат столицы... что будет с Россией? Гигант без рук, без глаз, могущий только пытаться поразить своих противников слепым весом». А, каково? — и победно вскинул голову. — А теперь можно и к самасе перейти. В Москве эти пирожки почему-то самсой именуют! Клара их стряпает замечательно! — Он ласково погладил старый, словно запылившийся от времени переплёт. — Впрочем, марксово учение, как сказано, по-моему, в талмуде, это стремление изучать завитушки тумана, а не то, что он скрывает. Ко всему, если начать уничтожать не за что-то, а во имя чего-то, то остановиться невозможно.

Ещё когда мы шли по Покровке, я сознательно пропустил дом номер 37. Кооперативный дом общества политкаторжан. Дочь одного из этих политкаторжан, Наталья Александровна Гумилёвская, узнав о табличках «Последнего адреса», сказала: «Если бы таблички памяти всех убиенных из этого дома повесить на его стены, он бы рухнул». Политкаторжане и ссыльнопоселенцы после захвата власти большевиками оказались никому не нужны. Мало того, что они требовали к себе особого внимания и (какая низость!) привилегий — пайка, способного прокормить семью, лечения, просто жилья или «жилплощади», как оно стало именоваться. Они, поначалу поддержавшие переворот, первые стали понимать, что произошла вовсе не та революция, за которую они бились и страдали. Своими воспоминаниями, журналом «Каторга и ссылка», встречами с рабочими и молодёжью (старая школа!) политкаторжане мешали создавать тот

выверенный и отлакированный путь «Великой революции», который наметил Ленин, а прочертил и окончательно утвердил верный ученик Ильича товарищ Сталин, лучший друг детей, колхозников, шахтёров и проч. А здесь — очаг, где теплится жалким, хранимым втайне огоньком, представление о свободе, о воле, память о погибших за светлое завтра. Которое, как они уже поняли, не наступило с победой революции, и если наступит, то не скоро. Кроме того, у них за плечами был опыт подпольной борьбы, особенно настораживающий Железного Феликса, поддержавшего инициаторов создания Общества политкаторжан. Нельзя уничтожить или закрыть движение — надо его возглавить! Это всегда, наравне с провокациями, было основным принципом власти. «Общество» локализовало потенциальных вольнодумцев, с помощью провокаторов помогло бывшим разношёрстным политкаторжанам вцепиться друг в друга: эсеры схватились с анархистами, те — с бундовцами, эти — с анархо-коммунистами, и конца этой мелкой идеологической грызне-чесотке не было. И чем дольше шли кухонные битвы (на общественных кухнях, своих в «квартирах будущего» не было), тем мельче, но яростнее они становились. Идеологическая чесотка оказалась заразной. А власть умело подбрасывала поводы: неравномерные пайки, ничего не значащие посты, места в санаториях («Михайловское», бывшее имение Шереметевых!) да и квартиры в кооперативных домах кое-что значили!

Но пришла пора заняться ими всерьёз. Бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев поначалу вылавливали поодиночке, на свежего троцкиста-мотыля или опарыша-оппозиционера, как резвых окушков среди невинных пескариков, а после — к памятным 1937—1938 годам — попросту сгребли мелкой сетью в артелях и мастерских, специально для них созданных (о бессмертный Чернышевский!), и под одну статью УК 58-10 отправили на расстрельные полигоны. Родственникам, правда, не сообщали об этом, и кое-кто из дома № 37 на Покровке долго ещё возил передачи в тюрьму на Таганку. А что, тюремщикам тоже ведь хочется хорошо питаться, верно?

Конечно, сдались не все. Во всяком случае, не сразу. Пример — негибная Вера Николаевна Фигнер. Участница «хождения в народ». Девушка из Бернского кружка «Фричи». Революционерка, террористка. Дама Топни Ножка, как называл её знаменитый террорист Сашка-инженер (Фёдор Юрковский). Десять месяцев работала фельдшерницей в селе Вязьмино Саратовской губернии. *Каждую минуту мы чувствовали, что мы нужны, что мы не лишние. Это сознание своей полезности и было той притягательной силой, которая влекла нашу молодёжь в деревню; только там можно было иметь чистую душу и спокойную совесть.* Защищала однопартийца Евно Азефа от «невероятных обвинений», но, узнав правду о провокаторе, тут же вышла из партии эсеров. Отбывала наказание в Шлиссельбурге, писала стихи, была знакома с П.А.Лавровым, «русским европейцем», автором «Русской марсельезы» («Отречёмся от старого мира...») и М.А.Бакуниным. Идеолог и практик терроризма. Жизнь революционерки долгая — почти девяносто лет — и немислимая по напряжению: тюрьмы, ссылки, каторга, подпольная борьба, неприятие октябрьского переворота — закончилась в сталинские времена. 14 марта 1926 года в связи

с 45-й годовщиной покушения (и гибели) на императора Александра II (Освободителя) Вере Фигнер была назначена персональная пенсия как участнику покушения. В 1933 году пенсия была увеличена.

Я не могла бы со спокойной совестью привлекать других к участию в насильственных действиях, если б я сама не участвовала в них: только личное участие давало мне право обращаться с различными предложениями к другим лицам. ...Я считала прямо подлостью толкать других на тот путь, на который сама не шла бы. ...Вот объяснение той «кровожадности», которая должна казаться такой страшной и непонятной и которая выразилась в тех действиях, одно перечисление которых показалось бы суду циничным, если бы оно не вытекало из таких мотивов, которые во всяком случае, мне кажется, не бесчестны.

Это из воспоминаний Веры Фигнер «Запечатлённый труд». Она принимала участие в деятельности «Общества политкаторжан» до самого его разгона, хотя сама в него не вступала. И пыталась, говорят, помогать многим старым революционерам, покорно шествовавшим под нож. Писала Калинин и Ем. Ярославскому. Безрезультатно, впрочем.

То, что я написал, — одна многотысячная доля биографии Веры Николаевны Фигнер. В 1932 году было издано семитомное собрание сочинений Веры Николаевны. Об «ужасах жизни» в царских застенках. Писала талантливо. Иван Бунин, великий стилист, о статьях В.Н.Фигнер: «Вот у кого нам нужно учиться писать!» Но в семи томах «ужасов жизни» нет ни слова о том ужасе, в котором она жила последние двадцать пять лет. Четверть века. Каково было ей, дворянке, «народнице», добровольно отдавшей, пожертвовавшей жизнь народу, видеть приход к власти пушкинско-достоевских «бесов», падение идеалов, арест и уничтожение соратников, братьев по борьбе, распад (в самом широком смысле!) русской культуры, её вскормившей, перерождение представлений о сути революции — от терминологии до основ. И, может быть, неслучайно нет в Москве, в Петербурге памятников народолюбцам, истинным и бескорыстным революционерам, правым даже в своих заблуждениях? На улице Чаплыгина, 15 под крышей кооперативного дома «Общества политкаторжан» сохранена надпись «Политкаторжанин», которую никто не видит, а если и увидит, пожмёт недоуменно плечами. Есть тут неподалёку, на перекрёстке, и памятник Сергею Алексеевичу Чаплыгину. Русскому учёному-механику. Занимался он вместе с Жуковским модной в ту пору аэродинамикой. И памятник заслужил. А вот Вера Николаевна Фигнер — нет.

Террористка Вера Николаевна Фигнер дожила до преклонных лет. Но вот длинная цитата из статьи Д.С.Мережковского «Бес или Бог», где он сам цитирует книжку «Памяти Фрумкиной и Бердягина», вышедшей в Москве (заметьте!) в 1908 году. «В 1903 году происходящая из минских мещан повивальная бабка Фрума Мордуховна Фрумкина, 29 лет, отточенным ножом нанесла удар в шею начальнику Киевского жандармского управления генералу Новицкому. Её осудили на 11 лет каторги, которую она отбывала в горном Зарентуе. По манифестам срок сократился. Её отправили на поселение в Читу, откуда она бежала в 1907 году и в том же году была арестована в Москве, в Большом театре, близ ложи московского градоначальника Рейнбота,

с браунингом, заряженным отравленными пулями, и заключена в Центральную пересыльную Бутырскую тюрьму, где покушалась на жизнь тюремного начальника Багрецова, — выстрелом из револьвера слегка ранила его в руку. Её повесили 11 июля 1907 года».

Вы пошлёте меня на казнь, и этим я завоевала право сказать вам всё, что я считаю нужным. И я скажу это, — говорит Фрумкина судьям. «...Нам кажется страшным, — это уже Мережковский, — что в России надо убивать и умирать, чтобы обратить на что-то чье-то “внимание”, чтобы кто-то “растерялся”, да и то Бог весть».

Судебные речи Фрумкиной незначительны, а впечатление на судей потрясающее. Тут, разумеется, важно не что, а как было сказано.

«С каждым словом, — говорит очевидец, — Фрумкина подымалась всё выше и выше... Лицо её было так бледно, что казалось прозрачным... Всегда некрасивая, она сияла неземной красотой». «...Вся комиссия была страшно взволнована, — передавал защитник ей самой, — председатель сказал, что он никогда подобного не видел и не слышал».

Судьи были целиком на моей стороне и, вероятно, думали, что каждый бы из них сделал бы то же самое, — пишет Фрумкина, — *может быть, потому не хотели они меня повесить.*

Суд сделал всё, что от него зависело, чтобы избавить её от смертного приговора, объявив «душевнобольной», хотя никто не сомневался в её здоровье. Но сама она этого не хотела и вынудила у судей приговор.

Мы все сидели вместе за длинным столом — жандарм стоял вдали, — и я спокойно, просто и ясно доказывала им, как глубоко мы любим нашу родину, как страстно хотим ей помочь, как стыдно жить среди тысяч замученных и казнённых, как легко и радостно отдать жизнь за неё... Они молча и проникновенно слушали... Мне кажется, я их заставила понять и почувствовать, что лучше подписать мне смертный приговор, чем отдать в больницу... Я не чувствовала в них врагов, я читала на их лицах уважение к русскому революционеру.

Обо мне не печальтесь, — пишет она перед смертью, — *всё хорошо и всё будет хорошо... Дорогие, родные товарищи!.. Я ношу почётное и великое имя русского революционера, и этому имени приписывайте мою стойкость и готовность радостно умереть за наше святое дело, — но не мне. Русские революционеры умеют жить и умереть для счастья родины — я только следую их примеру. Не выделяйте одного, а говорите: «Прекрасна русская революция!..» Желаю вам своими глазами увидеть освобождение России. Желаю хорошо жить и хорошо умереть. Прощайте.*

Фрумкина умерла за то, чтобы говорить; Бердягин — за то, чтобы молчать, и это молчание сильнее всяких слов.

Осталось неизвестным, кто он, откуда, как жил и что делал до ареста, даже настоящее имя своё он скрыл. Отказался говорить на суде, потребовал, чтобы его вывели из залы заседания, не захотел выслушать приговор — «бойкотировал суд». *Меня ждёт петля... Впрочем, я не дамся им в руки живым, —* писал он за несколько дней до казни, решив «бойкотировать» и виселицу.

Бердягин страшно и мучительно покончил с собой, предварительно сняв с себя кандалы, «чтобы умереть свободным».

Я не понимаю боязни наказаний и смерти, — говорит Фрумкина, — не понимаю желания сберечь себя для будущих великих дел, а пока пресмыкаться... Главное же: всякое глумление над человеческим достоинством должно вызывать отпор помимо каких бы то ни было рассуждений... отпор такой, каков при тюремных условиях возможен. <...>

Важен факт отпора... важно доказать, что безнаказанно глумиться над человеком нельзя... Один результат всегда есть: мы сами не теряем уважения к себе. <...> Мы решили не уступать, — приводит она слова одного из товарищей. — Вслед за платьем отберут книги и всё остальное, так пускай уж лучше сразу прикончат, а мы им ничего не уступим. <...> Таких людей можно сломать, а не согнуть, — заключает Фрумкина. — Мы ни на минуту не должны забывать, что носим почётное звание русского революционера, и это звание обязывает. Не нами началась, не нами и кончится русская революция. <...> Если нельзя отомстить, то можно умереть! — восклицает она с таким величием, которому позавидовали бы герои Тацита.

Умирая, я бы хотела знать, что будет с Россией./ Это незнание в сущности единственно больно, — пишет Фрумкина накануне казни. — Придёт время, когда меч перекуёт в серп, — говорит она.

Настанет время, — говорит Бердягин, — когда любовь и разум проникнут в жизнь человека, и мир представит единую братскую семью... Этот рай омывается не Тигром и Евфратом, а истиной и справедливостью... Я счастлив, умирая... Ave, Revolutio, morituri te salutant!

...Целый пласт русской культуры, русской жизни, бурной, яркой, безумно-сумасшедшей, с тайниками оружия, террористическими актами, убийствами, провокациями и предательствами, героями, достойными эпоса, — втихую расстрелян, сожжён в крематориях сталинщиной и ушёл, погрузился в таинственное небытие русского града Китежа. Всплывёт ли когда-либо? Едва ли...

Современные историки считают, что, если бы 1(13) марта 1881 года не удалось и десятое (!) покушение на жизнь императора Александра II, судьба России сложилась бы иначе. Была бы принята Конституция М.Т.Лорис-Меликова, и громоздкий российский корабль медленно, но неуклонно развернулся бы по примеру Англии в сторону конституционной монархии.

Так что революционные «бесы» не зря 14 марта 1926 года (в день 45-летия убийства Александра II) отблагодарили пожизненной пенсией единственную оставшуюся в живых участницу покушения Веру Николаевну Фигнер, а в 1933-м даже увеличили пособие.

Жена нагнулась и протянула ладошку, как протягивают руку детям и котяткам. Сквозь щель в бетонном заборе латвийского посольства пробился росток жасмина. И не только пробился: на конце веточки светились два нежных цветка. Правда, один в прах был растоптан ботинком. Жена сорвала этот росток. «Посажу у нас во дворе», — оглянулась она на меня. — «Вырастет?» Она пожала плечами. Так как она умела, удивительно по-женски. «Во всяком случае, здесь

он погибнет точно!» Цветок на веточке был удивительно белый с лёгким оттенком желтизны, красными прожилками по центру и яркими жёлтыми пестиками. Желтизна на белом оказалась микроскопическими точками пыльцы. Жена поцеловала цветок, что-то приговаривая. Она вообще любила поговорить с вещами (доставалось непослушным), а уж с цветами — особенно.

— А почему Харитоньевский? — мы вышли на Большой Харитоньевский переулок. — По храму?

— Конечно!

— Он жив?

— Храм всегда жив. Даже когда его сносят, над ним в небе вьётся белый голубь. Дух Святой.

— А этот?

— От него остался только голубь.

Здание библиотеки, стоящей на месте храма Харитония-исповедника, единственного, кстати, в Москве, было похоже на разросшийся муляж: на стенах просвещённые (или просветители?) — архитекторы — написали знаменитые имена: Гомер, Аристотель, Ахматова, Курчатов, Мандельштам... Видимо, по версии просветителей тёмный народ должен останавливаться, вглядываться в святые имена и проникаться флюидами культуры, излучаемыми белёсыми стенами библиотеки. Непросвещённый народ не останавливался. Во всяком случае, пока мы там находились.

— Дойдём до Юсуповского дворца?

— Я хочу домой, поставим отросток в воду!

Мы свернули в сторону Чистопрудного бульвара. Я вспомнил, как несколько лет назад мы встретили неподалёку поэта А.Р. Старенький, странно уменьшившийся, под руку с усохшей грушей — старушкой-женой. Бывшей известной московской красавицей.

— Она — коренная москвичка, — заговорил А.Р., как будто мы с ним расстались несколько минут назад, или хотя бы вчера, — и никогда не видела этого Юсуповского дворца. Говорят, его строил Иван Васильич Грозный. Что ты думаешь об этом? — И, не дожидаясь ответа: — Я считаю, здесь был только его охотничий дом. А палаты уже позже, век XVII — XVIII, но уцелели! Самое старое, что называется, гражданское здание в Москве!

— Алик, что ты морочишь человеку голову с Юсуповскими палатами, может, это ему неинтересно?

— Как это неинтересно? Там по цепи ходил механический кот, привезённый из Англии, а во флигеле снимал жильё Сергей Львович Пушкин. И Пушкин свои детские воспоминания переташил: «У Лукоморья дуб зелёный, золотая цепь на дубе том, и днём и ночью кот учёный...» А ты — неинтересно. Он же живой человек! — А.Р. ухватился за мой рукав, словно желая проверить, достаточно ли я жив.

— Это ты живёшь непонятно где, — в сегодняшней жизни или бог знает в каких веках...

— Это страшно интересно, — обрадовался А.Р., — ты не задумывался над этим? Я в последнее время размышляю: ведь для прошлого мы — будущее,

а для будущего — прошлое. Понимаешь, с точки зрения философии это страшно интересно! Попробуй уточнить, где мы находимся?

Его жена пожала плечами и взяла мою под руку.

— Я уж ему не рассказываю, — доверительно проговорила бывшая московская красавица. — Я ведь однажды в этом переулке была в доме... в доме... вон том, забыла номер. Но до этих самых палат не дошла. Здесь жила удивительная еврейская семья. Глава — Яков Фавиевич Каган-Шабшай. Какой-то знаменитый учёный. Он называл себя человек Запада. Говорил на всех европейских языках, само собою иврит и идиш, ездил только в коляске с личным извозчиком и собирал еврейскую живопись. Потом они переехали на Знаменку. В Малый Знаменский переулок. Там я у них не раз бывала. И что, скажите, был бы Шагал без Каган-Шабшай? На первой выставке Шагала, которую оплатил, сами понимаете, Каган-Шабшай, почти все работы Шагала были из его коллекции. Не знаете, кто был Каган-Шабшай? А электростроительный институт имени Якова Каган-Шабшай знаете? А станкостроительный институт, СТАНКИН знаменитый? Знаете? Тогда вы знаете и самого Каган-Шабшай! Это он их основал! Так за эти заслуги его сына Марьяна полжизни промурыжили по лагерям, пока он не спрятался на сто первом километре в Боровске и не женился на русской девушке Насте. И на доме, как папа, повесил бронзовую табличку: «Марьян Яковлевич Каган-Шабшай».

— Что ты говоришь про Каган-Шабшаев? — услышал разговор А.Р. — Я был знаком с его дочкой Верочкой. Она работала в еврейском театре «Фрайкунст» и создала еврейский балет и пантомиму.

— Алик в юности был знаком с дочками всех знаменитостей! — прокомментировала бывшая красавица.

— А ты помнишь, мы в Риме ходили на выставку фотографий сцен из её постановок «В начале было тело»?

— Ты ходил без меня! — и повернулась к моей жене. — Помнит всё, что было когда-то, и ни черта про сегодня!

— Сегодня неинтересно! — отозвался А.Р. и снова ухватил меня за рукав. — А что вы скажете про Вальку Катаева? Он, видите ли, написал, что евреи — самая беспокойная нация. А что, это не так? Так евреи взбунтовались: он, конечно, под словом «беспокойная» имел в виду что-то другое и непременно оскорбительное для евреев!

Я только пожал плечами. Не зная, что сказать.

— И Маркс был еврей, и Троцкий, без которого никакого Октябрьского переворота, победы в гражданской войне и ублюдочного социализма в России бы не случилось... А ты знаешь, где полностью реализовалась мечта Троцкого? — А.Р. был в восторге от себя и нового слушателя. — В Северной Корее! И Мишель Монтень был евреем, я это, кстати, обнаружил, рассматривая однажды его портрет: он был один в один схож с моим дедом-скрипачом из-под Жмеринки. Кстати, вы знаете, что все мудрецы в талмуде говорят так, будто они сидят за одним столом: тут пришёл реб Айре Лейб и говорит... А почему? Потому что для мудрости не существует времени...

Я снова пожал плечами, но А.Р. это было не нужно, он был самодостаточен.

— Валька Катаев написал про евреев, потому что ему это зачем-то понадобилось. «Беспокойная нация»! Какая фальшь! А ведь имел в виду правильную мысль, он же умён как бес: евреи в авангарде самоуничтожения этой цивилизации! Я терпел, когда он врал про Бунина, что тот был его учителем и восхищался какой-то его строчкой! Но Бунин про Катаева говорил только, что у него волчьи уши и невероятный цинизм. Якобы тот признавался Бунину, что за сто тысяч убьёт кого угодно. Что он хочет хорошо есть, иметь хорошую шляпу и отличные ботинки.

— Может, он просто хотел поддразнить старика, это в его духе...

— Ты правильно сказал: это совершенно в его духе. Циник и пролаза.

— Но талант... Я читал его воспоминания о Маяковском — блеск!

— Блеск! — взорвался А.Р. — Но всё враньё! Я специально расспрашивал Лилю Юрьевну Брик, она хохотала! Он вспоминает, что будто бы Маяковский рассказывал, как он ходил выпрашивать автограф у Блока. Лиля Брик сказала, что автограф Блока получила она сама при любопытных обстоятельствах...

— Лиля Юрьевна тоже любила повспоминать то, чего не было! — встала его жена.

— Да, — согласился честный А.Р., — но Валентин Петрович, будем называть его так, хотя он для меня одесский разгильдяй Валька, сам мне признавался, точнее, с гордостью говорил, что придумал новый литературный жанр: «интервью, которого не было» и «воспоминания о несостоявшемся». Его «воспоминания» в «Траве забвения» — это как раз рождение и развитие этого жанра.

— А что это за жанр? — поинтересовалась моя жена.

— На самом деле нет ничего проще. Надо только жить подольше и много читать мемуаров. А потом состряпать свою «встречу» с великим человеком, которая теоретически могла бы состояться. Правда, тут нужен талант. У него он есть. Вся его жизнь — ложь, игра воображения. Когда он пишет о Бунине, что у того художественное творчество перестало быть борьбой, а превратилось в простую привычку изображать, в «гимнастику воображения», — это он не о Бунине, а о себе! Причём вся его гимнастика воображения всегда была направлена для наилучшего устройства своей жизни. Бунин правильно отметил и его «волчьи уши», и дикий, беспримерный цинизм.

— Занял дачу Эренбурга в Переделкино и отказался съезжать, когда тот вернулся из-за границы, — оживилась жена А.Р., сразу став похожей на ту, прежнюю, московскую красавицу.

— А свой дикий цинизм научился даже выставлять напоказ! Но с неременной пользой для себя!

— И прикрывать шуточками! — поддержала бывшая красавица. — Помнишь, Алик...

— Помню, — отрезал А.Р. неожиданно командирским голосом. — Помню, но вспоминать не хочу. Он делал и неплохие дела, «Юность» создал, печатал Ваську Аксёнова, Гладилина...

— Делал, — умерила пыл жена, услышав командирский басок, — но только когда и ему выгодно было...

— Это другой вопрос, — смирился А.Р. — А вы знаете, что он сказал мне по поводу «Двенадцати» Блока? В белом венчике из роз впереди Иисус Христос? Что это Алексан Алексаныч лизнул задницу большевикам! А, каков Кирджали?!

— Началось, любимая тема, — сказала жена А.Р. моей, — пойдёмте, — и взяла её под руку. — Теперь это надолго...

Но бывшая красавица ошиблась. А.Р. довольно быстро соскочил с этой темы, увидев памятник Чаплыгину.

— Как вам нравится? — он подошёл поближе к памятнику, рассматривая замершее лицо учёного. — Чаплыгин! А знаете почему? Думаете потому, что он здесь жил? Совсем нет! По справедливости, здесь или где-то рядом должен был бы стоять памятник великому Вавилову, он ведь работал в Юсуповском дворце. Но он опасен для властей даже и посейчас! Почему? — А.Р. увидел, как его жена обернулась и удивлённо подняла выщипанные и после тонко наведённые брови. — Потому что он ярчайший представитель меритократии!

— А это что за зверь? — её брови поплыли ещё выше и даже изогнулись, переломились пополам. Может быть, ей не хотелось, чтобы А.Р. ввязывался в политические споры? Уроки этих споров она изучала полжизни.

— Меритократия — это управление сильных, умных и умелых, тех, кто умеет работать, умеет создавать. Примерно тысячу лет назад, — А.Р. стоял, всё ещё обратившись к памятнику. Получалось, что он принялся читать лекцию знаменитому учёному-механику и электрику. — Ну, по крайней мере лет семьсот рванула вперёд так называемая западная цивилизация. И далее эдак столетий пять она демонстрировала свою успешность по сравнению со всеми цивилизациями мира. И всё то, что нас окружает в мире, — он потянулся и похлопал памятник по мраморному основанию, — в том числе правом на жизнь, это всё дары этой цивилизации. Власть, почёт и уважение в обществе даются человеку за заслуги. В этом смысл меритократии. Во множестве других обществ этого не было. Но в восемнадцатом примерно столетии, когда люди стали понимать, что они не вымрут от голода, что кара Господня если и настигает, то не сразу, на Западе возникла тяга к маронократии. Маронократия — это власть идиотов, бездельников. В зародыше её — марксовский социализм. Я, кстати, читал марксов «Капитал», первый том, конечно, туда и обратно, потому что следующие три тома, собранные Энгельсом, это вообще чушь, не стоящая внимания. И не мог понять, чем же он так поразил общество в девятнадцатом веке? Соображения о прибавочной стоимости были тысячелетиями понятны всем, кто что-то производил или продавал. Но Маркс силён тем, что внятно сформулировал антогонистическую, то есть непримиримую, ненависть бедного к богатому. На том и строится социализм: отобрать и разделить! Марксовы завиральные идеи положили начало расколу цивилизаций. Развивая это не мракобесие, а марксобесие, современные левые сначала обвинили богатых: если те, стало быть, плохие, исчадия ада, то, значит, бедные — хороши! Они, надо понимать, угнетённые, а все, кто их кормит, — угнетатели. Нашлись и философы — фроммы, франки, грамши и прочая либеральная пена, — несть им числа, — и вот уже все белые виноваты перед чёрными, что те живут в дерьме и нищете! Нормальные люди виноваты перед педерастами всех мастей: а почему

вы нас не уважаете? Евреи виноваты перед палестинцами, что те не создали своё государство! Это им ещё отольётся, ведь власть идиотов-болтунов крепнет и будет крепнуть дальше, потому болтать легче, чем вести бизнес или быть вавиловыми, — А.Р. посмотрел в глаза памятнику. — И чаплыгиными. Любая система существует, пока она развивается. А капитализм, отбросим мелкие его малопривлекательные черты, достиг, можно сказать, совершенства. То есть можно шлифовать, доводить, улучшать частности, но впереди — застой. И вот сразу же начинают расти поганые грибы: создаются особые механизмы по уничтожению тех, кто является успешным, талантливым, предприимчивым, умным, способным. Молодые самцы сбиваются в стаи. Это всё на уровне социального инстинкта! Внутренний механизм возник в рамках западной цивилизации, цель его — уничтожение этой самой цивилизации. Для торжества цивилизации маронократии, то бишь идиотов! Идеология идиотизма поставлена над наукой, над моралью, над здравым смыслом! Если нам не удаётся глупость сделать умнее, надо опустить планку, для того, чтобы умные поглупели! И оглушение как организованный процесс успешно продолжает идти! Вместо музыки — рок, вместо поэзии — рэперы, вместо интеллектуальных споров — баттл с матерщиной. А говорить правду об этом стало преступным, аморальным, антисоциальным! Нас ждёт цивилизационный сдвиг, встряска!

— Адам Мицкевич был великим импровизатором...

А.Р. пропустил мои слова и оглянулся — мимо прошла молоденькая девушка в лёгкой майке. Острые грудки торчали соблазнительно и грозно.

— С ним всю жизнь невозможно было ходить по улице, — пожаловалась бывшая красавица, снова превращаясь в старушку-грушу. — Раньше оглядывался на всех девок, теперь — едва волочит ноги, но всё равно...

— Если нельзя отведать ресторанное блюдо, — заулыбался А.Р., всё ещё косясь вслед девице, — дайте хоть почитать меню!

Вскоре после этой встречи мы провожали А.Р. на Ваганьковское. На подушках несли его боевые ордена. Мы шли, и никак было не отделаться от назойливой мысли: обрушился, как рушатся с айсберга громады льда, кусок культуры, а мы, оставшиеся, растянувшиеся жидкой, но длинной цепочкой между могил, только те беспокойные волны, которые взбаламутил обвалившийся ледяной утёс. Временно беспокойные.

— Заглянем в Гусятников переулок, хочу показать дом с рыцарем!

— Я устала, пойдём домой!

Из-за угла показалась обиженная морда трамвая.

С этим домом в Гусятниковом у меня особые отношения. Мои старые московские тётушки, жившие возле Арбата в Большом Афанасьевском переулке, несколько раз просили меня передать «подарочек» своей старинной приятельнице. Приятельница обитала в «доме с рыцарем». Эта приятельница — последняя «гранд-дама Марыся Сигизмундовна» жила на четвёртом этаже в немыслимо громадной квартире. Она была дальней родственницей чемпиона мира по шахматам Александра Алехина, семье которого когда-то и принадлежала квартира. Ныне по сообщениям гранд-дамы в квартире этой обитало более сорока человек. Роскошный вестибюль в стиле модерн в золотой росписи и мозаиках, мягкий

беззвучный лифт с бархатной скамеечкой для лифтёра, «машина», как его называли прежде, тяжёлая входная дверь с ручками, похожими на рыцарские мечи, квартира — единственная на этаже. Марыся Сигизмундовна существовала в одной из тринадцати комнат бывшей Алехинской квартиры. Комната, судя по лепнине и росписям потолка, бывшая столовая, была поделена перегородками на три или четыре помещения, в одном из которых и обитала «гранд-дама». Она была довольно высокой и стройной для своего возраста, с прямой спиной и накрахмаленными кружавчатыми воротничками. Пепельно-серые от седины волосы всегда убраны в довольно затейливую высокую причёску с коричневыми черепаховыми гребнями, украшенными «бриллиантовой крошкой». Она без особых благодарностей принимала «подарочек», довольно сухо предлагала «чай с печеньями», от которого я отказывался к видимому её облегчению. Старость выдавали только подрагивающие, слегка опухшие в суставах руки и, судя по всему, приобретённая недавно манера придерживать рукой за стенку довольно широкого коридора.

— Это привет Марысе Сигизмундовне от господина Альцгеймера, — говорила младшая из моих тётушек Густа (Августина). — В этом случае не помогает даже гимнастика.

Младшая — Густа — была противницей гимнастики, но это, кажется, было единственное несовпадение интересов со старшей — Линой (Ангелиной). Сёстры, вывезенные когда-то из Лодзи, всю жизнь прожили в квартире на Большом Афанасьевском, в которой после очередного «уплотнения» остались в одной комнате, тоже разделённой перегородкой на две. Во второй, смежной, жила тихая, беззвучная тайная монахиня, которую приютили тётушки. Младшая (Густа) была сама доброта, улыбчивость и неистребимое желание помочь и даже услужить кому-нибудь. Кстати, в круг нуждающихся в её помощи входили и все окрестные бродячие кошки и собаки. Детей у сестёр не было: Густа никогда не была замужем, а сын красавицы Лины был арестован в 38-м и сгинул в «северных лагерях», как считали сёстры. Позже выяснилось, что он был расстрелян на полигоне в Бутово. «Представьте, — говорила как-то Густа, — нам предложили от Госкино дачу в Бутово, Лина приехала туда и тут же заявила, что жить здесь не сможет! Семён Израйлич был в ужасном гневе, — тут она понизила голос, хотя Лина была почти совершенно глуха и Густа была у неё переводчиком, — этой дачей его наградили за что-то. Он ведь начинал русское кино на кинофабрике Ханжонкова.

— Что ты говоришь? — Лина подняла голову от школьной тетрадки, в которой вела «квартирную арифметику»: рассчитывала, кто из жильцов и сколько должен платить за квартиру, свет, газ и проч.

— Я говорю ему, что Семён Израйлич работал с Ханжонковым! — с особой отчётливостью проговорила Густа.

— Не надо так повышать голос, я всё слышу! — когда Лина смотрела на говорящего человека, она понимала по губам, и ей казалось, видимо, что она слышит. И Лина снова принялась за цифры в тетрадке.

— Семён Израйлич был великий человек, — продолжала Густа, — он первый в мире вместе с Ханжонковым придумал делать научное кино и стал

снимать фильм с учёными по биологии, медицине, и я ещё не знаю, про что... Эту квартиру он нам купил, женившись на Лине, — она сделала таинственную паузу. — Лина тогда была первой красавицей. Ханжонков хотел её снимать в своих картинах. Говорил, что она будет второй Верой Холодной. А у неё в то время только закончился роман с Алехиным. Знаете такого шахматиста? — она почему-то называла меня на «вы».

— Чемпиона мира? — искренне изумился я.

Боже, что происходит со временем? Это какая-то неуправляемая субстанция, то растягивающаяся, как гармонь, то сжимающаяся и заставляющая суетиться, как в ускоренном немом кино, скользить, смешно дёргаться, размахивать в отчаянии руками и совершать неожиданные и трагические ошибки. Ускорилося время, и вот уже гвардейские офицеры, напившись вина (под вином тогда имелось в виду исключительно шампанское), идут под командованием Николая Зубова и Леонтия Беннигсена по гулким коридорам Михайловского замка мимо караульных, для которых время замедлилось, а бедный, бедный Павел в ночной сорочке прячется за портьеру; время ускорилося — и Пушкин с Данзасом пролетают мимо возка чуть-чуть, очаровательно подслеповатой Натальи Николаевны. Та не видит их, летящих к Чёрной речке. Время рвануло вперёд — и 14 декабря 1825 года Московский полк выходит из казарм, направляясь в вечность, и Александр Бестужев-Марлинский, будущий автор знаменитой повести «Страшное гадание» и первый в литературе открыватель красот Кавказа, едва успев поцеловать любовницу и схватить шпагу, выскакивает вон и шагает впереди полка. Но коварное время вдруг замирает, растерянный князь Сергей Петрович Трубецкой никак не может покинуть квартиру на «канаве», а Московский полк стоит под залпами пушек, замерев под команду Бестужева-Марлинского: «Не стрелять!»; время скакнуло вперёд — и император Александр Освободитель лежит на набережной канала с раздробленными ногами, а для его растерявшегося конвоя время остановилось, замерло. Перевяжите ноги, наложите жгуты, летите во дворец! Императора ещё можно спасти! Но время неумолимо замедляется. Десятое покушение, предсказанное гадалкой, заглянувшей «за время», должно быть последним. Ещё примеры? Петрашевцы — время рванулось, и — аресты, скорый суд, замедление — возки с приговорёнными к расстрелу движутся по Гороховой (мимо казарм Московского полка!), помните в «Идиоте», князь Мышкин предлагает Аделаиде Епанчиной нарисовать лицо человека в последние мгновения перед смертью: — *Нарисуйте так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень; преступник ступил на неё: голова, лицо, бледное, как бумага, священник протягивает крест, лицо священника, палача, его двух служителей и несколько голов и глаз снизу. Может, Смерть — это последнее? И последняя ступень — это именно последняя ступень. И за ничего нет?..* И полная остановка времени перед очередным скачком: зачитывается Указ императора, — казнь, смерть отменена, и петрашевцы отправляются на каторгу, в Сибирь, где замерзает даже Время.

Дальнейшие прыжки, ужимки и выкрутасы этой таинственной субстанции (энергии?), повелевающей человечеством по своей прихоти, не стоит даже перечислять. Это невозможно.

Но... Но моя тётюшка оказалась женой компаньона самого Ханжонкова и была знакома с гением кинематографа! Тот предлагал ей сниматься и стать второй Верой Холодной! И к тому же у неё был роман с чемпионом мира по шахматам Алехиным!

Что же нам-то делать со Временем, этой вселенской гармонью, хаотично (как нам кажется!) то сдвигающей, то растягивающей чудовищные меха?

— Только никогда не называйте его Алёхин, — вдруг заметила Густа, — он именовал себя только Алехиным, через «е», мог даже не подать руки человеку, который называл его — Алёхин.

— Что ты рассказываешь? — снова подняла голову от тетрадки Лина.

— Я говорю, что Алехин был молодым человеком с большими странностями.

— Он был гений, — сказала Лина, погружаясь в «домашнюю арифметику», — а гении имеют право на странности. Они состоят из странностей и только прикидываются нормальными людьми.

Трамвай подержал перед нами открытые двери, приглашая в тёплое нутро, и, поняв, что мы не собираемся ехать, прошипел что-то, двери захлопнулись. На Чистопрудном своя жизнь. Неторопливо прохаживаются местные дворники в оранжевых костюмах, лениво поднимаются со скамеек бомжи, собирая и inspectируя своё сложное хозяйство, вороны деловито исследуют урны, выбрасывая на песок разноцветные упаковки вчерашнего пиршества, скандалят между собою: судя по резкому карканью, речь идёт о нарушении каких-то правил. На нас ни вороны, ни бомжи не обращают никакого внимания. Это их территория. Законная и отвоёванная. С воронами дворники устали бороться, а бомжи давно и прочно обосновались: местная полиция обходит их стороной. А что с ними делать? Тащить в отдел полиции, чтобы разводили там грязь и вонь?

На лавочке, потягиваясь спросонок, устроилась опухшая и помятая троица. Задача: вспомнить, что было вчера и как раздобыть опохмел сегодня?

— Значит, они вас не приняли? — проговорил пожилой бомж, обращаясь к такому же ветерану бомжатного бомонда.

Мы не расслышали ответа, потому что третий (ох уж эта вечная троица России!) громко, с каким-то особым присвистом зевнул, долго не закрывая беззубый рот, и, видимо, ответил бомжу-ветерану: «Оо-хо-хо, в Москве-то жить, это на копейку ума иметь не надо!» — и вдруг захохотал, указывая пальцем в сторону едва оживающего весеннего газона. Там маленькая рыжая собачонка наскочила на совсем малюсенькую, а хозяйки с ненакрашенными лицами и не убранными толком волосами хлопотали вокруг них, не зная, как победить этот весенний любовный позыв.

Утро поплыло над Москвой, разбуженное вороньими скандалами, резким скрежетом трамвая на развороте возле метро и гульканьем голубей, собравшихся на солнышке возле памятника Грибоедову. Утро накатывало из дальнего Замоскворечья, из-за невидимых шпилей высотки на Котельнической набережной, тусклого золота головок церкви Петра и Павла, что у Яузских ворот, зажигая золотой вазон и крест Меншиковой башни, рождая лёгкое дрожание выставшего за ночь «бульварного духа», пробуждая итальянское «сфумато» над Чистыми,

постепенно разваливающееся, гортанными перебивками дворников, лёгкими звонами и привычными шумами просыпающегося большого города.

Мы прошли мимо памятника Грибоедову с голубем на склонённой в вечном раздумье голове. Говорят, на Мясницкой, 42 Грибоедов чуть ли не год прожил в доме Степана Никитича Бегичева, своего давнего сослуживца по адъютанству у генерала А.С.Кологривого. И даже, якобы, именно там и была написана бессмертная комедия. Что не соответствует действительности. Поэма, и верно, писалась в доме Бегичева, но в его тульской усадьбе в селе Дмитровское. А вот знаменитый Грибоедовский вальс... впрочем, поэт и драматург был блестящим пианистом и, конечно же, вальс этот звучал на Мясницкой, 42 не раз. Памятник этот поставили к 130-летию ужасной гибели Грибоедова. Прежде, согласно ленинскому плану монументальной пропаганды, начало Чистопрудного бульвара было украшено памятником отцу российской анархии Михаилу Бакунину. Но то ли анархия пришлась москвичам не по душе, то ли кубофутуристические глыбы бетона, исполненные по проекту начинающего кубофутуриста Б.Д.Королёва, но памятник (вместе с памятью о М.Бакунине) не простоял и нескольких дней. Снесли...

Сзади раздалось резкое скрежетанье и старый, забытый «блям-блям» трамвая, производимый одетой в туфельку ножкой вагоновожатой. Жена обернулась.

— Смотри, старую «Аннушку» пустили!

По площади, огибая современное метро, спешили к «Аннушке» люди в чёрно-серых пальто и кепках блином, с деревянными чемоданами в руках и сидорами за плечами. Они не ждали чинно, пока распахнутся трамвайные двери, а кидались, толкаясь и крича по-галочьи, старались зацепиться на подножках, на которых уже висели гроздьями счастливицы. «Граждане, — слышалось оттуда, через звоны, гомон и смех, — моторный вагон! Моторный вагон!» Видимо, в «моторном» вагоне следовало вести себя как-то по-иному.

Старый бульвар не хотел отпускать нас. В спину громко захохотал, вспугнув стаю голубей, задумчивый Грибоедов, а сбоку с Мясницкой у бывшего Микояновского магазина и Макдональдса, выехала под красный свет светофора старинная коляска с тусклым слюдяным оконцем и графским вензелем на двери. Она дребезжала на новеньком асфальте, словно ехала по древней булыге. И оставила запах сладковатого конского пота.

По Уланскому, продуваемому Лукойловскими ветрами перемен, к нашему домашнему храму Николы Дербенского, святителя Николая, что в Дербенях. Храм, как старый кокет, упрятал перевитый морщинами подбородок во вскипевшие белым и розовым кусты жасмина и вишенника, и даже древняя богадельня, выстроенная когда-то стараниями купца Даева, украсилась громадной дикой грушей, — сплошь в цветах. Кажется, даже листьев нет на красавице, всё празднично ожило под мягким домашним солнцем. Перед шлабмаумом при въезде во двор стояла санитарная машина с распахнутой дверцей.

— Да, это я, Валера с труповозки, — кричал в телефон водитель, не вылезая из машины. — Звони куда хочешь, тут шлагбаум, мне не проехать! А? — он послушал трубку. — Звони! — крикнул он снова, держа трубку перед собой. — Стану я из-за одного жмурика по переулкам вертеться! — и грохнул дверцей, как бы подтверждая свои слова.

В ответ за открытым окном второго этажа в голос заплакал-зарыдал ребёнок и по-голубиному загулькала мать, держа младенца у груди и задёргивая штору.

Возле водопроводного крана всё ещё сидел бомж, перебивая и расставляя бутылки и банки в каком-то, ему одному известном, порядке. Они сверкали на солнце. Бомж оглянулся, у него оказалось молодое лицо, заросшее густой чёрной бородой, и чёрный кафтан с серебряными газырями на груди. Бомж улыбнулся, по-кавказски оскалившись. «Похож на молодого Сталина, — мелькнуло в голове, — что за чертовщина?» Показалось, что Сталин провёл рукой по сверкающему ряду бутылок и банок, и они запели, как поёт драгоценный хрусталь: «Я могилу милой искал... сердцу без любви нелегко...»

Где-то наверху в соседнем доме со звоном открыли окно, и солнечный зайчик-блик перечеркнул замерший было двор. «А ты знаешь, что “сулико” — это вовсе не имя девушки? Сулико — это душа... душа... душа...»

Владимир Сухоребрый

Сонет. Шекспир. Венок

Рассказ с грузинским акцентом

Ивана Горностаю не любили в полиции. Он был хорошим оперативником, что признавалось всеми, но слыл зазнайкой, и как только образовалась возможность, его быстро спровадили на «заслуженный отдых». И даже на ценные подарки потратились ради такого праздника.

Если честно, Иван действительно был зазнайкой. К тому же страдал неизлечимой формой высокомерия. Об этих свойствах собственного характера майор полиции знал.

Другое дело, что он, становясь нередко жертвой особенностей своего поведения, даже не пробовал «над собой поработать». Зачем? Всё равно не получится, кошка не может прикинуться мышью. Так он считал, во всяком случае.

Отставной майор Горностаю, кукуя без работы несколько месяцев, вспомнил отставного коллегу майора Дуганова. Его из полиции попросили несколько раньше, и он, осознав, что никому не нужен, создал своё собственное сыскное агентство. То есть — «Экспресс».

На уходе Дуганова «по собственному желанию» настояло руководство, угрожая увольнением по статье. Майор не стал качать права, потому как был виноват на самом деле: спровоцировал самосуд. Нет, не специально, так получилось, он этого не хотел, хотя и догадывался — к тому идёт.

Сын одного большого чиновника федерального уровня, оттянувшись со свистом в модном ночном «шалаше», покидая под утро место отдыха, повздорил на выходе с «другим чуваком» и шмальнул в него из травматического пистолета. Тот умер на месте, звали его Сергеем Плешко.

Дуганов, расследуя дело, пришёл со своими помощниками к единственно возможному заключению: в использовании оружия необходимости не было.

Сухоребрый Владимир Гаврилович — прозаик, сценарист. Родился в Кишинёве в 1946 году. Окончил сценарный факультет ВГИКа, Высшие курсы сценаристов и режиссёров. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

И ссору, как следовало из показаний свидетелей и видеонаблюдения, затеял так же чиновничий отпрыск.

Такое резюме никого не устроило, и дело передали в другие руки. Отец погибшего, Артемий Фёдорович Плешко, узнав об этом, добился встречи с Дугановым, чтобы задать ему пару вопросов относительно его отстранения от дела.

— У меня нет права отвечать на такие вопросы, — сказал Дуганов.

— Тайна следствия?

— Тайна.

— Знаю. Сам следак.

— Правда?

— Работал в прокуратуре. Был важняком.

Плешко показал документ.

— Тогда вы меня поймёте, мы коллеги. — Дуганов встал, подошёл к окну, сунул руки в карманы.

— Я вас понимаю. — Плешко закурил. — Вот если бы кто-нибудь понял ещё и меня...

Он поднялся со стула, попросил прощения за беспокойство и направился потихоньку к двери. Он попыхивал сигаретой, походка была нетвёрдой, ноги заплетались. Что было тому причиной? Отчаяние, возраст, болезнь?..

Дуганова вдруг кольнуло: если он не ответит на вопросы отставного полковника, пожилого человека, убитого горем, ему потом жить придётся с паскудным чувством стыда, способным сожрать не только душу.

А что если он, пренебрегая уставом, поступит по совести и будет чувствовать себя человеком? Немалое достижение — почувствовать себя человеком, но неизвестно, чем это кончится. Вот что плохо. Известно только, чем вымощена дорога в ад.

Правда, такому грешнику, каким он, безусловно, является, всё равно преисподней не избежать. Среди праведников ему не место. Индальгенцию, отпускающую грехи от имени Папы Римского, в Москве не купишь. Надо лететь в Ватикан. Там по слухам за бабло вам могут продать что угодно, хоть самого Папу Римского. Плевать им на *реформацию*.

«А мне плевать на устав, — уговаривал он себя. — Пусть будет так, как будет. “Семь бед — один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет...” — поётся в песне».

Дуганов остановил коллегу-пенсионера и сказал, что готов ответить на любые его вопросы.

— Боюсь, майор, вы потом пожалеете, — сказал Плешко.

— Я тоже боюсь.

— Тогда, может быть...

— Я слушаю вас, Артемий Фёдорович, — перебил Дуганов.

— Почему вас отстранили от следствия? — спросил Плешко.

— Мои выводы поставили под сомнения.

— Что в них не так?

И Дуганов честно всё рассказал:

— Следствие показало, Сергея убили на пороге ночного клуба вовсе не в целях самозащиты. От него не исходило угрозы. Наоборот, его зацепили, он огрызнулся, и тут же в него пальнули. Сергей был один, вернее, с девушкой. А тот, что стрелял, был в окружении целой коды ублюдков. Они истошно орали на всю округу, подначивая его: «Не посрами мундира, Андрюха! Натяни ему глаз на жопу!»

— Значит, следствие должно свалить вину на убитого, — сделал вывод полковник.

— Если получится, — сказал Дуганов.

— У них получится.

Плешко оказался прав: у *них* получилось. Убийца из зала суда торжественно вышел на волю. Радостно улыбаясь, он приветствовал друзей, встречавших его на пороге суда. В это время к нему подошёл вплотную важняк в отставке и выстрелил в голову из именного макарова.

Именно этого опасался Дуганов, но ничуть не расстроился. Месть для него была делом праведным, чтоб не сказать святым. Когда он, пользуясь служебным положением, навестил Артемия Фёдоровича в следственном изоляторе, они в разговоре этот эпизод обошли молчанием. Поболтали о том о сём, точно были сто лет знакомы, и даже обнялись на прощание.

«Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал», — вслед Дуганову произнёс Плешко. До суда он не дожил, умер, если верить официальному заключению, от сердечного приступа в тюремной больничке.

Артемий Фёдорович сидел в камере с вором из Грузии Вильямом Габуния по кличке Шекспир. Дуганов встретился с ним и задал вопрос: не просил ли Плешко передать что-нибудь на словах? И был ли на самом деле сердечный приступ?

— Хочешь, анекдот расскажу? — предложил Шекспир. — Едет в маршрутке грузин. А сзади дамочка. Один мужик просит её передать за проезд. «Не могу, — говорит она, — руки заняты. Вот грузин передаст». «Грузин передаст? — возмутился грузин. — Сама передаст. И он передаст. И вся маршрутка здесь передасты».

Шекспир смеялся как ненормальный, потом вытер слёзы и впился в Дуганова маленькими злыми глазками.

— Что ты хотел? — спросил он майора.

— Я задал вопрос.

— Я на вопрос ответил.

— Понял.

— Нет, ты не понял, — сказал Шекспир. — Вижу по глазам, что не понял. Придётся рассказать другой анекдот. Хачик спрашивает отца: «Папа, почему солнце светит и греет? А луна только светит?» Отец объясняет: «А почему, например, Хачик, мы руки моем, а ноги нет?»

На этот раз любитель анекдотов не стал смеяться, а только спросил визитёра:

— Смешно?

В свою очередь задал вопрос Дуганов:

— Нельзя ли без аллегорий?

— Знаешь, я не учился в Кембридже. И таких словов никогда не слышал, my dear friend.

— Передаст, одним словом.

— Свободен, — сказал Шекспир.

— Язык прикуси.

— Чего?

— Заткнись!

Внутри Шекспира всё клокотало, глаза превратились в свёрла.

— Значит, сдох этот дед? — спросил Габуния, не скрывая своего презрения к Дуганову.

— Умер, — поправил его майор.

— И ты, мусорок, подохнешь.

— Испытываешь моё терпение?

— Все вы сдохнете, а я буду жить.

Дуганов с разворота врезал Шекспиру по голове ногой. Тот, сидя на шконке, ударился затылком о стену, да так, что она загудела. Майор, взбешённый словами вора, бросился избивать его кулаками, предварительно двинув ещё и коленом в лоб.

Шекспир орал, взывая о помощи. Когда прибежал вертухай и оттащил рассвирепевшего майора поближе к двери, вор потребовал медицинской помощи.

— Какие нежные убийцы пошли! — От возмущения лицо вертухая побагровело. — Зелёнка, понимаешь, ему нужна! А медицинское освидетельствование не хочешь?

— Хочу, — не стал скрывать своего намерения Шекспир, чем окончательно вывел из себя вертухая, тоже долбанувшего заключённого тяжёлым ботинком в висок. И снова стена отозвалась гулом, а голова Вильяма Габунии безжизненно повисла, точно подрубленная.

— Что с ним? — спросил майор.

— Не знаю.

— Убил?

— Какая разница, — произнёс вертухай устало.

— То есть?

— То есть по барабану.

— С тебя ведь спросят.

— Плевать.

— Придумай что-нибудь.

— Уже придумал.

— Поделись.

— Скажу, что он на вас налетел. А я пришёл вам на помощь и силы не рассчитал. Согласны?

— Согласен, — сказал майор и нащупал у Габунии пульс. — А он ведь живой.

— Жаль, — посетовал вертухай.

Тюремщик ещё раз душу отвёл, двинув Шекспира ногой по рёбрам, и они покинули камеру.

— Ты ему доктора всё же вызови.

— Вызову. Пусть помажет его зелёной.

Вертухай вёл майора к выходу. По дороге Дуганов сказал, что надо бы где-то бабки достать — похоронить Плешко. У вдовы, потерявшей сына и мужа, за душой ни копейки. Прокуратура помочь не хочет, дескать, бывший важняк опорочил ведомство. Боятся, что им за такое участие могут надрать не только уши.

— Ничего, наскребём по сусекам денежку и похороним ветерана по-человечески. Ещё и салют устроим, — то ли себя, то ли вертухая приободрил Дуганов.

Тюремщик не мог понять, почему майору надо скрести по сусекам или обращаться в прокуратуру за помощью. Зачем унижаться, когда деньги можно найти без проблем в СИЗО — здесь столько крутых сидельцев!

— И кто этот меценат, что готов поделиться награбленным?

— Меценатов здесь нет, здесь могут найтись покупатели.

— Что их интересует? Наркотики, водка, сёмга, икра, сигареты?..

— Во-первых, у них это есть. Во-вторых, на этом много не зашибёшь.

А похороны стоят немало. Гроб, оркестр, место на кладбище, попик... В общем, денег до чёрта надо.

— Чем торговать предлагаешь?

— Свободой, товарищ майор, — сказал вертухай. — Чем не товар — свобода? Лучшего товара нам не придумать.

— Свобода через побег? Я правильно понимаю?

— Правильно.

— Но это серьёзное преступление. Очень серьёзное.

— А если суд оправдывает убийцу, потому что его папаша сидит в правительстве, это не преступление?

Майор промолчал.

— Вдова не может мужа похоронить, потому что пенсия у неё смешная. Это не преступление?

— Ты у нас правозащитник?

— Нет. Я у нас вертухай, с вашего разрешения.

— И кому мы можем втюхать свободу? Эту высшую либеральную ценность?

— Не знаю. Может, тому же Шекспиру.

Вильям Габуня значительную часть своей разбойничьей жизни провёл за решёткой. Ещё подростком он отсидел в колонии за злостное хулиганство. Отсидел, как значится у блатных, от звонка до звонка, ибо никоим образом не желал вставать на путь исправления, и вопрос о его досрочном освобождении рассматриваться не мог.

Спустя какое-то время Шекспир за разбойное нападение удостоил своим присутствием колонию общего режима, откуда бежал, получив таким образом

«пропуск» в колонию усиленного режима. За убийство, совершённое в колонии усиленного режима, он стал узником колонии строгого режима.

Постепенно статьи и сроки становились серьёзнее, режимы строже, а сам он был признан особо опасным рецидивистом. Воровское сообщество не оставило деяния Вильяма Габунии без внимания и присвоило ему высокое звание вора в законе. Избранная Шекспиром стезя, с точки зрения воровского схода, имела поступательное движение и считалась успешной.

Последней точкой первого акта преступной жизни новоиспечённого вора в законе стало жестокое убийство двух конвоиров, то бишь вертухаев, и дерзкий побег в родную Джорджию, прежде ласково называемую солнечной Грузией.

Там, считалось, живёт гостеприимный хлебосольный народ, женщины ходят с кувшином на голове, мужчины поют красивые песни, танцуют зажигательную лезгинку, а русские женщины подпевают им «Сулико» и отдают в яблоневых садах, источающих дивный запах плодов шафрана.

Вино, разумеется, льётся рекой, столы ломятся от снеди: ягнята, шашлык, сациви, хинкали, печёные и свежие овощи, горы зелени. А главное, тосты — ни с чем не сопоставимый в подобострастии жанр.

Габуния этого не любил, понимая, что спектакль разыгрывается с целью обретения какой-нибудь выгоды. Обычно денег, полученных за щедрый приём москвичей-халявщиков, имеющих доступ к распределению государственных средств.

Деньги, по глубокому убеждению вора, следовало отнять, украсть или выиграть в карты, а не прыгать как жучка, на задних лапках, убаюкая рассупонившихся гостей в надежде получить кусок пожирнее. Шекспир был противником лицемерия и удивлялся русским, верившим в радушие и гостеприимство грузин.

«Мозгов не хватает русским, — объяснял он московским партнёрам. — Грузин, если ты не нужен ему, не только не угостит стаканом вина, он тебе и воды не нальёт из крана. Что, может быть, и правильно, но не люблю, когда притворяются. С души воротит от этого ханжества».

Вернувшись в родные пенаты, он почувствовал оздоровление обстановки. Разумеется, с его точки зрения. Русских, что разбрасывались бюджетными деньгами, к тому времени след простыл. Янки, сколько перед ними ни лебези, не отвесят тебе и цента. Разве что по спине похлопают. Дружески. Такой вот заокеанский менталитет у них.

Но политическую верхушку Белый дом активно прикармливал, дабы лаяли на соседа, как псы цепные. Всем остальным — равновеликие возможности для частного процветания. Бери ружьё и постарайся узнать, куда затырился твой фазан. Так новые хозяева покончили с привычным иждивенчеством грузинских вассалов.

На ниве новых возможностей больше других преуспел криминалитет, в том числе друзья и знакомые Вильяма Габунии, так что тюрьма ему теперь не грозила. Да здравствует независимость!

С бизнесом вор определился быстро, открыв компанию по содействию рейдерам и выколачиванию долгов из неудачливых кредиторов. Его банда

работала с настоящим душевным подъёмом, не гнушаясь изуверскими средствами, отчего ширилась их территория, стремительно охватывая ближнее зарубежье.

Образовавшиеся излишки Шекспир инвестировал в перспективные проекты разных стран, включая Россию. Необходимость участия во всевозможных аукционах, ярмарках, конкурсах вынуждала его бывать в Москве и в некоторых городах так называемой российской глубинки.

Отстранившись от личного участия в бандитских проектах и вращаясь среди деловых элит, убийца и вор в законе обрёл респектабельность, чему отчасти способствовала эффектная кавказская внешность и вкус к одежде. Он мало походил на бывшего зэка, что вместе с новой фамилией в паспорте, казалось, гарантировало ему безопасность.

И всё-таки кто-то его узнал, возможно, увидев по телику в тусовке политиков, спортсменов, бизнесменов и шлюх с бейджиками различных медиа. Этот *кто-то*, согласно слухам, благоразумно не стал светиться, позвонив *куда надо* и сообщив *что положено*. Так удалось сдать Шекспира и сохранить инкогнито.

За воров, напомним, в России числился приговор, отягчённый побегом с двойным убийством. Если вкатают «вышку», явно маячившую на горизонте, и поместят в соответствующее учреждение, то оттуда дорога лишь на погост. И без вариантов: ногами вперёд, и только вперёд. Чем не основание для очередного побега?

К предложению, исходившему от вертухая, Габуния отнёсся весьма недоверчиво, но других вариантов вроде не намечалось, и он подумал: стоит рискнуть. Чем чёрт не шутит, в конце концов! А вертухая предупредил, что тот рискует собственной шкурой. Если с ним, Шекспиром, получится неувязочка, то его замочат.

Вертухай сказал:

— Меня можно убить, но нельзя напугать.

— Я просто предупредил.

— Я тоже предупредил.

— Клиент всегда прав, — напомнил вор.

— Ты не клиент, ты зэк. Если я захочу, тебя опустят. Я на доступном языке изъясняюсь?

— Никто не рискнёт. Я вор в законе.

— Отморозков хватает, — произнёс вертухай с заметным сочувствием.

— Хочешь воспользоваться моим положением?

— Да, Вильям Шавлович. Хочу.

— Это правильное решение, — оценил Шекспир. — Скажи, почему ты деньги вчера не взял у моих людей?

— Потому что принесли половину.

— Правильно. Половину вперёд и потом — половину.

— Так не пойдёт.

— Почему?

— Потому.

— Боишься, кинут?

- Нет, не боюсь.
- Почему?
- Потому что не кинут.

Габуния позвонил кому-то, и минут через сорок деньги были у вертухая. Этих денег хватило, чтобы подкупить всех нужных людей, и буквально на третий день к вечеру зэк сидел на террасе собственного дома в Кобулет и любовался вызревшими плодами хурмы в своём саду. Неподалёку — на морском берегу — лениво шлёпали волны. Пришёл сосед Константин Сардаладзе с глиняным кувшином вина собственного приготовления, и они опрокинули по стаканчику.

Шекспир был в восторге:

- Такого вина, как у вас, батоно, нигде не выпьешь.
- Спасибо.
- Секрет, наверно, какой-нибудь знаете?
- Секрет какой-нибудь знают все.
- Что тогда главное?
- Главное — это рука, дорогой Вильям.
- Согласен, рука — это главное.
- Например, секреты рисования знают многие, а Микеланджело у нас

один.

- Буонарроти?
- Буонарроти.
- А ваши творческие дела, батоно, как продвигаются?
- Нет никаких заказов, кроме надгробий, — посетовал Сардаладзе.
- В этом тоже можно себя проявить.
- Стараюсь.
- Так потихоньку наберётся выставка.
- Где? На кладбище?
- Почему бы и нет?
- Публика будет в шоке.
- А что ещё надо? Публика этого только и хочет. Она иначе не

возбуждается. Ей нужна анимация.

- Я же не аниматор в турецком отеле, уважаемый Вильям. Я — художник.
- Конечно, художник, — сказал Габуния. — Но тренды меняются, и мы

должны их отслеживать.

Они пили вино, закусывали лепёшками, играли в шахматы и вели неспешно беседу.

- Приведу вам пример, батоно. Мне вертухай помог бежать из СИЗО.
- Издержки демократии, — сказал Сардаладзе.
- Я тоже поиздержался с этим побегом.
- Само собой.
- Мир на глазах меняется. И тренды меняются. Вертухай сдержал слово.

Как это понимать?

- Потомки оценят. Для нас это слишком сложно.

— Любое правительство теперь гнилое. Что в Америке, что в России, что у нас здесь, в Грузии. Все норовят прихватить, что плохо лежит. А вертухай — честнейший, оказалось, мужик...

Зазвонил телефон, и Шекспиру сообщили, что вертухая грохнули. Кто заказал? Кто-то из тех, наверно, кого он подкупил. Да, боялись, что он расколется. Копают, значит? Копают. Теперь майору придётся хоронить и вертухая? Да, он купил ему место на кладбище.

А этого майора они не завалят? Уже пытались, киллер полдня майора выцеливал. И чем всё кончилось? Кончилось тем, что майор пришел киллера, когда тот в него целился. Не подкопаешься! Да, молодец майор, хоть и сволочь редкая, а молодец...

Закончив разговор со своим помощником, Шекспир посмотрел на шахматную доску, сходил конём и объявил шах. Два хода отделяли Сардаладзе от поражения, и он, не обнаружив возможности для эффективной защиты, поздравил Вильяма с победой и наполнил стаканы вином.

— Помните, батона, старенький анекдот про ковбоя?

— Какой именно?

— Про того ковбоя, что много знал. Например, сколько получится, если два умножить на два. За что его и прикончили.

Шекспир смеялся до колик, потом разъяснил:

— Ковбой был носителем информации, как наш вертухай.

— Философский анекдот, — сказал Сардаладзе, обдумав его метафорический смысл. — Не знаете, у вертухая образование было?

— Думаю, да. На хорошую работу в наше время без оксфорда не устроишься...

Выпили, хотели сыграть ещё одну партию в шахматы, но тут их пригласили ужинать. Стол был накрыт в помещении, к ночи на улице холодало. Матч-реванш решили сыграть потом, в гостинной. Там есть шахматный столик, удобные кресла, камин...

В день похорон вертухая, ожидая сюрпризов, Дуганов и Горностай взяли с собой пистолеты. Запасные магазины с патронами рассовали по карманам пальто. Расположились сыщики на переднем сиденье BMW: Горностай — за рулём, Дуганов — рядом. Охрана из трёх человек, вооружённая автоматами, устроилась сзади.

Бээмвэшник шёл следом за катафалком, за ними катил внедорожник с бандитами. Разумеется, тоже вооружёнными. Движение это транслировалось, и Вильям Габуния наблюдал за ним на своём айфоне. Наблюдал, попивая чай на террасе собственного дома в Кобулети. Был тёплый осенний день, ласково пригревало мандариновое солнце Аджарии. Тогда как Москву накрыл затяжной морозящий дождь.

На кладбище, куда въехали все три автомобиля, под специально возведённым тентом вертухая отпели. В последний путь его провожала бабушка, которой он помогал при жизни. Ни слёз, ни рыданий не было. Она попросила у внука

прощения. «Не знаю, куда мои слёзы делись, — сказала бабушка. — Так что ты меня извини. Ты был хорошим мальчиком, Женя...»

Никаких других родственников на похоронах больше не было. Бабушку сопровождали соседки: две довольно ещё молодые женщины. Ну, относительно молодые, так будет правильнее сказать. Всё это время, пока длилось прощание, охрана с автоматами наперевес не спускала с бандитской машины глаз.

Майор Дуганов и майор Горностай держали в руках пистолеты так, чтобы бандиты могли их видеть. Габуня тоже видел готовых к бою майоров и автоматчиков. Видел батюшку, отпевавшего усопшего Женю, а теперь с отрешённым видом наблюдавшего за работой ритуального агента и его помощников в чёрных полупальто. Ближе к концу церемонии, когда над могилой вырос холм, появился крест, возложены были цветы, вор, наконец, велел начинать.

Открылась дверь внедорожника, и автоматчики вместе с сыщиками передёрнули затворы своих огнестрелов. Всем остальным Дуганов приказал сесть в катафалк и отъехать подальше. «Быстро, быстро! — командовал шеф сыскального бюро, срываясь на крик с матюгами. — Что за возня? Давайте мигом! Я что говорю? Оглохли! Жить надоело?..»

Отгнав катафалк с людьми, Дуганов заорал на охрану: «Эй! Что вы сгрудились в кучу? Растянитесь по линии! Вань, а ты за этим деревом встань», — сказал Горностаю шеф, отходя к бээмвэшнику. Часы в машине — ему теперь хорошо было видно — одну за другой отсчитывали минуты. Оставалось гадать, почему в открытой двери внедорожника так никто и не появился. Возможно, бандиты не могли определиться с консенсусом.

Пакостный мелкий дождь разогнался в ливень, и дверь вообще закрылась. Можно было подумать, что бандиты решили ретироваться, однако — фиг. Полутонный японский кар оставался стоять на месте. И как это понимать? Вопросительный взгляд Дуганова остановился на Горностае.

— Шекспир не простил тебя, — сказал Горностай.

— Да я не просил прощения.

Дождевая вода стекала по лицам сыщиков, мешая им разговаривать. Они, отдуваясь, морщились, вытирались ладонями.

— Что им надо? — спросил Дуганов.

— Им надо тебя.

— Не думаю.

— Почему?

— Чтобы со мной покончить, нужен всего лишь снайпер. Тихо и без свидетелей. Желательно ствол с глушителем. А не банда сообщников.

— Необязательно, — возразил Горностай. — Можно из пушки, ты ведь не воробей. Существуют гранаты и миномёты. Да мало ли что ещё. Можно использовать дрон. Так оно будет надёжнее. Без шансов на выживание.

Дождь колотил по бээмвэшнику, превратив его в барабан. Монотонная дробь, подкрашенная шелестом ливня, аккомпанировала диалогу сыщиков, как если бы это было в кино.

— Так и будем сидеть? — спросил из Кобулету Шекспир, расхаживая по террасе, наполненной солнечным светом. Конечно же, мандариновым.

Ему ответили:

— Дождь идёт.

— Вы там что — из сахара сделаны? Деньги за что берёте? Князь, ты чего молчишь? Ноги промочить боишься?

— Нет, не боюсь. Ты меня, Виля, знаешь. Я никогда ничего не боялся. Тем более в этом возрасте.

— Тогда в чём дело, Князь? Или ты бывший князь?

— Князь не бывает бывшим. Это как сенбернар. Если ты сенбернар, то сенбернар, если князь, то князь, — отвечавший персонаж, как и сам Шекспир, говорил с заметным грузинским акцентом.

Напористый ливень, похоже, ещё прибавил. Сыщики и охрана промокли до нитки. В катафалке люди сидели молча, не понимая, что происходит. К тому же они ничего не видели — вода заливала стёкла.

Дуганов спросил Горностая:

— Они нас что — измором берут?

— Возможно, — сказал Горноста́й. — Погода на их стороне.

— Давай-ка шмальнём разок.

— Давай.

И они, не особо метясь, стали палить по внедорожнику. Автоматчики их поддержали, стреляя, правда, не в броневи́к японский, а для начала в воздух. Пошумели на славу, в общем. Пошумели всласть. Вроде бы даже запахло порохом, не смотря на обвальнóй дождь.

В катафалке батюшка, припадая лбом к стеклу и вытирая его рукавами рясы, тщетно пытался хоть что-нибудь разглядеть.

— Слушай, поп толоконный лоб, — сказал ритуальный агент, — не прободаете́ш стекло? А то ведь не на чем будет возить покойников. А их у нас может сильно прибавиться. Разве не слышишь? — И, хихикнув, добавил: — Шутка.

— Весьма неуместная, — сказала бабушка вертухая Жени.

— Вас не спросили, — огрызнулся ритуальный агент.

— Полегче, чувак, — посоветовал батшка. — А то, не ровён час, в лоб закатаю.

— Коллеги, будьте благоразумны! — призвал один из помощников ритуального агента в чёрном полупальто. — Как дети, право.

Второй помощник сказал, что лучше не ссориться, а подумать, как без потерь им выйти из передраги. Третий согласился и со вторым, и с первым.

— Разумно, очень даже разумно, — сказал он.

Четвёртый ничего не сказал, потому что спал. И даже когда чудовищный гром обрушился рядом, можно сказать, на голову им обрушился, и все в катафалке рефлекторно съёжились, он не проснулся и не моргнул.

Обычно гроза предвещает дождь, а тут она как бы из ливня выплыла. Рассказать кому-нибудь, не поверят. Выплыла и, осветив всё вокруг ёлочной канителью молний, загремела громами, очищая небо. И вышло солнце. Это было

так неожиданно, что сыщики и охрана задрали головы, будто никогда не видели прежде светила небесного. Оставалось воскликнуть: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй», — но шеф сысского бюро ограничился словом «блин».

Из бандитского внедорожника, с трудом и большой осторожностью, опасаясь, видимо, сковырнуться, выбрался сухонький человек престарелого возраста. Ему передали большую коробку, снабжённую ручкой. Поставив её на землю, он поправил красиво завязанный чёрный галстук, пригладил ладонями серые волосы и застегнул верхнюю пуговицу слегка приталенного чёрного блейзера.

— Что за явление, мать его? — спросил Горностай. — Не по твою ли душу?

— Не знаю, — сказал Дуганов. — Никто не докладывал.

— Разведка, значит, мышей не ловит.

— Шутишь! Разведка у нас откуда? Разве что от верблюда.

Пуговицы на двубортном блейзере были металлическими, отдавая немного в золото, а нагрудный карман украшала витиеватая монограмма. Узковатые голубые джинсы спадали на кроссовки белого цвета, которые он тщательно вытер носовым платком.

Последнее действие далось старику непросто, но он его всё же выполнил, после чего ему передали широкую грузинскую кепку и трость. Надев головной убор, он трижды поправил его, словно гляделся при этом в зеркало, взял коробку и начал путь.

— Стиляга! — сказал Дуганов.

Старик нетвёрдой походкой, крошечными шажками, опираясь на трость, медленно двигался в сторону охраны и сыщиков, наставивших на него стволы.

— Да в нём душа еле-еле теплится, — сказал Горностай.

— Думаешь, камикадзе?

— Ты же видишь, он — не жилец. Терять доходяге нечего. Подорвёт и себя, и нас. Деньги, разумеется, взял вперёд.

— Как-то всё очень просто, Ваня.

— Зато логично.

— Не знаю, — усомнился Дуганов.

— А вырядился чего?

— Возможно, шмоточник, любит красиво одеться.

— Красиво одеться, собираясь в последний путь?

Горностай нисколько не сомневался, что разодетый в пух и прах старикан напшигован тротилом или какой-то другой взрывчаткой. Словом, камикадзе. Вроде как намалёванный лукавой кистью мультипликатора, он неуклонно к ним приближался. На полпути дед остановился передохнуть, вытер ещё раз кроссовки платком и ещё раз поправил кепку, как если бы перед ним повесили зеркало.

— Слушай, да это Князь! — сказал Дуганов.

— То есть?

— То есть — Князь.

— Грузинский князь, у которого кличка Князь?

— Он самый.

— Если не ошибаюсь, родственник самого Арсена.

— По непроверенным слухам, — дал ремарку шеф.

— А то, что *вор*, проверенный слух?

— Вор-то вор, но, я думаю, не при делах.

Князь продолжал шкандыбать, упорно двигаясь к цели. Расстояние между ними хоть и медленно, но сокращалось.

— Не при делах, говоришь, но дело, вижу, ему нашлось. Работает беспилотником. Не пора ли перехватить?

Пора, согласился шеф, и Горноста́й пальнул в воздух из пистолета. Шекспир, глядя в смартфон у себя на веранде, не понял, что происходит. Ему объяснили: предупредительный выстрел.

— Всё точно по плану, — сказал Шекспир.

— Хорохорится Виля, — заметил один из бандитов, и ему посоветовали заткнуться.

Князь курил, наблюдая за Горноста́ем, который уже подходил к нему. С расстояния трёх метров сыщик велел Князю поднять руки и, подойдя вплотную, воткнул дуло пистолета ему в живот. Обыскивая вора, он дважды тщательно всё проверил, включая кепку.

— А где же пояс шахида? — спросил Горноста́й.

— Извини. Забыл впопыхах надеть.

— Остришь?

— А ты?

— Ну-ну. А что в коробке?

Князь выбросил сигарету, открыл коробку, достал из неё ритуальный венок, снабжённый траурной лентой. На ленте было всего два слова: с одной стороны — «сонет», с другой — «Шекспир».

— Венок, сонет и Шекспир. Значит, венок сонетов? — полюбопытствовал Горноста́й, где-то что-то об этом слышавший, но не имевший понятия, что к чему.

— Скорее, сонет венка, — сказал Князь. — Шекспир, конечно, сонеты писал. Выберет, бывало, минуту и накает сонет-другой. На коленке, как говорится. А вот на венок сонетов не хватило духу и времени. Денег у классика не было, чтобы всерьёз заниматься поэзией. Поэтому двадцать четыре на семь отдавался театру. То поставит комедию, то трагедию, только бы не скучала публика, только бы несли бабки в кассу.

— Откуда ты знаешь?

— Филолог я, — как бы каясь, признался Князь. — Окончил заочно, пока отдыхал на зоне. Делать нечего было. Кстати, венок ритуальный с поэзией не согласуется. Да и Шекспир у нас не из Лондона, из Кобулет...

— Хватит умничать! — перебил Горноста́й. — Заладил! Шекспир не тот, венок не этот! Сонет писал — не писал! Как раз интересно то, что Шекспир, который *тот*, через Шекспира, который *этот*, опосредованно передаёт респект и уважение вертухаю Жене.

— Это уже метафизика, — оценил одобрительно Князь.

— Не надо благодарить, дарю тебе тему для диссертации. Напишешь, когда вернёшься на зону. А теперь — вперёд.

Под пристальным наблюдением шефа сыскного бюро «Экспресс» и автоматчиков, ошестившихся стволами, сыщик и вор проследовали к могиле. Князь возложил венок, поправил ленту, снял дисковидную кепку, перекрестился, и тогда Шекспир скомандовал со своей веранды: «Траурный! Салют!» Бандиты, покинув внедорожник, пальнули из карабинов в воздух. Следуя их примеру, пальнули из пистолетов сыщики, а за ними и автоматчики. И как-то сразу церемония обрела торжественность, и все на миг или два застыли, как если бы вдруг поступила команда «смирно».

Бабушка погребённого внука, не в силах сдержать рыданий, уткнулась в плечо одной из своих соседок. Вторая, пытаясь утешить её, гладила по спине и плечу. Вокруг стояли люди из «Ритуала». Батюшка всех перекрестил. Не исключая бандитов и ритуального агента, которому обещал дать в лоб.

Евгений Дьяконов

...И счастье ещё будет

* * *

когда-то страшно было
и нам с тобой во тьме
эпоха говорила:
два пишем, три — в уме,

но слогом габаритным
(опять тебе и мне)
Россия говорит нам:
три пишем, два — в уме,

мне голос твой не слышен,
и отдан мир — зиме...
не знаю, что напишем —
Бог знает что в уме...

* * *

Ты — только слово, милый. Только слово.

Константин Комаров

Если бы электрика Петрова
Или там Незнайку на Луне,
Но ко мне опять приводят слово
И вручают для чего-то мне,

Поначалу я гордился словом,
Всем его показывал вокруг —
Чем-то очень радостным и новым
С лёгкостью оно ласкало слух,

Дьяконов Евгений Александрович — поэт. Родился в Ленинграде в 1989 году. Окончил СПб ГУКИ, работает экскурсоводом. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Урал», «Звезда», «Пироскаф» и др. Автор четырёх сборников стихов, среди них «Высмотришь», «Иснейя». Лауреат премии журнала «Дружба народов» (2022) и др. Живёт в Санкт-Петербурге.

И лелея буквы и звуки,
Любовался словом до утра,
И оно ко мне ложилось в руки,
И не отлипало ото рта.

Мелодично и о самом важном
Говорило слово дотемна,
Например, что нужно быть отважным
В тёмные, как нынче, времена,

Из столбцов изящных, стихотворных
Слово проповедовало свет,
И светилося средь словечек сорных,
Словно горя в этом мире нет.

Но теперь оно совсем иное,
Вот стоит без прежней мишуры —
Грязное, похмельное... родное,
Принявшее правила игры.

* * *

я бросил пить и пластилин купил,
пришёл домой, окно зашторил в спешке,
и вылепил себя — каким я был,
у разума живя на передержке,
там было всё: коричневая боль,
бордовый стыд и серая тревога,
зелёный, изумрудный алкоголь
с вкраплениями жёлтенького бога,
чернело одиночество в груди,
под кожей пластилинового зверя,
я закричать хотел ему «уйди!»,
в своё существование не веря,
я монстром стал, я стал рычать и выть
ужасным рёвом, возгласом пещерным,
себя мне захотелось раздавить
писанием тяжёлым и священным,
но вот стерпел, сижу, не пью, курю,
вылепливаю синие глазницы,
и сам с собой о чём-то говорю,
и пластилином пачкаю страницы.

* * *

у кабинета с надписью «рентген»
застыл, стоишь ты, словно манекен,
вот есть нога, в штанине и в ботинке,
ты можешь ей легко пошевелить,
кого-то пнуть, на что-то наступить,
но есть и та, которая — на снимке.

она была доселе не видна,
ну а теперь, просвеченный до дна,
любуйся на сросшиеся кости,
и, всматриваясь в этот негатив,
такой вдруг ощущаешь позитив,
что забываешь о недавней злости,

о зависти, о страхе, о стыде...
и кажется, что эти дни и те
срослись уже... и вместе с ними люди
из разных жизней, прошлых всех миров
срастаются и обретают кров,
и радость есть... и счастье ещё будет.

* * *

ты любила
цветы полевые,
одуванчики там
и ромашки,
мне по нраву
цветы — болевые —
невыносимые
обнимашки,
удушающие
приёмы,
разные захваты,
заломы,
на обе лопатки
броски —
от счастья и
от тоски.
задыхаюсь и
хочется сдаться,
стучу ладонью, плачу —
не отпускает,
аллергическая
акация,
мне кажется,
что-то
про нас с тобой
знает.

* * *

прекрасно помнится,
что в детстве я,
как ни крути,
терпеть не мог,
когда мы в
«правда или действие»
с тобой играли,
видит Бог,
не проболтался,
тайну главную
не выдал,
сохранил,
сберёг,
но до сих пор
по жизни плаваю
и выполняю,
видит Бог,
хотелки детские, дурацкие,
капризы страшные твои,
но правду
вечную,
гигантскую
храню,
что там ни говори...

Вадим Галкин

Добрые нелюди

Рассказ

— Как, говоришь, звать? — переспросил староста. — Николай? Больно мудрёно для наших... Николай будешь. Но ты не переживай, народ в селе приличный.

Впрочем, сам староста выглядел не особо прилично. Крепкий невысокий мужичок с растрёпанной бородой был явно подвыпившим. Либо страдал повышенным давлением, отчего его лицо покраснелось до безобразия. Перегар это, правда, не объясняло...

— И хвори обычно обходят стороной, — продолжал он. — Так что знахарской работы немного.

— Да я в общем-то не знахарь, — осторожно отозвался Никола, чтобы и старосту не обидеть, и себя в обиду не дать. — Лекарь, с образованием.

— Ну, пусть лекарь, — пожал плечами староста. — Вон и изба твоя.

В избе было сыровато, но после уличной жары любая прохлада в радость. Две комнаты — одна поменьше, другая попросторнее. Стол под иконой, две косо сбитые лавки, печка из мрачно-красного кирпича да ход в подпол. Никола тяжело вздохнул, впрочем, к чему-то такому он себя и готовил с тех пор, как узнал о переводе в село.

— А с прошлым что стряслось? — поинтересовался он.

— С Сенькой-то? Да запил, бедолага. Не то с тоски, не то ещё от чего. А потом в лесу сгинул, так и не нашли... Ну что, за приезд по маленькой?

— Так у меня нету.

— А мы и сами богаты. — Староста спрыгнул в подпол и вылез с початой бутылкой. — Говорю же, приличный народ — даже не утащили. Хотя, может, покойницы убоялись.

— Какой покойницы? — сглотнул Никола.

Галкин Вадим Александрович — бакалавр прикладной математики Высшей школы экономики. Родился в 1991 году в Москве. Печатался в журнале «Юность». В 2023 г. вошел в лонг-лист премии «Лицей». Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Да померла вчера баба Нюра, — проговорил староста, разливая мутную жидкость по глиняным чаркам. — Снесли сюда, к тебе то есть. У всех ледники уже никакие, а тут добротный. Но ты не переживай, завтра Гаврила придёт да заберёт. Ну, будь здоров!

* * *

Пожелание старосты не помогло.

На следующее утро голова болела так, что, кажется, Николе самому бы не помешала помощь лекаря. Озираясь в поисках брюк — отчего-то перед сном снял только их, оставшись в измятой рубашке, — он заметил на столе кувшин. Доковылял, принялся — вода, слава богу. Неужто староста позаботился? Опустошил в несколько больших глотков, но, конечно, не хватило.

Вышел из избы. Солнце жарило похлеще, чем накануне, и пить захотелось сильнее. Оглядел огороженный клочок земли, на котором помещалась изба, куца яблонька да безлистные кусты. Колодца в поле зрения не было.

Восстанавливая вчерашний день — сопровождалось это вспышками боли то в затылке, то в висках, — Никола припомнил, как они со старостой проходили колодец, пока тащили чемоданы к избе. Староста ещё нахваливал местную воду, якобы целебную... Далее воспоминания путались, да и голова начала трещать так, что Никола доверился чутью и, выйдя на пыльную дорогу, повернул налево.

Село оказалось довольно большим — Никола подметил это ещё накануне, — дома выглядели ухоженными, не в пример его почерневшей от времени и дождей избе. Но с похмелья они расплывались в яркие пятна на периферии зрения и отчего-то раздражали. Благо, долго страдать не пришлось — на ближайшем перекрёстке высился оголовок колодца с лебёдкой.

Вода по большей части лилась мимо рта, отчего Никола утолил жажду только с третьего ведра, зато после непроизвольного ледяного душа начал помаленьку приходить в себя. Он даже нашёл силы поводить глазами в разные стороны, хоть эти движения и отдавались резью внутри черепа. Дорога, по которой он ковылял до колодца, упиралась в лес. Пересекающая её тропинка уходила вниз, к бесконечному полю, рассечённому вдали тёмной полосой реки. «Не так уж плохо, — подумал Никола. — Глядишь, не сопьюсь, как прошлый лекарь».

Он повернулся, чтобы двинуться к избе, и вздрогнул — дорогу преграждала скрюченная старуха в тёмном тряпье, напоминавшем рваные мешки из-под картошки. Приглядевшись, Никола всё-таки различил пыльный сарафан и несколько платков, в которые старуха зачем-то укуталась в жару.

— Ты кто будешь, милоч? — проскрипела она.

— Ле... Лекарь, — отчего-то сбился Никола.

— Лекарь? Это как?

— Ну, как... — Никола, преодолевая головную боль, покрутился туда-сюда, с трудом подбирая слова. — Знахарь по-вашему, во!

— А, знахарь, — протянула старуха. — Дело хорошее! Вместо Сеньки, значит? Тоже, гляжу, пьющий?

— Да я это... — Никола почувствовал, как краснеет. — Староста ваш... За приезд...

— Ах староста? А чего ж он молчит, ирод поганый, что тебя к нам прислали? А то как Сенька пропал, так разогнуться не могу. Загляну к тебе, значит. Ты же в Сенькиной избе? Где ещё Нюрка лежит?

— В Сенькиной... — выдавил Никола, вспомнив про неожиданное соседство.

— Загляну-загляну, — кивнула старуха и, пошатываясь, медленно поковыляла в сторону поля.

Никола поплёлся обратно. Заходя в избу, подумал, что стоило бы захватить к колодцу ведро или хотя бы кувшин, чтобы принести воду в дом. Уже собрался было идти обратно, как из подпола донеслось постукивание. Промелькнула мысль о Гавриле, — пришёл, видать, забирать, — вот только ход в подпол был прикрыт. «Что за дела? — подумал Никола. — Темно же, неудобно. Послышалось?» Но тут снизу явственно раздался звон, будто что-то жестяное свалилось на пол. Никола дрожащими руками — не то от похмелья, не то от страха — подцепил доски и аккуратно приоткрыл ход.

Из подпола дохнуло прохладой и запахом солений. Темнота рассеивалась мерцанием тёплого света, словно где-то внизу, вне поля зрения, горела свеча. Лампадку поставили у покойницы? В леднике-то? Никола медленно опустился на колени и сунул голову под доски.

Подпол оказался шире, чем изба, уходя вбок под землю. Брёвна по трём сторонам повторяли контуры внешних стен, а в дальней стене, выложенной из кирпича, была приоткрыта деревянная дверь, которая и вела в ледник. Свечное пламя извивалось тенями на рыхлых ледяных глыбах и укутанной в белое фигуре, лежащей на досках. А потом Никола увидел, как из-за дверного проёма показалась чья-то голова и начала медленно наклоняться к покойнице...

Никола от неожиданности вскрикнул. Голова тут же отпрянула, и кто-то, вероятно её обладатель, вполголоса выругался.

— Ты что там, а?! — Никола постарался спросить максимально грозно, но голос сорвался на визг.

Никто не отозвался, из ледника донеслось только неловкое кряхтение.

— Чего молчишь? — продолжил Никола чуть спокойнее. — Выходи давай!

Свет стал ярче, а тени задёргались сильнее. Из ледника, поддерживая подсвечник, вышел мужик лет сорока, в ватнике с криво обрезанными по плечи рукавами. Лицо его было обмотано тряпичей — навроде платка, смещённого с макушки на щёку, — из-под неё торчали острые скулы. Чувство опасности сменилось у Николы жалостью.

— Ты Гаврила, что ли? — спросил он. — За бабой Нюрой?

— Не, Авдей я, — мужик воровато огляделся, а потом посмотрел на Николу. — А ты новый знахарь?

— Лекарь. Николой звать. Ты, Авдей, чего тут делаешь?

Авдей отвёл взгляд.

— Да помощь Нюркина нужна... — проговорил он.

— Какая помощь? — удивился Никола. — Она ж того...

— А вот, — Авдей указал на тряпицу.

— И что?

— Ну как... — Авдей широко открыл рот, ткнул пальцем в нижнюю челюсть и выговорил невнятно: — Зуб болит. А тут она.

— Так.

— Ага, — Авдей заискивающе посмотрел на Николу. — И я её за палец укусить хотел.

— Что?! — вскричал Никола. — Зачем?!

— Как зачем? Чтобы унесла с собой. Её ж завтра похоронят, а с ней и боль мою. Только не успел, отвлёк ты меня. Кусну, а?

— Да ты сдурел, что ли?! Нет, конечно!

— Ну, пожалуйста. — Авдей дёрнул головой, поморщился, приложил ладонь к перевязанной щеке и прошептал: — Сил нет...

— Ни в коем случае! Это же труп! Подцепишь ещё чего похуже!

— Да уж хуже некуда. Хоть помирай с ней вместе. Не дашь, значит?

— Не дам! Вылезай!

Авдей ещё постоял, надеясь, что Никола передумает, но, не дождавшись, покачал головой и полез наружу.

— Неужто этот Сенька вас так лечил? — удивлённо спросил Никола.

— Сперва ерепенился, — проворчал Авдей. — А как пожил среди нас да узнал дела наши... Мы ж только и спасаемся, что от покойника к покойнику.

— Жуть какая... Возьми хоть таблетку. А вообще тебе бы в райцентр.

— Таблетка, райцентр... — Авдей, казалось, хотел сплюнуть, но только отмахнулся. — Скажи лучше, воды у тебя нет?

Никола только развёл руками, а Авдей, вздохнув, побрёл к выходу. Уже на пороге он обернулся и проговорил виновато:

— Только Гавриле не говори... Не всякому по душе, когда у его покойника помощи ищут. Ну, сам понимаешь.

* * *

На следующий день Никола принял у себя, кажется, всех сельчан.

Первой приковыляла скрюченная старуха. Уже начала она разматывать бесконечные платки — «шоб знахарь ощупал», — но Никола поспешил отсыпать ей десяток таблеток аспирина и отправил домой. Старуха недоверчиво посмотрела на белые кругляшки, проворчала что-то о бесовском зелье, но таблетки забрала. Правда, выйдя ненадолго проветриться, Никола увидел, как забредшие во двор куры доклёвывали что-то мелкое и белое у самого крыльца.

Многие заглядывали просто познакомиться — заходили в избу, представлялись, внимательно разглядывали Николу. Женщины помоложе заносили банки с закрутками — он благодарно принимал. Мужики, поглядывая на лаз в подпол, предлагали «принять, так сказать, за встречу», — Никола отбивался, ощущая, как при первых же намёках на самогон к горлу подступала тошнота.

Заходили и по делу. Следующим пациентом после старухи стал средних лет мужик с огромными усищами, представившийся Феофаном. Он полез в канаву за укатившимся с телеги поленом и вылез уже с огромными волдырями от плеча до кисти. Феофан бесперебойно вздыхал и стонал.

— Не переживай ты так, — приговаривал Никола, доставая из чемодана баночку с мазью болотного цвета. — Обработаем — будет как новая.

— Да рука-то ладно, — отозвался Феофан. — Обидно, понимаешь, напасть за напастью. Сперва корова померла, потом дочь в подоле от какого-то охальника принесла, да и сам я недавно только палец залечил от перелома — а теперь вот это. Я ж и в прорубь ногу окунал, как положено...

— А зачем окунал?

— Ну как... Чтобы год был удачным.

— Да ну? Примета, что ли, у вас? И работает?

— А-а-а, это самое... — Феофан недоверчиво посмотрел на Николу. — Ты точно знахарь?

— Да не знахарь я, — проговорил Никола, подавив раздражение от бесчисленных повторений одного и того же. — Лекарь!

— А, вон оно как, — разочарованно проговорил Феофан. — Слухай, пойду-ка я, пожалуй.

— Куда ж ты? — удивился Никола. — Ожог надо обработать, а то на солнце совсем беда будет.

— Да вроде бы уже не жётся, само пройдёт, — отмахнулся Феофан. И уже на пороге едва слышно проговорил: — Ишь ты, лекарь...

Никола поглядел на зелёные пальцы, цокнул языком и принялся соскребать мазь обратно в банку. За этим его и застал староста. На этот раз, кажется, трезвый.

— Ну как, обживаешься?

— Помаленьку, — отозвался Никола.

— Со всеми познакомился?

— Ещё как, подпол ломится от солений. Это ты обо мне рассказал?

— Не, это Агафья горбатая. Вроде еле ковыляет, а, когда захочет, — всё село обойдёт да каждому новость донесёт. А заодно и мне под ноги поплюёт, что, мол, держу всех в неведение. А я ж хотел тебе время дать освоиться, а то знаю я наших...

— А чего ж ты меня вашими пугаешь? Говорил, помнится, что все приличные...

— А что, скажешь, не приличные?

— Люди как люди... — неопределённо протянул Никола. — Только, как бы это сказать... Непривычные к лечению.

— Ну, а где ж им привыкать? Вы то приезжаете, то уезжаете, то в лесу пропадаете... А нам же надо как-то жить. И живём — где-то по-новому, а где-то по-старому. Предки наши, говорю, хворей не знали, а, значит, что получается? Правильно всё делали. Мазь — это, может, и неплохо, — он брезгливо посмотрел на скатавшиеся зелёные комочки, — а опыт житейский надёжнее.

— Опыт необходим, — кивнул Никола. — В лекарском деле без него тоже никуда. Только должен он быть подтверждённым — там целая наука. А приметы... Дело, может, и любопытное, но...

— Ну, Никола, — прервал его староста. — Науку твою я, конечно, уважаю, но ты погоди рассуждать. Присмотрись сперва что к чему...

— Да присмотрюсь, куда деваться, — улыбнулся Никола. — Уж не на неделю к вам.

— Уж не на неделю, — задумчиво проговорил староста, глядя мимо Николы.

* * *

Поток желающих познакомиться с новым лекарем постепенно иссякал. На пятый день посетителей и вовсе не было. К вечеру набежали тучи, отчего, казалось, слишком рано потемнело. Никола успел накинуть засов на дверь — не то чтобы из опаски, просто прилегала она неплотно и могла распахнуться от порыва ветра. Оказалось, рано заперся — постучали.

Первым делом Никола решил, что это староста — тот регулярно заходил, сетуя на недостаток комфорта в старой избе и предлагая помощь по хозяйству. Комфорта, конечно, не доставало, однако внимание сельчан сглаживало погружение в сельскую жизнь. К тому же Никола ещё ребёнком бывал у тётки в деревне, наездами, по несколько недель, и ему в общем-то нравилось. Этот срок пока не вышел, а как оно будет дальше, он предпочитал не думать.

Разобравшись с заевшим засовом, Никола приоткрыл дверь. На пороге стоял незнакомый мужичок с густой бородой по грудь. Он был невысокого роста, смотрел на Николу снизу вверх и как-то бочком, словно только левым глазом. Опираясь он на длинную берёзовую палку, чуть не достававшую ему до плеча.

— Здорово! — Никола по выученному сельскому порядку растопырил ладонь.

Мужичок не пошевелился. Только правый глаз медленно переместился вслед за рукой Николы, левый же при этом остался неподвижен. Никола поёжился.

— Дошла молва о новом знахаре, — проговорил мужичок низким и на удивление объёмным голосом, словно сопровождаемым эхом.

Николу почудилось, будто изо рта мужичка дохнуло смолой.

— Это я, — Никола опустил руку. — Никола, лекарь. А ты не из нашего села?

— Недалече, — мужичок кивнул в сторону леса. — Проведать зашёл. И что, помогаешь от хвори?

— По мере сил, — Никола пожал плечами. — Беспокоит чего?

— Беспокоит.

— Что именно? Давно?

— Давно, — протянул он. — Ну да я загляну попозже, коли готов помочь.

— Так зачем позже, раз ты уже тут? — удивился Никола.

— А на первый раз и того хватит, — мужичок кивнул, развернулся и пошёл к ограде, громко поскрипывая лаптями.

Глядя ему в спину, Никола заметил, что зеленая рубашка мужичка была надета швами наружу. Думал крикнуть, да рассудил, что может обидеть вечернего гостя. Закрыв дверь, разложил постель на лавке и уснул.

* * *

Проснулся спозаранок от духоты — солнце пробивалось сквозь щели ставен, вовсе не замечая преграды. Вышел на крыльцо — трава вокруг избы блестела от росы. Потянулся, поглядел за ограду и увидел старосту, медленно бредущего по дороге.

— Эй, — крикнул Никола. — Ты чего в такую рань?

— Это вам, городским, рань, — весело отозвался староста. — А нам уже скоро и на боковую. Загляну?

— Заглядывай!

Присели на крыльце. Никола вынес из избы недозревший подсолнух, который ему накануне принесли ребятишки, по-видимому, взявшие с родителей пример одаривать знахаря. Семечки выковыривались с трудом и на вкус были так себе, но под разговор со старостой щёлкались весело.

— Кажись, Агафья рассказала обо мне уже за пределами села, — проговорил Никола, выплёвывая шелуху.

— С чего взял? — насторожился староста.

— Да под вечер зашёл мужичок незнакомый. Вроде бы не местный.

— Не местный? Как выглядел-то?

— Невысокий такой, с лохматой бородой, глаз косит.

— Так это ж портрет половины наших мужиков, — рассмеялся староста. — Не Демьян случаем?

— Не, тот был позавчера. Пришлось ему самогона плеснуть, чтобы выпроводить. А тот не такой шепутной — спокойный и голос у него глубокий... Как эхо в лесу.

— Как эхо, говоришь? — староста нахмурился. — А чего хотел?

— Да в том-то и дело, что непонятно. Поспрашивал чуть-чуть да ушёл. Говорит, беспокоит что-то, но придёт позже.

— Когда зайдёт, не говорил?

— Да нет, я и не интересовался... Что-то не так?

— Да как сказать, — староста прищурился. — До ближайшей деревни километров десять через поля. Что ж он на ночь глядя-то пришёл, да ещё без срочного дела?

— А он сказал, что недалече живёт. Куда-то в сторону леса показывал.

Староста неожиданно вскочил — с его колен на землю скатился распотрошённый подсолнух — и посмотрел в упор на Николу.

— Да что с тобой? — испугался Никола.

— Одет он как был? — спросил староста без какой-либо интонации.

— Одежда как одежда... Лапти, штаны с рубахой. Вот только рубаха наизнанку вывернута.

— Наизнанку?! — выкрикнул староста. Но тут же зажал себе рот, схватил Николу за плечи и зашептал: — Я тебя прошу, не помогай ему!

— Что случи...

— Гони его, когда придёт! — староста всё сильнее сжимал Николу. — Не говори с ним! И в лес не ходи!

— Какой лес? Ты о чём вообще?!

— Я говорил тебе, что надо пообвыкнуть... Вот и обвыкай. А этого не подпускай и не давай ему ничего. Сенька вот, молодец, послушался, не помогал. Да в лес попёрся, дурень...

— Объясни ты толком! Как не давать? Я вообще-то клятву давал — людям помогать!

— То людям... — проговорил староста с недоброй усмешкой. — А тут не человек.

— Что...

— Леший к тебе приходил, Никола.

Никола на секунду замер. Незаметно приняхался. Запаха алкоголя он не учуял. Неужто разыгрывает староста?

— Я понимаю, о чём ты думаешь, — староста, наконец, выпустил Николу и почесал затылок. — Но, пожалуйста, доверься мне. Бедой дело обернётся. Обещаешь?

— Да я это... — Никола растерялся. — Может, тебе водички принести?

— Приноси что угодно, только пообещай не прикасаться к нему!

— Да как же я...

— Обещай!

— Ну, хорошо!

— Вот и славно, — староста улыбнулся, словно и не было никакого разговора. — Пойду тогда. А то, сам понимаешь, наш-то сельский день уже к закату близится.

* * *

То, что староста немногим отличается от других сельчан с их нелепыми приметами, стало для Николы неприятным открытием. К местным причудам он потихоньку привыкал. Это не всегда давалось легко, но прямые и честные разговоры со старостой сглаживали переживания: тот, кажется, единственный его понимал и искренне подбадривал. Теперь же Никола не был уверен, что староста поможет освоиться в дремучем селе, не растеряв здравомыслия.

Сам же староста вёл себя как прежде. Бывало, спрашивал, кто к Николе заходил, но при этом вовсе не изменялся в лице, так что трудно было понять, интересуется ли он тем самым мужичком или здоровьем сельчан. А мужичок не заходил четыре дня. Явился только на пятый, и снова под вечер.

— Впустишь, знахарь? — проговорил он с порога, одёргивая рукава вывернутой рубахи.

Никола кивнул и отошёл в сторону. Мужичок, перекатываясь с ноги на ногу, вошёл в избу. Каждый его шаг отзывался скрипом. Никола посмотрел на его лапти — нет, не могут они издавать такой противный звук, — и заметил, что в них застряло множество сосновых иголок. Видать, правда шёл через лес...

— Добротная изба, — мужичок присел на лавку и постучал костяшками по бревну в стене.

— Тебя как звать-то? — спросил Никола.

— Лесьяр, — отозвался мужичок.

Никола на секунду замер — не любил он такие совпадения, — но тут же отогнал воспоминания от разговора со старостой.

— Ты, стало быть, откуда-то из-за леса? — спокойно спросил Никола. — Гляжу, весь в иголках.

— Почему из-за леса? Из леса и есть. Отшельником живу уже долгие годы. Оттого и имя такое взял — охраняющий лес.

— А, вот оно что, — усмехнулся Никола. — А то говорят о тебе всякое...

— Говорят? — Лесьяр прищурился.

— Да староста наш... Неважно. Скажи лучше, в чём помощь нужна?

— Колени скрипят, — Лесьяр хлопнул по ногам. — Да ты и сам, поди, слышал. Хожу по лесу, птиц да зверей пугаю. Может, сделаешь какой отвар?

— Отваром тут не поможешь, — проговорил Никола. — Задери-ка штанины.

Лесьяр подобрал штанины. Голени у него обильно поросли волосами, в которых запутались семена шишек. Никола поразгибал его ноги — скрип сменялся хрустом, словно ветка ломалась.

— Не болит? — спросил он.

— Терпимо.

— Вот что сделаем, — Никола приоткрыл подпол. — Намешаю мазь. После недели будет результат. Только выдать тебе не могу — хранить её нужно в холоде. Будешь ко мне приходить?

— Куда деваться, — вздохнул Лесьяр.

— Ну, добро, — и Никола полез в подпол.

* * *

Лесьяр исправно приходил следующие пять дней. Каждый раз под вечер, отчего Никола порой зажигал свечи, чтобы не обрабатывать его колени в полутьме. Лесьяр пламени будто бы сторонился, хмуро косясь на подсвечник. Когда Никола поймал его взгляд, нехотя проговорил:

— Не люблю огонь. Он лес губит.

— Как же ты в лесу без костра? — спросил Никола. — Не охотишься?

— Лес кормит травами да грибами. А лесные звери — друзья мне.

Никола не стал рассказывать старосте о посещениях Лесьяра. Сперва побаивался реакции, а потом успокоил себя тем, что сперва вылечит Лесьяра, а потом предъявит его — обычного мужика с больными коленями — сельчанам. Пусть знают, что никакой это не леший.

А Лесьяр очень быстро шёл на поправку. На пятый день его левая нога уже не издавала посторонних звуков, да и правая поскрипывала уже не так устрашающе.

— Скоро совсем излечимся, — добродушно приговаривал Никола, разводя мазь.

Лесьяр издавал неопределённые, но, кажется, одобрительные звуки.

На шестой день Лесьяр не явился. Не пришёл он и на седьмой. Никола решил, что колени прошли и нелюдимый Лесьяр не захотел лишний раз выходить из леса.

А на восьмой день Никола проснулся от шума за окном. Прислушался — кричали за несколько домов от него, мужские голоса чередовались с женскими. Оделся, пошёл поглядеть, что стряслось.

Возле двора Демьяна столпилось человек двадцать. Сам Демьян стоял у распахнутой двери курятника и держал в руках курицу. Николе хватило накопленных познаний о деревенской жизни, чтобы определить — у курицы была свёрнута шея.

— Одна только осталась! — причитал Демьян. — И та мертва!

— Ты, пьянь подзаборная, с вечера курятник не закрыл! — орала на него жена, Марфа. — Или на самогон их обменял!

— Я? — Демьян выпустил тушку курицы — она шмякнулась о землю, — и прижал обе руки к груди. — Своих курочек? Никогда! Воры это!

— Куриц леший любил таскать, — проговорила Евдокия, стоявшая у ограды. — Лесное-то зверье он за еду не признаёт, а вот наших...

— Да какой леший, — отмахнулся Авдей, так и не снявший тряпицу. — Как повредил он ноги, так и не ходит к нам — скрипит так, что мёртвого разбудит. Хотя Демьян по пьяни мог и не слышать...

— Что значит Демьян?! — взъелась Марфа. — А я на что?! Считаешь, тоже с ним не просыхаю, да?!

— А ну тихо, — перекричал всех подоспевший староста. — Что случилось?

— Курей у нас спёрли, — Марфа ткнула рукой в тушку у ног Демьяна.

— Леший утащил, — выкрикнула Евдокия.

— Молчала бы, дура! — раздалось в толпе.

— Тихо, говорю! — староста подошёл к Демьяну, похлопал того по плечу, присел на корточки к тушке, а затем посмотрел на собравшихся. — Дела... Видали что-нибудь, а?

В толпе невнятно бубнили, пожимали плечами.

— Староста, — вдруг выскочил двенадцатилетний мальчуган, подносивший Николе подсолнух. — Я на днях видел дяденьку незнакомого. С бородищей огромной. Шёл по главной дороге, кажись от леса.

— Слыхали, что говорит, — от леса! — заверещала Евдокия, но староста замахнулся на неё, и та, ойкнув, замолчала.

— С бородой, говоришь? — переспросил староста у мальчугана. — А одежду его не запомнил?

— Не запомнил, — мальчуган шмыгнул носом. — Помню только пустой шёл, без поклажи. Я ещё подивился: если путник, то где ж узелок или чемодан, а тут вон оно как...

Староста покосился на Николу, — тот только сделал удивлённое лицо, мол, бывает же такое, хотя и почувствовал, как сердце заколотилось быстрее.

— А давно ты его видел? — продолжил староста, с надеждой поглядев на мальчугана. — С неделю назад, да?

— Да какой там, — мальчуган загнул несколько пальцев, — Ну точно, позавчера, когда мы с Яриком на речку бегали.

Староста громко вздохнул. А Николе вмиг всё стало безразлично. Он подумал, что сейчас придётся оправдываться перед неграмотными крестьянами

за пустяковое дело. Что потеряет расположение старосты, который, судя по всему, стал главным только потому, что мог более-менее внятно выражать мысли и не спился до беспамятства. Что он, лекарь с образованием, унизившись сейчас, продолжит унижаться и далее, пока его не переведут из села в райцентр. Будут его называть знахарем, выкидывать таблетки и вместо рекомендаций доверять приметам. Тошно ему стало, как на второй день в селе, после самогона из подпола.

— Никола, — тихо проговорил староста. — Это ведь не ты...

— Я! — выкрикнул Никола, да так, что от него отшатнулись стоявшие рядом мужики и бабы. — Конечно, я! Лесьяр ходил ко мне, чтобы лечить колени! И он самый обычный человек с больными суставами — продуло в лесу или спит на холодной земле, чёрт его разберёт! А вы заладили — леший-леший! Мужик бы, может, и вышел к вам, если б не эти байки! Сами его и вынудили кур воровать!

Он переводил яростный взгляд с одного сельчанина на другого. Люди отступали, бормоча что-то, и только староста не двигался, грустно глядя на него.

— Ну, чего смотришь? — крикнул ему Никола. — Нелюди вы. Да ну вас.

Он резко развернулся и пошёл к себе в избу. Хлопнул дверью, запер на засов и улёгся на лавку. Его ещё потряхивало, он то и дело выплёвывал отрывистые слова — «бестолковые», «неучи», «знахаря им подавай» — и бил кулаком по стене.

Спустя полчаса за дверью послышалось шевеление, и до Николы долетел голос старосты:

— Никола, открой, пожалуйста.

— Никого нет дома, — крикнул Никола, не пошевелившись.

— Поговорить надо, дело важное.

Никола, тихонько выругавшись, встал со скамьи и подошёл к двери.

— Ты один? — спросил он.

— Пока один... Открывай давай.

Староста действительно был один. Опасливо оглянувшись, он быстро вошёл в избу и сам задвинул засов. Прошёл к столу, по-хозяйски сел, упёр локти в колени.

— Что ж ты натворил? — тихо проговорил он.

— Что надо было, то и натворил, — злобно отозвался Никола. — Ты чего припёрся, снова сказки рассказывать?

— Говорил я тебе, Никола, осмотришься сперва, — староста привстал и заходил по неширокой избе. — Сказки — не сказки, не тебе решать, а народу. Если верят, значит, не сказки. А народ верит. И считает тебя виновным.

— Ну и пусть считает. Мне-то что?

— А то, что за дела с нечистью у нас обычно не щадят.

— Ты напугать меня хочешь?

— Предупредить, — староста подошёл к окну, пригляделся к чему-то и вздохнул, — но, кажется, поздно.

Никола встал рядом и посмотрел по направлению взгляда старосты. За оградой у калитки собралась толпа сельчан. Отчего-то пересчитать их

у Николы не вышло — сбился на тридцати, — но по ощущениям там было никак не меньше половины села.

— Чего им надо? — спросил он дрогнувшим голосом.

— Тебя, скорее всего.

— И что мне делать?

— На будущее — думать наперёд. А сейчас — идти к народу объясняться. Хуже будет, если они сами сюда полезут.

Они вышли из избы. Люди у калитки, до этого гомонившие, на миг притихли, а потом закричали ещё громче. Староста поднял руку и проговорил:

— Погодите орать, давайте сперва разберёмся.

— А нечего тут разбираться, — выкрикнул Авдей. — Месяца не прошло, как знахарь с нечистой силой связался!

— Есть такой грех за ним, — кивнул староста. — Но по неведению он! Вы же знаете, парень городской, у них таких дел не бывает. Простить его надо, братцы.

— Простить?! — Авдей округлил глаза. — Знахаря?! Да ты понимаешь, какая сила может родиться, когда знахарь с лесным бесом объединится? Сегодня кур украли, а завтра наведёт на нас мор да неурожай!

— Авдей, постой... — начал староста.

Но его перебил раздражённый Никола:

— А что ж ты, Авдей, не расскажешь народу, как бабу Ньюру пытался за палец кусать? Уж не нечистая ли сила помогает боль твою забрать? Явно не по Божьему закону, а?

Авдей ахнул и схватился за щёку, повязанную тряпицей. По толпе пробежал ропот.

— Ты, знахарь, нам зубы не заговаривай, — неуверенно прошамкал Гаврила. — То, что Авдей у покойницы лечился, пусть даже у матери моей, — наше с ним дело. А чистое оно или нечистое — не тебе решать. Испокон веков так лечимся и не знаем горя. А вот с лешим водиться — быть беде.

Авдей тем временем глядел на Гаврилу и усиленно кивал, по-видимому, осознавая, что угроза миновала.

— Интересные у вас порядки, — недобро усмехнулся Никола. — Одно, значит, считается за братание с нечистым, а другое — нет.

— Ах, тебе порядки наши не нравятся? — прокричал осмелевший Авдей. — Бей его, мужики!

Калитка сорвалась с петель под напором толпы. Никола перестал различать лица — видел только, как пять пар рук схватили его, вытащили на дорогу и кинули в пыль. А потом перед лицом замелькали ноги — в лаптях, в ботинках с прохудившейся подошвой, голые пятки, — нанося удары по брюху, спине, затылку.

— Остановитесь! — донёсся, как издалека, голос старосты.

Никола старался прикрыться там, куда мгновение назад прилетал удар, но через секунду он уже ощущал боль в другом месте. Почувствовал, как хрустнуло в груди. Как в носу стало мокро и тесно. Как неестественно изогнулся

указательный палец на руке, остановивший чью-то ногу в нескольких сантиметрах перед зубами.

— Хватит! — прокричал староста теперь где-то совсем рядом, и удары прекратились.

Староста нагнулся к нему, что-то проговорил, но на этот раз Никола не разобрал слова — звенело в ушах. Староста подхватил его под мышки и попробовал поставить на ноги. Ноги, кажется, были относительно целы, но слушались слабо, дрожали, были слишком мягкие — совершенно непонятно, как стоять на таких. Никола опустил на четвереньки. Так оказалось гораздо удобнее. Он переставил правую руку, за ней — левую ногу, потом — наоборот, ещё и ещё. Он двигался — медленно, неуверенно, но двигался по дороге. Перед глазами поднималась пыль, слева и справа снова мелькали раздражающие яркие пятна. За спиной звучали голоса, Никола разобрал слово «ружьё», сказанное, кажется, Демьяном, и неразборчивый возмущённый возглас старосты. Никола начал перебирать ногами и руками быстрее. Голоса за спиной стихали. Пыли стало меньше. А когда ему хватило сил поднять взгляд, увидел, что до леса. И потерял сознание.

* * *

Первое, что почувствовал Никола после того, как пришёл в себя, — ребристую кору дерева за спиной. Он дёрнул плечом — разом заболело всё, — и оттого решил не двигаться. Осмотрелся, медленно вращая глазами.

Он сидел на небольшой полянке. Вокруг стояли сосны, меж них росли кусты с незнакомыми ягодами. Небо было ясным, солнце светило, хоть его и не было видно за деревьями. «Ещё день, — подумал Никола. — Значит, прошло не очень много времени...»

— Беда стряслась, Никола, — услышал он низкий голос за спиной.

К дереву подошёл Лесьяр. Присел на корточки — Никола подметил, что колени совершенно не хрустели, — привычно посмотрел на него левым глазом, покачал головой.

— Стряслась, — дрожащим голосом отозвался Никола. — Побили.

— Ведаю, — Лесьяр огладил бороду. — Из-за меня.

Никола хотел было отмахнуться, но рука отозвалась небывалой болью, поэтому лишь дёрнул головой.

— Не отнекивайся, знахарь, — сказал Лесьяр. — Знаю я народ. И страхи их мне знакомы.

— Куриц... — Никола громко сглотнул и почувствовал, как дерёт в горле. — Ты стащил?

— То дело тёмное, — отозвался Лесьяр. — Не наше с тобой. А моё дело к тебе — ответить добром на добро. Ты меня исцелил. Скажи, чем могу отплатить.

— Да чем ты отплатишь, — Никола попытался улыбнуться. — Корзиной грибов?

— И всё же. Чего хочешь, знахарь? Или чего не хочешь? Может, чего боишься?

— Боюсь... — Никола запнулся и сплюнул кровью. — Убьют они меня.

— Так, — протянул Лесьяр. — Смерти, значит, боишься? Жить хочешь?

— Кто ж не хочет.

— Долго жить?

— Да хоть как... Только от их ружья какая защита?

— Имя моё — Защитник Леса, — проговорил Лесьяр. — И тебя я защищу, по твоим желаниям.

И Никола почувствовал странное. Мир вокруг него стал уменьшаться. Не в один момент, но с каждой секундой деревья будто бы становились тоньше. Наблюдая за изменениями, он вдруг осознал, что это не деревья меняются, а он сам становится больше, толще, выше. Его ноги множатся и врастают в землю. По его внутренностям бегут потоки жидкости — как кровь, только... Только иная, приятная, тёплая, рождающаяся из подземной тьмы и стремящаяся вверх, к свету... Свету солнца, которое теперь можно узреть, потому что он достиг высоты деревьев. Вот оно, — освещает лес, освещает и Николу, его ветви, иголки, шишки, кору, изъеденную жуками.

— Что это? — медленно прошелестел Никола.

— Это — новая жизнь, — отозвался Лесьяр. — Долгая, не страшная селян и их ружей. Как ты просил, знахарь.

— Я... Я стал деревом?

— Ты стал моим другом.

— Зачем?

— Ты хотел.

— Я хотел жить!

— Теперь ты живёшь по-настоящему!

Смысл слов, сказанных Лесьяром, доходил будто бы не сразу — казалось, что он взбирается по стволу от корней, и, только добираясь до верхушки, проясняется задуманное. Зато Никола почувствовал присутствие тысяч других собеседников. Они были повсюду: окружали его, шептали, переговаривались о новом дереве в их доме. В потоке чужих мыслей Никола разобрал слабое возмущение чужого сознания, исходившее снизу, от земли рядом с его корнями. Напрягая ощущения, он разглядел гнилую шишку. Она пыталась что-то поведать и ему, и окружающему миру, но только создавала небольшие вибрации вокруг себя, не обращая их в ясную мысль.

— Вот разница между истинным знахарем, помогающим всем, и мнимым, — проговорил Лесьяр. — Даровал тебе я жизнь на столетия, а Сенька сгниёт через год, подпитав тебя.

Вдали собирались тучи. Сверкнула молния. Линия горизонта расплылась — значит, начался дождь. Никола ощутил потоки ветра на своих иголках. Дул он со стороны туч. Значит, скоро они будут здесь. Прольются потоками воды на него. И это будет хорошо.

Никола снова попытался улыбнуться. На этот раз у него получилось.

Андрей Темнов

Эол

Рассказ

посмотри как блестят бриллиантовые дороги
послушай как хрустят бриллиантовые дороги
смотри какие следы оставляют на них боги
чтобы идти за ними нужны золотые ноги
чтобы вцепиться в стекло нужны алмазные когти

Илья Кормильцев

1

Но у Марка не было ни алмазных когтей, ни других изящных атрибутов, указывающих на принадлежность к высшим кастам. С золотыми ногами тоже как-то не задалось — они у него, если присмотреться, самые обычные: ботинки с высокой шнуровкой, а внутри — натруженные, мозолистые ступни. Бывалая плоть.

Над ним хмурилось низкое небо позднего октября. Скоро должен начаться дождь, или сразу, без перехода, — снег. В Сибири с этим просто: душное лето прерывает ускользающая прозрачная осень, а в двадцатых числах октября зима берёт своё. Она приходит с позёмкой, сугробами и вороньим карканьем у ограды погоста. Даже отсюда, с далёкого выката федеральной трассы, секущей давно убранные поля на неравные доли, Марк видел клубки лениво кружащих птиц и чёрные отметины крестов — в раздетой роще, меж болезного вида берёз и осин. Михайловка лежала тут же, на склоне пегого скособоченного холма. Деревенские заборы примыкали к кладбищу и болотистой прогалине с огарками высохшего тростника по ободу. Болото, кладбище и деревня ложились в один бегло брошенный на сторону взгляд. Всё жмётся друг к дружке, не выдохнуть. Земли много, а всё ж тесно, — то ли оттого, что в стужу разумней держаться рядом со своими, то ли от укоренённой, всё перемогшей неустроенности русского человека, с одинаковым равнодушием взирающего на жизнь и смерть.

Темнов Андрей Игоревич родился в Иркутске в 1990 году. Окончил Байкальский государственный университет, факультет журналистики. С 2010 по 2021 год работал журналистом и редактором в одном крупном сибирском сетевом издании. Живёт в Нови-Сад, Сербия. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Трасса была пуста. Через прерывистую линию разметки время от времени перемахивал резкий порыв, поднимавший вихри пыли и придорожного мусора. Рюкзак, заменявший в походе стул, а иногда и стол, лежал на земле, прислонённый к верстовому столбу. О рюкзаке думалось с нежностью, как о старинном друге: верный, испытанный, он вселял в Марка надежду на благополучный исход затеянного предприятия. Октябрь — не лучшее время для путешествий автостопом, но для Марка это не имело значения. Он был в разводе — данный факт плохо укладывался в голову, а ведь именно развод побудил его выйти на трассу этим будничным пасмурным утром. Спонтанное, но в то же время инстинктивно выверенное решение. События последних месяцев требовали осмысления, и — Марк знал наверняка — только трасса могла дать ему время и простор для нужного душевного настроя.

Марк женился рано, после первого курса университета. С Ольгой, будущей супругой, он познакомился незадолго до, на старте лихой студенческой жизни. Иркутский филфак был равно знаменит выпускниками и пьянками: к первым Марк причислить себя ещё не успел, зато ко второму приобщался по мере сил. Пили всё, что горит; и даже то, что нет, проглатывали с охоткой, забыв о закуске. Времена стояли весёлые и по большому счёту беззаботные. Позже на них навесят множество сытых, сытных биров, но Марку они запомнились тем, что в городе как-то особенно пахло. Пронзительным ветром с водохранилища. Ранним листопадом. Свежей выпечкой. Когда тебе семнадцать, в Иркутске сентябрь и набережные одеваются парадным пурпуром, — сложно не влюбиться.

В аудиториях Оля сидела через две парты от Марка. Он всё больше наблюдал её со спины: смотрел на огненные кудри, слушал гротескно низкий, почти мужской голос, думая о том, что девушка эта, пожалуй, знает себе цену. Такой палец в рот не клади — откусит. В Оле он сразу распознал иной биологический вид, и его увлекла идея обладания этим удивительным созданием. Он желал познать, охватить её всю, проникнуть в её загадку. А ещё он просто её хотел, и не стоило доискиваться иных причин, — молодая кровь вскипела, точно игристое вино, почуявшее свободу пустого бокала.

К исходу первого семестра они уже начали встречаться, к Рождеству произнесли заветные слова, и вскоре, длинным летним днём в начале июня, сразу после сессии, по городу прокатилась удалая студенческая свадьба, траты на которую ограничивались покупкой ящика водки и перешивкой школьного выпускного платья Оли на «брачный» манер. Гуляли недели три, меняя квартиры и транспорт: утром похмелялись под Старым мостом в центре города, в обед уминали холодные беляши (на перроне, ожидая электричку), а ночевать укатывали в садоводство, к друзьям. Прохладный бор на 5215-м километре Транссиба, станция Голубые ели, двухэтажный деревянный дом с окнами на реку, скрип ветра в чердачных антресолях, запах прелой хвои... В первом сиреновом свете Марк открывал глаза и видел спутанные рыжие букли, покачивающиеся в такт дыханию. Он проводил по ним рукой. Оля отмахивалась, оттопыривая нижнюю губу — смешно, совсем по-детски, — не просыпаясь.

Быт не разрушил их отношения, но оголил характеры. Ольга была властной, расчётливой женщиной, она вырвалась из нищеты девяностых

и с ранних лет укрепились в мировоззрении на манер незабвенной Скарлетт О'Хары. «Бог свидетель, я скорее украду или убью, но не буду голодать», — говорила Скарлетт. Оля выражалась столь же ясно, а ещё она, как и героиня знаменитого романа Митчелл, пребывала в убеждении, что мужчина — вернейший инструмент для избавления от жизненных тягот. Она училась, работала, не увиливала от обязанностей, но всё в её поведении указывало на подспудно лелеемую мысль, что труды эти — временные, что они не более чем разумная несправедливая плата за вхождение в круг семейной жизни, каковая жизнь, в конечном итоге, есть мерило и основа бытия.

Марк стал тяготиться воззрениями жены. Он легко отдал ей инициативу по обустройству домашнего очага, но навязчивая меркантильность и ограниченность — как он стал определять эти её черты для себя — шли вразрез с движением его души: каждодневным, вдумчивым, свободным от штампов, тяготеющим к постижению смысла явлений, а не употреблению частных свойств оных себе на пользу. Марка занимали история, литература, география, он много читал, любил одиночные походы в горы и прогулки под сенью опадающих тополей. Впереди маячили образы аспирантуры, кандидатской, путешествий, а возможно, даже переезда за границу. В его лексиконе было бесконечное множество слов, но самых важных — тех, ради которых жила Оля, — там не доставало. Он любил прилагательные, она — глаголы; его чувства к ней исчерпывались выражением «терпеливое равнодушие», а её к нему «иди посуду помои».

К середине третьего курса Марк осознал, что его семейная новелла застряла в сюжетном тупике, и это был один из тех пыльных углов жизни, откуда бесполезно искать выход. Слишком высокие стены, слишком мало желания на них лезть. Ольга... рыжая кошка с хрипотцой в голосе, — этот биологический вид лёг на полку и больше не интересовал Марка. Однако по натуре он был мягким, гибким, с детства избегающим конфронтаций, предпочитая драке переговоры. Это не было трусостью, скорее — болезненным нежеланием взаимодействовать с социумом через грубые вербальные практики. Ему хотелось, чтобы люди сами понимали смысл его намёков и делали соответствующие выводы. Он желал, чтобы Оля заговорила о разводе первой, но эта женщина демонстративно не различала полутонов. Она как бы заявляла миру, чтобы тот прогнулся под тяжестью её когтистых лап или шёл к такой-то матери. Марк не хотел начинать *этот* разговор, а она предпочитала игнорировать всё более очевидную скудость их вечерних перемолвок.

Затянувшаяся неловкая пауза разрешилась самым постыдным и тривиальным образом. Как-то в пивной, во время пятничных посиделок, приятель поведал Марку, что на день рождения их общего знакомого (где Марк не мог присутствовать) Оля выпила больше обычного, после чего со всей присущей ей грубоватой откровенностью выдала гостям матримониальные планы. Вкратце они сводились к скорой беременности, уходу с работы и добровольно-принудительному перекладыванию ответственности за их с «малышом» будущность на плечи супруга. Марк взбесился. Дело было не только в намерении Оли завести раннего ребёнка, — хотя и это вызывало

огромные возражения, — но и в том, что жена собиралась воспользоваться беременностью как оружием, окончательно привязывая мужа к себе. Марк понял: сделать это Оля собиралась, прибегнув к низкой женской хитрости, — осознание последнего теснило грудь особым низкочастотным бешенством, ведь Марк всегда почитал себя выше манипулятивных приёмчиков в духе дешёвых реалити-шоу.

Он пришёл домой, хлопнул дверью, разгорячённый, после полбутылки коньяка, выпитого в компании всё того же приятеля. Диван, включённый телевизор, запах гречки с кухни, и она — полулёжа, в расслабленной, намекающей позе; мужская рубаша — его рубаша! — на голое тело, задранные вверх колени в красных пятнах (так бывает, когда усердно моешь пол); в квартире и вправду чисто, ни пылинки; бывший и будущий президент что-то уверенно излагает по ящику, он на огромной сцене, в вызывающем фиолетовом галстуке, а у людей в зале странно напряжённые, внимающие лица... Оля слегка повернула голову, — качнулся и тут же замер пожар волос, — а затем тепло, по-домашнему, улыбнулась мужу. Марк приблизился, наклонился и коротко ударил тыльной стороной ладони. Потом развернулся, выбежал в коридор, скатился вниз по лестнице. А перед глазами плясала сливовая удавка на шее Гаранта.

Квартира у них была съёмной, и он собирался оставить её в полном распоряжении бывшей — раз и навсегда бывшей! — жены. Ольга рассудила иначе. Через несколько дней, решившись, наконец, заехать за самыми необходимыми вещами и документами, Марк нашёл их ещё недавно уютно обставленную студию в состоянии унылого опустошения, с голодно распахнутыми дверцами шкафов и гадливыми пятнами на засаленном, лишённом белья матрасе. Оля осталась верна себе — на единственном окне она размашисто вывела алой помадой: «Желаю тебе всего самого наихудшего». Этот эффектный эпилог встретил Марка первым, а сразу после была теряющая хвосты лиственница, растущая во дворе и хорошо видная из окна в любое время дня и ночи. Дерево шумело на ветру, касаясь подоконника, издававшего тихие щелчки — будто ход метронома. «Всего самого наихудшего», — повторил Марк про себя. Позже он узнал, что Оля уехала на юг, к родне. Больше он её не видел.

Ему казалось, что он легко перешагнёт через два с половиной семейных года и вернётся к прежней жизни. Но как прежде он уже не мог. Что-то провернулось в нём, глубоко, под рёбрами, и засело — не вытащить. Без её вещей, запаха, волос, — неизменно забивавших слив под ванной путаными комьями бурого цвета, — квартира зажила бобылём, заросла, точно бородой, густой атмосферой мрачной отрешённости. Марк с мазохистским наслаждением погрузился в омут: забросил учёбу, стал завсегдатаем пивных, начал смачно заливаться, однако не повторилось ни былой удали, ни прежних, всегда готовых поддержать его начинания, товарищей. Он завёл новые знакомства — неприятные, липкие, — когда взаимные фальшивые улыбки охотно принимают за чистую монету, лишь бы вычеркнуть себя из пустой квартиры с её запавшими фингалами углов и горой немытой посуды в мойке.

Ближе к зиме Марка захватила разрушительная страсть. Те месяцы он запомнил плохо. Притоны, дурман-трава, женщина с булгаковским именем

и таким же норовом. Она влетела в его жизнь на кочерге затычного запоя, и он бросил к её ногам всё, что имел, — из боязни одиночества, пьяного иступления и тягостного жжения, скопившегося в тазовых костях. Бурный роман продолжался некоторое время, плава свечку жизни с двух концов, — а конец здесь мог быть только один, и Марк уже различал его в подрагивающем мареве похмельных пробуждений. Однажды, в конце лета, он не смог встать — столб воздуха вжал его в скрипучие пружины кровати, лишив дыхания. Над ним разверзлась воронка: её тёмно-синие и вязкие, как гуашь, внутренности судорожно подрагивали — так втягивается и тут же расходится брюхо осатанелой шавки в устланном окурками и нечистотами дворе панельного гетто. Ухватившись за край гаснущего сознания, Марк каким-то чудом сумел набрать неотложку. Укол в ягодичную мышцу. Холодная испарина на кадыке. Приговор в равнодушном подбородке доктора: «Если будете и дальше вести такой образ жизни, молодой человек, то через год ляжете с инфарктом».

Чувство вплотную подступившей смерти — не из тех, что можно игнорировать. Недвусмысленная развилка, не оставляющий выбора перекрёсток. Марк не был готов подвести черту — вот так глупо, на полу опостылевшей квартиры. Для такой смерти он был слишком горд или слишком робок. Больше месяца он отлёживался дома: бросил пить, вернулся к книгам, собрался подать на восстановление в университет. На звонки дружков по притону не отвечал, а вечно смеющуюся женщину — ах, бесовской её смех! — постарался забыть, хоть это было непросто. Однако что-то мешало ему вновь принять обеты единоличного распорядителя собственной судьбы. После разрыва с Олей, алкогольных и наркотических трипов, безумия последнего года, ему требовалось понять, куда и зачем он идёт. Прежняя жизнь рассыпалась калейдоскопом битого стекла, а новая никак себя не обозначила.

Наступил октябрь, засквозило скорой зимой. Марк знал, что большинство дней в году начинаются одинаково — звенит будильник. Нынешний вторник тоже был из этих. Ещё до рассвета Марк собрал рюкзак, натянул любимые походные ботинки и отправился на станцию электрички, доставившей его в деревню Михайловка, на 5081-й километр Транссиба. Рядом пролегал участок федеральной трассы «Сибирь». Марк вышел на обочину, осмотрелся. По его лицу скользнула улыбка — он приметил верстовой столб, торчащий прямо, как часовой. Марк кинул рюкзак под себя и привалился к приятно холодающему спине железу. Впереди лежала беспощадная гладь трассы. Ему только что стукнул двадцать один год.

2

Трасса заставила проявить выдержку, но затем вернула своё. Карбюраторный стук мотора, гнилые подкрылки, поеденные ржавчиной оригиналы советских дисков: у обочины тормознула чёрная «Волга», всем своим видом дававшая понять, что её владелец имеет богатый опыт постперестроечного выживания, отягощённого слабой социальной адаптивностью. За рулём — тёртый сибиряк неопределённого возраста; что-то между «не по годам сдал» и «хорошо сохранился».

Машет рукой, приглашая в салон. Марк заприметил буквы, выбитые на широкой жилистой ладони: УСТЛ. Расшифровка не заняла много времени. Паха — самоименование, намекавшее на приверженность хозяина «Волжанки» бравурно-нагловатому миру блатной романтики, — рассказал, что едет в Усть-Илимск. Марк не смог скрыть радости, ведь он прорывался почти туда же, а если точнее — в посёлок Тубинский, лежащий юго-восточнее города, где заросшие северным лесом сопки нисходили к тучным заливам Илимского водохранилища.

В Тубинском Марка ждал закадычный товарищ, представитель отмирающей породы сельской интеллигенции — стихийно начитанный, сильно пьющий молодой краевед, ноздрями, потом, шкурой отзывающийся на тяготы родной земли, но и рвущийся — трагически, отчаянно — за мертвящие рамки её патриархальных устоев. А ещё Тубинский, или Туба, как окрестили посёлок местные, — это растопленная до несуразных температур баня, запотевшие штофы кедровой самогонки, простор молчаливой тайги и время — порожнее, отведённое для неторопливого сбора разбредающихся мыслей. Чтобы попасть в Тубу, Марку требовалось *шагнуть* через две федеральные трассы и полузаброшенный лесовозный перевал — всего около тысячи вёрст дрянного асфальта и одичалых просек, щерящихся ранним снегом. С первой же попытки застопить водилу, едущего в те края, — невероятно! Марк сначала даже не поверил в такую пруху, но рассудил тут же, что дух трассы (олицетворявший некое высшее начало в подлунном мире) выказал ему своё благорасположение.

Разговор, как и всегда в дороге, обо всём и ни о чём. Паха поведал, что родом с Устилима, но большую часть года пропадает в Иркутске, на заработках, а сейчас мчит к семье отмечать день рождения дочки, не выдавшей отца с весны. Он доверительно сообщил, что уже пару лет гоняет без прав, и на встречный недоуменный вопрос ответил со смешком: «Да кому я, на хрен, нужен». Он вообще казался позитивным мужиком, без гнили, разве что немного неотёсанным, но это прохладное замечание Марк списывал на собственную изнеженность, так свойственную коренным жителям больших губернских городов (Марк замечал её за собой с раннего детства и относил к тем привитым средой чертам характера, побороть которые трудно, но всё же необходимо, как и прочие свидетельства вырождения образованного сословия, к каковому он, разумеется, причислял и себя).

Марк не раз убеждался, что в дороге нужно быть в меру суеверным. Вот и теперь — только-только он поверил в возможность одним невеликим усилием преодолеть весь путь, точка лясы в компании случайного собеседника (звонок жене: «Часам к десяти авось доберёмся, кисуля!»), как стук мотора стал жёстче, неприятней, прерывистей. Волжанка, по словам Пахи, «ни разу не подводившая», несколько раз судорожно дёрнулась, взбрыкнула задом, заглохла. Паха, глухо матерясь, полез под капот, минут двадцать шаманил и, наконец, мрачно заключил, что продолжать путь с таким рассинхронизмом нельзя. К счастью, впереди просматривалось кафе, а ещё дальше стелились дымы райцентра — города Зимы, где по одной из версий родился Евтушенко, воспевавший здешний край в выпрєнных, лишь отчасти правдивых строфах.

Кафе «Вдали от жён» держала семья азербайджанцев: едва тёплый растворимый кофе цвета детских испражнений, павшие легионы мух на спиралях лент под потолком, условно-прозрачные клеёнчатые скатерти, навек впитавшие кислую вонь осклизлой тряпки. Первым желанием Марка было незаметно улизнуть в туалет, а оттуда — на трассу, дабы продолжить путь в одиночку. С точки зрения голой автостопной науки это было разумнее всего, однако совесть шепнула, что бросать выручившего тебя человека не комильфо. Были и другие причины, вроде негласных дорожных заветов, гласящих, что сегодня кинешь ты, а завтра — тебя. Раз уж по пути, надо ехать вместе — это обременительно, зато честно. Где-то через час к кафе причалил главный азерб. За символическую мзду волжанка осталась ржаветь на заднем дворе в ожидании хозяина, обещавшего эвакуировать аппарат на обратном пути в Иркутск. Заместо прощания азерб бросил сквозь изгородь золотых коронок, что хорошо бы, мол, забрать до воскресенья, потому что намечается банкет и «бричку могут ненароком вскрыть по пьяни».

Было уже хорошо за полдень, когда незадачливые попутчики вернулись на трассу. И вновь обочина, гул ветра, поджидающие снега озимые и траурные венки берёз, зябнувшие под низким серым небом... Настроение Марка опустилось к минусовым отметкам, и немудрено — время безнадёжно упущено, а в паре с тобой неподходящим образом одетый чурбан, максимально далёкий от автостопных представлений о прекрасном. Да ещё и наколки эти... Некоторое время шли вдоль обочины, выбирая позицию; с последним здесь было не очень: длинный шоссейный отбойник пресекал возможные (и, как можно догадаться, без того редкие) гуманистические поползновения проезжающих мимо водителей. Марк остановился в небольшом кармане. Ограждение уходило вдаль на добрые две версты, поэтому он решил стопить прямо тут, на единственном годном участке.

В этот момент из-за поворота вылетел МАЗ — на изгибе дороги прицеп большегруза опасно качнуло, колёса выбили из обочины клуб пыли. Марк машинально поднял руку, особо ни на что не надеясь, но МАЗ, вопреки ожиданиям, резко от тормозился и залетел в карман, едва не размазав автостопщиков по отбойнику. Марк подбежал к распахнутой дверце кабины. С высоты свесился водитель-якут — сухой, лет под пятьдесят, с вытянутым хищным лицом. «Залезай, братуха! Дорога дальняя!» Лязгнул прицеп, завывло сцепление. МАЗ единым протяжным рывком втянулся в полосу, словно уходя от незримой погони. Якут, поминутно смоля красным «Максимом», отрывисто рассказал, что везёт в Братск гранитные плиты для лесопромышленного комбината, и что перегруз у него «тонн двадцать или двадцать пять, не мерил». Бочка с дымом, как Паха с ходу окрестил МАЗ, подсакивая на каждой колдобине, бухая колёсными осями. Грохот стоял невероятный, но ещё громче орал шансон. К торпеде приклеен ряд иконок, и тут же — несколько дам в negligé; лобовое стекло оторочено бахромой; за спинками кресел — покрытый ковром лежак.

Прошли Зиму, Куйтун. На подъезде к Тулуну начал пробрасывать снежок, а когда въехали в город, валило уже всю. Марку казалось, что он вернулся

в девяностые — впрочем, Тулун никогда их и не покидал. Направления вместо дорог, стаи суицидально бросающихся под колёса собак, замётённые снегом помойки и люди — безликие, нахохленные, лишённые речи, — им матюки давно заменили слова. Здесь воняло печной гарью и махновщиной. К выщербленной стене уютящейся у трассы руины была прибита агитка коммунистической партии: на разбитую колею взирает престарелый партийный вождь, кулак сжат в праведном гневе, снизу пущен слоган — белые одутловатые буквы на багряном фоне: «Ну и как вам живётся при капитализме?» Поодаль жизненным ответом переливается огнями ларёк «Курица гриль. Водка». А сверху — бетонной масти тяжело набухшее октябрьское небо.

Выезжая из города, упёрлись в ментов, обирающих дальнобоев на кольцевой развязке. Памятный контраст между грубостью фраз и нежными помпонами пара, тающими над мелко подрагивающей кабиной МАЗа. Якут отстегнул на лапу сколько полагается, после чего грузовик повернул в Братск — двести километров через тайгу и редкие пугливые деревни. Магнитола стенала хриплым баритоном Высоцкого: *Мой друг уехал в Магадан... не по этапу, не по этапу...* Снег пошёл гуще, сильнее. Марк вслушивался в разбойничий пересвист ветра — тот резвился меж дверными щелями, меж неплотно притёртыми резинками. *Ведь там сплошные лагеря... а в них убийцы, а в них убийцы...* Стемнело. Якут сосредоточенно и в то же время отрешённо глядел в летящее навстречу белёсое ничто. Зрачки его остекленели, взяв на мушку одну, только ими зримую точку за пределами кабины. *Ответит он: — Не верь молве. Их там не больше, чем в Москве...*

Гонка сквозь туннель разгулявшейся вьюги. МАЗ натужно ревел, пёр, разрывал ночь всполохами подслеповатых фар. Якут вытянул из пачки сигарету и ловко прикурил, не убирая рук с руля. Паха устало уговаривал телефон: «Да, сломался... еду... обязательно буду — где? — в тайге... ты, главное, не волнуйся, кисуля». Якут цокнул языком, приоткрыл форточку и отправил бычок в полёт — на мгновение снежистый звездопад подмигнул красным, как далёкий маяк, видимый с мачты преодолевающего шторм фрегата, — затем всё вернулось к прежней маскарадной пляске. Что-то неистовое билось в стёкла. Якут повернул голову и, глядя сквозь попутчиков, выговорил: «Страшно».

МАЗ рванул под горку, набирая скорость. Марка вдавило в сиденье. И вдруг истошный, петушиный крик Пахи: «Руля давай!!!» Марк метнул взгляд к лобовому: сжимающий тиски прямяк, частокол ёлок с упрямыми спинами, грузные шапки мокрого снега, всё контрастное и высвеченное, как негатив, а перед встающим на дыбы МАЗом — полоумный бурят (нелепые взмахи рук, выпученные бельма, раззявленный провал рта). Якут лёг на руль грудью, дико взвыла резина, кузов грохнул так, что у Марка заложило уши. В голове мелькнуло: «Что-то скажет Оля, когда узнает?» Кабина накренилась, но почти сразу вернулась на траекторию, обойдя живое препятствие по обочине и чудом избегнув полёта в кювет. Марк сглотнул. Паха утёр взмокший лоб. Якут осклабился и выкрутил магнитолу до предела: *С него довольно, с него довольно! Его не будет бить конвой, он добровольно, он — добровольно...*

Ближе к Братску снег утих, по небу побежали бульбы облаков, подсвеченные громадой ЛПК. Пологий серпантин уходил вниз, в черноту тайги. За немой пустотой вздымались сигары труб, исторгающие тугие, навзничь, по ветру стелющиеся канаты дыма — химическая фантасмагория, глядя на которую, Марк надолго выпал из реальности, потеряв связь с душными внутренностями кабины. В чувство его привёл окрик якута: «Приехали, братуха, мне здесь налево!» МАЗ срыгнул выхлоп, лязгнул прицепом и бросил многосуставчатое тело в мрак поворота. Попутчики остались одни. После короткого совещания было решено двигать на городской вокзал, чтобы переночевать в тепле и относительной безопасности.

Быстро холодало, пальцы коченели, в лёгкие врывался колючий воздух. И неслись, неслись, неслись по зеленоватому небу очистки облаков, отзываясь на крепнущий ветер, — он пробудился ото сна и теперь ворчал, точно дряхлый божок, отбывающий бессрочную ссылку в этом стылом краю. Он не желал отдавать своё и утверждал право первой ночи. Право судить и карать. Несравненное право нести смерть на иссохших крылах.

3

Марк проснулся среди множества блуждающих туда-сюда людей. Паха исчез — должно быть, рассудил, что поодиночке им будет проще, или же сумел отыскать тёмный железнодорожный перегон, подгадал расписание и забрался в идущий на север товарняк. Раньше в этих краях часто ездили с попутными поездами, затем, по мере учреждения вялой стабильности, рискованный метод вышел из оборота, однако аборигены вроде Пахи в случае надобности не брезговали привычками и ухватами, приобретёнными в лихие годы. Как бы то ни было, отныне Марк был предоставлен сам себе. Лихорадочная спешка ночного перегона отпустила, торопиться стало некуда, — товарищ в Тубе ждал гостей не раньше вечера следующего дня.

Наскоро перекусив в вокзальном буфете, Марк отправился к Братской ГЭС — одной из целей его путешествия. Добраться туда было не так-то просто: предстояло сделать приличный крюк, на время покинув усть-илимскую трассу. Меняя транспорт, Марк оставил за спиной посёлки Братска — разбросанные по тайге, отстающие один от другого на десятки вёрст и мало чем связанные, кроме, разве что, общей судьбы и равнодушия северных дорог. Чуть за полдень махнул через ГЭС по автомобильному большаку, ещё с час мерил шагами трескучие перелески и, наконец, оказался в искомом месте: склон в сосновых островах, у обрыва — ровная площадка, где к ГЭС можно подобраться почти вплотную, сохраняя обзор и на Ангару, лежащую в парах нижнего бьефа, и на само безразмерное туловище советского чуда света.

Крылья пепельного пара поднимались над незамерзающей в этом месте рекой, не в силах скрыть богатырское основание плотины. Марк видел бивни водосбросов, рогатые шлемы кранов, провалы морозной синевы над машинным залом. Нельзя было и вообразить, что в месте, отведённом для вековой спячки гиганта, некогда царствовала река — сильная, глубокая, своевольная...

и всё же ничтожная в сравнении с ним. Братская ГЭС: полтора километра в длину, больше сотни метров в высоту, миллионы тонн бетона, единая, застилающая горизонт твердь. Не имеющий равных монумент имперского величия — глядя на него, теряешь дыхание, он вырастает из Падунских порогов живым свидетельством необоримых сил, сокрытых в толщах земли. Братскую ГЭС славил Евтушенко, но теперь, увидав монстра воочию, Марк подумал, что здесь больше сгодились бы таланты Лени Рифеншталь. Воистину триумф воли, что-то циклопическое, сродни египетским пирамидам или затерянным в джунглях городам инков.

Братскую ГЭС возвели люди, но не она служила им, а они — ей, увековечив традицию, где народные массы в слитном, иногда искреннем, но чаще подневольном порыве приносят в жертву робкого человека, заливают в раствор его чаянья с тем чтобы, затвердев, чаянья эти стали фундаментом безмолвного атланта, под расправленными ступнями которого гнётся мир.

Тогда, ища дорогу к себе в образе молодого скитальца, Марк смотрел на ГЭС с первым неосознанным изумлением, боясь смежить веки. Он не думал о многом, захваченный эпической панорамой. Позже, будучи тридцатилетним побитым не раз и не два знатоком жизни (усталые глаза и седые росчерки висков), он вернётся к запечатлённым чувствам, остро пережитым им тогда, но не имевшим ещё формы и формулы. Он отыщет слова и скажет себе, что построить нечто столь невообразимое посреди океана тайги могла цивилизация, заглянувшая в те области пространства, где царят вакуум и первородная тьма; цивилизация не сверх-, но постчеловеческая, самим фактом существования упразднившая отживший термин «человек».

Он скажет себе, что такая цивилизация порождает специфичный образ государственной мысли с характерным стремлением к газообразному расширению. Цивилизация легионов, прокладывающих дороги, но лишь затем, чтобы по ним маршировали победоносные когорты с орлом, реющим над облачённым в волчью шкуру центурионом. Цивилизация ракетчиков, изобретателей, прогрессоров — словом, людей, отвергающих праздность во имя невозможного. Социум, находящий смысл не внутри, но вовне, — где лучшие таланты служат, воюют и умирают за пределами родины или на её дальних рубежах в ходе очередного — героического, преодолевающего, утопического — завоевания. Грибоедов, этот блестящий ум своего времени, находит смерть в Персии в ходе мелкого религиозного мятежа; декабристы — совесть сословия — искупают грехи отечества в Сибири и Закавказье; Суворов ведёт полки через альпийские перевалы, а Королёв строит ракеты, доставляющие на орбиту смертоносное оружие, отмеченное алой звездой легиона, но и человека — первое дышащее существо в лишённой атмосферы Вселенной, которая, как говорят, тоже бесконечно расширяется, пытаясь нагнать собственную тень.

Он скажет себе, что только на рубеже у этой цивилизации есть оправдание, только на лезвии бритвы её слава на миг заслоняет её же убожество. Без рубежа, войны, экспансии — нет ничего, лишь гадкая нищета, воровство, пьянь, тупоумие, чеховский овраг и его же палата номер шесть. Осознавая это, — неизменно вперёд, к новым вершинам, повергая ниц земли, народы, сам Космос.

А вернуться назад, окинуть взглядом уже пройденное — страшно. Там поджидает дремотное безумие психбольницы и трясина бюрократического ада казённой канцелярии. И ежели взглянешь, преодолевая инстинкт, — ужаснёшься виду голых пустырей, осваивать которые не будет никто и никогда, ведь захватывали их единственно ради самого процесса. Жуткая клаустрофобия рождённых на этих пустырях одолевается роковым стремлением покинуть их, присоединив ещё несколько подобных. Ну же, бегом, ни о чём не думая! Остановись — всё исчезнет. Падёт орёл, рассыплется брусчатка дороги, оголится земля, покрытая жёлтым паром листвы, откроются громады площадей, где казнили людей до рассвета.

И разве не правы строители Братской ГЭС, выбравшие именно это место посреди таёжного ничего? Здесь сошлись постчеловеческие мотивы тысячелетней цивилизации завоевателей и Сибирь — безраздельная владычица дочеловеческих тысячемильных пространств. Подобное к подобному.

Обо всём этом Марк подумает годы спустя, погружённый в мрак одиноких зимних ночей, но тогда, перед громадой ГЭС, в голове у него крутились совсем другие мысли. Он понял вдруг про себя что-то короткое, но самое главное — то, ради чего и затевалась его авантюрная поездка. Душа в нём заговорила, заплакала, очнувшись от обманчиво-уютного дыхания Морфея, точно ребёнок, хлопающий заспанными глазами ввиду окрика сурового родителя. Он был рождён, чтобы бежать, как в той песне группы «Чиж», — вот правда, которую следовало понять про себя с самого начала. И он побежал — Форрест Гамп, взламывающий ненавистные скобы ножных колодок...

А потом как-то сразу наступил поздний вечер, и Марк оказался на кольцевой развязке в истоке усть-илимского тракта. Промозглая ветреная полутьма тревожно потрескивала, обозначая близкую линию ЛЭП. Ровный плац, обжитое приграничье, последние фонари перед затяжным виражом дороги — идеальное место для ночного автостопа. Нужно было остановиться, взять паузу, однако Марк был над собой не властен. Ноги несли его вперёд. Одежда взмокла, по желобку позвоночника заструился горячий ручей. Топ-топ — алмазные когти ботинок хрустят по грунту обочины. Топ-топ — бьётся строптивое сердце.

Топ-топ-топ — бурое небо насупилось, повалил медленный снег. Влажные комья упали густо, с хлопающим шелестом. Вскоре всё стало белым, однородным. На бортах трассы начали собираться первые сугробы. С северо-востока потянуло зимой — Марк шёл именно туда. Стоянка для фур, блёклая лампа над скрипучей дверью, звон невольничьей цепи, утробный псовый лай, гомон загородного кабака. Мимо, всё мимо. Редкие вспышки фар возникали и безучастно гасли — водители упорно не замечали топающего по обочине парня в надвинутой на глаза шапке. Марк их не корил: места здесь дикие, не ровён час нарвёшься на беглого или уголовного. Он не поднимал руку и никак себя не обозначал, ему хотелось просто идти, без остановки, до рассвета, и дальше, дальше.

Топ-топ — под ногами покрытое наледью полотно. Выбоины полны густеющей снеговой жижи, края тронуты ледком. Ёлки подступили к дороге,

свесили седые головы — ещё чуть-чуть и встретятся, сомкнутся, и больше никаких разлук, только вечный покой под баснословным саваном. Отдалился и стих треск проводов. Ветер что-то пропел засыпающим лесным обитателям. Он тоже устал, этот глашатай забытых царств, свидетель их могущества и упадка. Он не злился больше, нет.

Топ — небо чернеет, далёкое и непроницаемое. Тучи разошлись, но звёзд не видно. Марк замедлил шаг, чувствуя близящееся нечто. Это не ветер, нет... Что-то большое, пышущее — гружёный лесовоз на обратном пути с нулевого километра Богучанского зимника. Взбирается на тягун, хрипя, из последних сил. Марк слушал, зная, что увидит ещё не скоро. Сперва лохмотья облаков вспыхнули далёким пожаром — лесовоз лупил фарами прямо в небо. Затем лучи-указки опустились, высветив неровный строй ёлок. Рёв нарастал, и всё ближе пронзительный белый свет. Снег пьяно метнулся, стараясь ускользнуть от рентгеновского взора. Лесовоз выполз на взгорье, начал спуск к городу. Фары били фронтально, слепя Марка, он не видел ничего, кроме огромных немигающих этих глаз. В сознании возник прежний отстранённый вопрос: «Что-то скажет Оля?» Нет, опять ничего. Лесовоз прогрохотал мимо и растворился в ночи — та сомкнулась, как занавес после спектакля.

Топ... подошвы ботинок вросли в асфальт. Марк прикрыл глаза, отдыхая. Он видел сон, будто нашёл в семейном архиве старое фото: бабушка вся в белом сидит рядом со Сталиным — тоже в белом. Весна, перед лицами медленно плывут парашюты одуванчиков. Косые медовые лучи на френче грузина. Бабушке лет сорок. Иосифу Виссарионовичу под полтинник. Конечно, такого не могло быть, но Марк видел сцену воочию. Снилось ещё, что он едет куда-то — вокруг зелёное пространство. Акварельный этюд. Середина мая, мокрый снег, цветущие ветки яблонь гнутся под снежной шалью. Он едет быстро, хотя дороги не видно. Ещё снились женщины — или только одна? — черты истаивали. Водные брызги, улыбка, взмах платка, щемящее чувство, и знал только, что завтра лето...

Марк несколько раз моргнул, встряхнулся всем телом, как застоявшийся жеребец, прогоняя остатки незваных грёз. Ну вот они и прошли, его несколько минут наедине с безотчётным. Впереди, как и прежде, лежала бриллиантовая дорога, и — надо глядеть правде в глаза — будет на ней ещё всякое: с ним и с другими. Хоть и бежишь вперёд, но пока всего-навсего Братск, и ох как далеко ещё до Тубы. Ох, как далеко.

Николай Верёвочкин

Хижина в ореховой роще

Рассказ

Лишь жить в себе самом умей.

Ф.И. Тютчев

В горы нельзя ходить одному.

В горах нельзя сходить с тропы.

Когда собираешься в горы, кто-то должен знать, куда ты идёшь, по какому маршруту и когда намерен вернуться.

Никому не советую нарушать эти правила. Безопасных гор не бывает.

Но я хожу в горы один, без троп, и никому не сообщаю, где меня нужно искать, если, допустим, попаду под камнепад, лавину или, банально оступившись, сломаю ногу.

Причина моей беспечности — фотоохота. Хотя, сказать честно, «моей судьбою очень никто не озабочен».

Меня с детства будоражил азарт охоты. Но первое же убийство живого существа навсегда отвратило меня от ружья. Крик зайца-беляка, его агония преследуют меня в самых страшных снах. Во сне я убиваю не зайца, а беззащитного ребёнка. А он смотрит на меня большими непонимающими глазами. И мне кричат: «Что смотришь? Добей его!» Вы когда-нибудь добивали подранка? Зачем мне нужно было убивать зайца, безобидное, живущее в постоянном страхе, всеми преследуемое существо? Я умирал от голода? Нет. Я, сытый, в меру упитанный мерзавец, убил его ради удовольствия убивать. Ужасны муки раскаяния, когда уже ничего нельзя исправить. Но ещё ужаснее увидеть себя таким, какой ты есть на самом деле.

Верёвочкин Николай Николаевич — прозаик. Родился в 1949 году в селе Мареевка (Северо-Казахстанская область, Казахская ССР). Окончил Казахский государственный университет. Печатается в журнале «Дружба народов» с 2006 года. Автор семи книг прозы. Рассказы из первой книги («Древоград», 1994) вошли в хрестоматию «Русская словесность» для пятого класса казахстанских школ. Лауреат конкурсов СОРОСа в номинациях «Современная пьеса» («Ковчег-транзит, или Время строить лодку») и «Современный роман» («Зуб мамонта»). Лауреат «Русской премии» за 2006 год (повесть «Человек без имени»). Живёт в Алма-Ате.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 10.

Полагаю, что любительская охота в наше время ничем не отличается от каннибализма — занятия позорного, отвратительного. Мало того, что мы убиваем без особых на то причин, но ещё и вытесняем зверьё в глухие, сокращающиеся шагреновой кожей клочки живой природы. Да и там не даём покоя.

Но запертый в клетку инстинкт хищника, азарт охоты тревожили меня, шевелились в подсознании сумрачным налимом, требовали выхода.

Однажды приятель, горнолыжник, дал мне свой фотоаппарат и попросил запечатлеть его подвиг — сфотографировать в момент, когда он будет прыгать с наддува на дикий склон. Я занял позицию под обрывом, дождался предупреждающего крика, увидел в видоискателе приятеля, взлетевшего над вершинами елей, инверсионный след снежной пыли за ним.

Затвор щёлкнул, и я понял — это моё.

С тех пор стреляю по птицам и зверям, где только можно. При этом меня не волнует, открыт ли охотничий сезон, можно ли охотиться в заповедных местах. Выстрел из фоторужья. Трофей добыт, а сама добыча жива и здорова. Будь это лось или медведь — никаких проблем с транспортированием туши. И, слава Богу, мне ни разу не доводилось добивать подранков.

Во времена, когда я пристрастился к фотоохоте, даже фантасты не догадывались о цифровой камере. Фотоаппарат с катушкой на тридцать шесть кадров, длиннофокусный объектив. Запах реактивов для проявления и закрепления плёнок и фотокарточек, красный свет фонаря, жёлтые пальцы от растворов. Конечно, я мог бы облегчить себе жизнь и перейти на цифру. Но это всё равно что охотиться на уток со спаренным пулемётом.

Я охочусь не только без крови, но и стараюсь вообще не тревожить животных.

Пытаюсь быть невидимкой. Иногда это удаётся.

Выследил. Подкрался. Снял. Незаметно исчез.

Только щелчок затвора выдаёт моё присутствие.

Моя страсть научила передвигаться скрытно, бесшумно, избегая истоптанных троп, всё дальше уводила в горы.

Когда просто идёшь по склонам, покрытым елями, — это красиво и, да, полезно для здоровья. Но бессмысленно. Когда же бесшумно крадёшься, стараясь быть невидимкой, прислушиваясь к звукам, высматривая живых существ, появляются и смысл, и азарт.

Знаете, порой не наигравшийся взрослый дядя продлевает беззаботное детство, прикрываясь детьми и собакой. И сторонний наблюдатель, видя, с какой страстью предаётся легкомысленным занятиям сосед, благожелательно отмечает про себя: хороший отец, хороший хозяин. И, любезно раскланиваясь, приподнимает шляпу. Я тоже прикрываю камерой с длиннофокусным объективом порочный азарт охоты и предосудительную склонность к бродяжничеству.

С фотоаппаратом к животному нужно подкрасться значительно ближе, чем на расстояние выстрела из ружья. К тому же с ружьём обращаться проще: снял с плеча, взвёл курок, прицелился, задержал дыхание, выстрелил. А для того, чтобы сделать качественный снимок, необходимо установить выдержку,

ориентируясь на освещённость места съёмки, навести на резкость. И всё это в доли секунды. К тому же к объекту съёмки желательно подойти со стороны солнца, когда впереди тебя крадётся собственная тень, выдавая. А, подкравшись, замереть в неудобной позе, ждать динамичного кадра: движения, выразительной позы, действия. Передать в одном кадре характер животного, его образ жизни. А для этого приходится подолгу держать на весу камеру с тяжёлым объективом, усилием воли сдерживая дыхание и дрожь в руках. Кому интересно в тысячный раз видеть белку, навечно застывшую в одной позе на еловой ветке?

Фотоохотник может легко стать просто охотником, но не каждому охотнику под силу стать фотоохотником. Намного сложнее. Это же не в студии на паспорт снимать: внимание, не моргайте, сейчас вылетит птичка! И птичка обязательно вылетит.

Звери не любят, когда за ними подглядывают. Это не фотомодели, позировать не будут. Один качественный снимок на плёнку — отличный результат.

Крадёшься, и сам становишься зверем. Ты уже не турист, который смотрит себе под ноги и ничего не замечает вокруг, кроме пяток впереди идущего, а снежный человек. Скрытное существо, не позволяющее наблюдать за собой зевакам. Все чувства обостряются в тебе: и зрение, и слух, и нюх. И ещё одно, которому нет подходящего названия. Что-то вроде предчувствия. Интуиции. Услышишь человеческий голос, и притаишься, замрёшь. Не хочется встречаться с людьми. А хочется быть невидимкой. Звуки, издаваемые самоуверенными существами всё ближе, ближе, и ты сливаешься с фоном, чувствуешь себя обитателем леса, самым лесом. Голоса, смех совсем рядом. На тебя неотвратимо надвигается зло, абсолютное зло. Прижимаешься к стволу и стараешься не дышать. Хоть бы не заметили, прошли мимо. Голоса постепенно удаляются, растворяются в естественных звуках леса. Тишина. Какое облегчение. И тебе стыдно перед самым лесом за пережитый ими страх. Ты — человек, существо, порождённое природой и предавшее природу. Здесь тебе не рады. И как бы ты ни притворялся своим, лес тебе не поверит, не доверит своих тайн.

Человек не царь природы. Он самозванец. Узурпатор. У природы не может быть царя. Быть царём природы — такое же святотатство, как быть начальником Создателя. Но человек, мыслящая обезьяна, настаивает на своём праве переделывать природу под свои мелочные потребности, редактировать её законы. Самодур скорее погубит планету, чем откажется от самовольно захваченного трона. Чего ещё ожидать от существа, предки которого не гнушались каннибализмом? Чего ожидать от существа, неустанно совершенствующего способы массового убийства себе подобных? Пожирающего братьев своих меньших, вырубаящего леса, опустынивающего степи, приспособившего реки и моря под канализацию, а на досуге любящего порассуждать о высоком предназначении человека. О гуманизме. О правах и свободах. О любви.

И вот я, раскаивающийся блудный сын, *мыслящий тростник*, понунив голову, возвращаюсь к своей прародительнице Природе. Но она не верит моему раскаянию, не прощает моих грехов, отталкивает от себя. И правильно делает. Я, в меру образованная, испорченная цивилизацией обезьяна, напаявшая

на себя корону самомнения, уже никогда не смогу стать её частью. Точка невозврата пройдена.

Нет, я не мизантроп. Напротив, я жалею людей. Как не жалеть? Мы — тупиковая ветвь. И в тупике нас ничего хорошего не ждёт. Но я ревную собратьев к горам. Чем меньше людей любят горы, тем горы чище.

Образ жизни каждого человека имеет свою философию. Моя такая. Да, оскорбительная для собратьев и, скорее всего, ошибочная. Но я и не пророчествую на площадях, не навязываю её другим. Что за забота опадающему листу думать о судьбе дерева? Эта философия для собственного потребления.

К тому же меня можно понять: праздношатающиеся мешают фотоохоте, распугивая дичь.

Труднее всего фотоохота в горах. Особенно в их лесистой зоне. Это почти невозможно — бесшумно карабкаться по крутому склону и одновременно выглядывать фотодобычу. Только собственное дыхание да шорох подошв и слышишь. Кажется, тысячи глаз к тебе приглядываются, тысячи ушей прислушиваются, тысячи носов принимают, а ты никого не замечаешь.

Была у меня мечта — сфотографировать барса. Создать фотоповесть о жизни этого скрытного животного, но я благоразумно начал с пищухи. Первый объект моей фотоохоты похож на коротконового грызуна вроде морской свинки или хомячка, но на самом деле он — горный заяц. Подкараулить пищуху просто. Главное — набраться терпения. И вскоре ты уже будешь показывать своим знакомым снимки этих забавных зверьков с травинками в зубах, прячущихся между мшистыми валунами.

Однажды я встретил в лесу выходящее из сиреневого тумана существо, покрытое белой шерстью. Четвероногий рогатый одуванчик. Сдерживая сердцебиение, отснял это чудо, не сразу узнав в нём сплошь покрытую инеем корову обыкновенную. Снежная корова — мой пока что лучший трофей.

С другими животными сложнее. Ты стараешься стать невидимкой, они стараются стать невидимками. И кто кого переневидимит. К тому же у них природный камуфляж. Они сливаются с фоном. Подкрадываешься-подкрадываешься по часу к какой-нибудь синей птахе, а в последний момент то камешек из-под ноги покатится, то веточка хрустнет. Поэтому я люблю ветер, шорох трав, листьев, хвои — естественные звуки, заглушающие мои шаги. Но ветер в горах сопряжён с другими стихийными явлениями: туманом, дождём, снегом. Туман в горах — это неожиданно налетевшее облако, которое поглощает тебя, горы и делает невозможной фотоохоту.

Может быть, у кого-то сложилось впечатление, что я одинокий затравленный волк, избегающий общения с себе подобными. Это не так. В городе у меня было много друзей. Но они были нормальными, серьёзными людьми и не разделяли мою страсть к горному бродяжничеству. С собой в горы я брал других спутников. Все они — покойники. В моём рюкзаке всегда лежал либо томик созвучного по настроению поэта, либо книга близкого по духу философа. Ничего другого в горах не читается.

Где-нибудь у верхней границы леса, под елью или на высоте эдельвейсов в тени жандарма расстелешь каремат возле дикого нарцисса, расшнуруешь ботинки, подложишь под голову рюкзак и, растянувшись во весь рост, раскроешь книгу. Истома расслабленного после длительной нагрузки тела, свежая голова. Наркотический воздух гор, настоянный на целебных травах альпийских лугов и снега ледников. Кстати, почему альпийских? Тянь-Шанских! О братья по крови и лени, какое это наслаждение — пить строку за строкой в неспешном темпе пролетающих над и под тобой полуденных облаков. А отрываясь от книги, смотреть, как струится пар от твоих обнажённых ступней, из кратеров твоих горных башмаков, поднимаясь к небесам.

Всё во мне, и я во всём. Я уже не просто отдельно взятый человек, жизнь которого хрупка, коротка и бессмысленна. Я — бессмертное человечество, тайная цель существования которого непременно откроется в будущем. И, может быть, не таком уж далёком. Параллельно тексту летними облаками плывут собственные мысли. И тают. Но не вздумай записать их. Тотчас же непреодолимое, раздражающее косноязычие овладевает тобой, а рука деревенеет, превращается в высохшую корявую ветку. Я и не пытаюсь. Пусть тают.

Ну, бог с ней, с фотоохотой. Не о том я хотел рассказать.

Фотоохота! Какие пустяки. Мало ли у кого какое хобби. Давайте познакомимся. Зовут меня... Но что вам скажет моё имя? То же, что цифры, вытатуированные на руке заключённого концлагеря. Ничего, кроме того, что он заключённый, виноватый только в том, что не от тех родителей и не в то время появился на свет. Что ещё могу сказать о себе? Я хотел стать... Впрочем, какая разница, кем я хотел стать, если не стал? Мало ли кто и кем хотел стать. Я печатник на полиграфкомбинате. Это не мой выбор. Воля обстоятельств. Много ли скажет обо мне моя профессия как о человеке? Что расскажут обо мне печатаемые мной газеты, журналы, брошюры, рекламные буклеты, книги? Ничего. Что дают, то и печатаю. У меня нет выбора, что печатать. Я не человек. Я функция. Как и большинство людей на планете. И это делает меня циником: мне всё равно, что печатать. Мне не всё равно, сколько мне за это платят. Люди, недовольные своей работой, всегда недовольны и своей зарплатой. Я мог бы жить в любой стране, стать кем угодно — сантехником, настройщиком музыкальных инструментов, рекламным агентом, служащим банка, — но что бы от этого изменилось? Разве что зарплата. Я — функция. Мне позволено быть человеком только в свободное от работы время. Суббота, воскресенье, праздничные дни. Если, конечно, нет сверхурочной работы. Я вправе тратить крохи своего свободного времени на что угодно. Почему бы не на фотоохоту?

Когда ходишь без троп, много чего неожиданного встречаешь.

То на грибное место наткнёшься, то на малинник, то на заросли гигантского шиповника. Знаю я уголок, где рыжики растут — ступить некуда. И знаете что? Никому не расскажу, как пройти к нему. Не хочу, чтобы в горах сокращались места, где не ступала нога человека. Сто раз говорил и ещё раз повторю: рай — это место, куда не ступала нога человека. Моя нога не в счёт. Себя-то я давно за нормального человека не считаю.

На одной из фотоохот, преследуя лесного хищника из отряда ястребиных, с ловкостью слаломиста провиражировавшего мимо меня среди сосен, я наткнулся на ореховую рощу. Открытие обрадовало и озадачило: как она в горах среди елей появилась — загадка. Может быть, когда-то давно занесло в эту глушь по служебной надобности какого-нибудь исследователя белых пятен и обронил он грецкий орешек?

Дело было в сентябре. И по бестропью, по тому, как густо лежали на земле орехи, нетрудно было догадаться, что, кроме меня и белок, об этом месте мало кто знает.

Я набрал полный рюкзак грецких орехов. Поднял и понял, что не смогу унести. Путь предстоял долгий. Через три перевала.

Высыпаю из рюкзака орехи, и в этот момент ниже по склону за ореховой рощей вижу яблони вперемежку с урючинами. Диким абрикосом. Яблоневые стволы в обхват взрослого человека. Под яблонями густо разрослись кусты малины. В просвете между деревьями угадывается крыша хижины. Не сразу я увидел её. Из листвы, год за годом осыпавшей её, образовался пласт земли, и в этом перегное росли тоненькие пруттики самосеянцев. Грустной красотой, печалью одиночества, горьким привкусом отрешённости повеяло от заброшенного жилища. Я невольно подумал о человеке, обустроившем и покинувшем этот горный приют.

Но всё это — поэзия. Более практичная мысль пришла мне в голову. Беличья мысль. Я решил собрать орехи и спрятать их здесь. А затем время от времени навещать этот затерянный уголок и постепенно опустошать запасы.

Я спустился к хижине. Сад, разбитый на естественной террасе, был усеян гниющими плодами урюка и яблонь. Воздух насыщен густым винным запахом брожения. Вход в хижину зарос малиной.

Фундамент частью состоял из естественного каменного выступа, покрытого узором жёлто-пепельного лишайника, частью сложен из валунов и плиточных камней, скреплённых глиной. Продолжением части основания был обрыв. Хижина стояла на краю отвесной скалы. Чуден замысел хозяина жилища, строители средневековых крепостей одобрили бы его. Оглянувшись и поразмыслив, я пришёл к выводу, что другого места для постройки и не было. Кроме террасы. Но она занята яблонями. Вероятно, устроитель этого райского сада сначала посадил яблони, а затем уж задумался о крове.

К дверям прибит лошадиный череп, он покрылся патиной.

Произведение искусства. Великая художница природа в соавторстве со временем хорошо поработала над ним.

Впрочем, как и над всем этим заброшенным местом.

Пока я любовался черепом, из глаза его пулей вылетела изумрудно-зелёная птица размером с мухоловку. Дыхание перехватило от неожиданности, испуга и восторга. Как бы чья-то душа выпорхнула из хижины. И горы содрогнулись вместе со мной от лёгкого ветерка её крылышек.

Если здесь её гнездо, сделаю свой лучший снимок, подумал я, надо лишь найти место для засады, заранее навести резкость и немного поскучать.

Но что это за хижина и как она здесь появилась? Возможно, жилище отшельника. Или скит старовера. Возможно, скрад беглого преступника. А то и самовольно построенная дача. Не исключено, что обитал здесь местный робинзон, человек без определённого места жительства.

Во всяком случае, хозяин давно не появлялся в этих местах. Состарился и уже не мог осилить путь до этого уединённого места. Может быть, умер. Может быть, именно здесь. Вот войду в хижину, а за столом сидит скелет с орехоколом в руке, по колено в скорлупе. А на безглазом черепе — истлевшая соломенная шляпа.

Далеко внизу шумел невидимый ручей, над хижинкой с гипнотической силой внушения проплывали облака, излучая покой. Тревожный покой осеннего дня, чреватого неприятностями. Я был один на затерянной в мироздании планете.

Потянул на себя дверную ручку, сделанную из бараньего рога. Дверь не поддавалась. Обследовав её, обнаружил кожаный шнурок. Точнее, узел, закрывающий отверстие. Потянул. Щёлкнула щеколда. Дверь отворилась сама.

Сумрачная внутренность хижины встретила меня застоявшимся запахом лекарств, который источали истлевшие травы, собранные, возможно, в прошлом столетии.

Примитивное окно без рамы. Просто кусок стекла в стене. Размером с форточку. Собственно, это и была форточка, фрагмент окна. На подоконнике засохший шершень.

Я растворил окно-форточку и выглянул наружу. Единственное окно выходило на обрыв.

Подо мной не было ничего. Хижина висела над пустотой. Скала, на которой стояла она, не была строго отвесной. У неё был отрицательный уклон. Мне показалось, что моя любопытная голова нарушила хрупкое равновесие, и хижина медленно кренится в пропасть. Я отшатнулся и некоторое время стоял, широко расставив ноги, как моряк на палубе во время шторма. Меня раскачивала паника собственного сердца.

Успокоившись, я продолжил осмотр.

Примитивная печь, сложенная частью из плоских, расслоившихся камней, частью из обожжённых кирпичей.

Скамья-лежанка у глухой стены. На одного человека. Никаких постельных принадлежностей, если не считать ошкуренной чурки в изголовье. Пахнет осинкой. Хозяин хижины был воспитан в спартанском духе.

Небольшой стол у окна.

На столе две консервные банки из-под тушёнки производства Петропавловского мясокомбината. Дата изготовления — 17 августа 1949 года. Срок годности... Однако! Но всё равно тушёная говядина не сохранилась бы до сегодняшнего дня. Не вечная мерзлота. В одной банке — оплывший огарок свечи, в другой — кухонный нож, ложка, вилка. И карандаш.

Под банкой со свечой — пожелтевший листок в клеточку. Записка: «Добро пожаловать, добрый человек! Располагайся, отдыхай. Будешь уходить, не забудь прикрыть дверь».

Хозяин давно покинул хижину, скорее всего, его уже и среди живых нет, а приглашение осталось. Приятно быть добрым человеком, которому доверяют, приглашают отдохнуть. Хотя бы и с того света.

Книга. Я смахнул пыль с обложки. «Лекарственные растения». Так, выходные данные. Сдано в набор 24 сентября 1950 года... Тираж 50.000... цена 1 руб... Западно-сибирское книжное издательство... Новосибирск.

В хижине было всё необходимое для жизни. И ничего лишнего. Никаких предметов роскоши. Топорно, прочно, соразмерно. Рассчитано на одного человека. Со стен свисают сухие пучки трав. Около печки висит на гвозде выцветший брезентовый плащ. Под ним — хорошо поношенные кирзовые сапоги с потёртостями на изгибах голенищ. И их время сделало произведением искусства. Было в них что-то одушевлённое, грустное. Посмотришь, и сердце сжимается от сочувствия. Ждут хозяина. Сколько лет длится это ожидание?

Торчит из стены не занятый гвоздь. Что вешал на него хозяин? Ружьё? Рюкзак? Бинобль?

Скамья-лежанка похожа на спальное место в купейном вагоне. Я приподнял крышку, и под ней обнаружилась ниша. Удивлённая мышка пропищала сигнал тревоги и юркнула в щель. Кроме мышки на дне ниши я увидел: топор с прямым, без затей, топоричем, выструганном на месте, самодельная ножовка для великана, сделанная из полотна двуручной пилы, две лопаты — штыковая и совковая, корзина из неошкуранных ивовых прутьев. Сплетена грубо, коряво, надёжно, красиво. Мастер был плохим ремесленником с хорошо развитым эстетическим чувством.

Я ожидал увидеть главный инструмент садовода — секатор. Но его не было. Видимо, хозяин сада позволял расти яблоням, как им заблагорассудится.

Я повесил ножовку на свободный гвоздь, топор и лопаты приставил к стене между печью и сапогами. Сапоги, заполучив соседей, повеселели.

Взял корзину и вышел из хижины.

Потратив некоторое время, всклень заполнил орехами нишу под лежанкой.

До чего же приятен этот дробный, раскатистый перестук высыпаемых из корзины грецких орехов.

То-то удивится мышка. Надеюсь, запасов на зиму хватит для двоих?

Когда я собрался в обратный путь, пошёл дождь. Даже днём горы и дождь плохое сочетание, а приближалась ночь. Было бы преувеличением назвать меня здравомыслящим человеком, но и самоубийцей я не был. Надо оставаться в хижине, стоящей на краю бездны.

Я лёг на жёсткое ложе и подложил под голову осиновую чурку. Самое приятное состояние, которое может испытать человек, — не любовь, не опьянение, не радость победы. Самое приятное — дрёма, когда балансируешь на тонкой паутинке между сном и явью, между двумя мирами — бытием и небытием. Это божественное состояние — одновременно существовать в двух взаимоисключающих мирах одной, объединяющей эти миры душой. И сон, и явь бывают страшны, а дрёма — всегда умиротворяющий покой, слияние с вечностью. Приятно засыпать под ровный шорох дождя в палатке. Но ещё слаще спится в сухой заброшенной хижине. Спишь — и снится обложной

дождь из орехов. Стучат орехи по мшистой крыше, отскакивают, скатываются, падают в бездну. Чем глуше место, чем темнее ночь, чем дальше от людей, тем защищённее и спокойнее себя чувствуешь. Никогда мне так хорошо не спалось, как в тот раз на краю обрыва.

Потом я много раз приходил в хижину, каждый раз, читая записку, благодарил неизвестного хозяина за приют и радушие. И за орехи, конечно. У этих горных орехов был особый вкус. Так, во всяком случае, говорили все, кого я угощал. «Где взял?» — спрашивали меня. Но какой же рыбак выдаёт клёвые места? Хороший человек угостил, отвечал я. И это было правдой.

Опасаясь натоптать тропу и выдать моё убежище, всякий раз я приходил к хижине другой дорогой.

Я сказал «убежище» не из поэтических соображений.

Однажды, сильно обиженный близким человеком, пришёл я сюда с пасмурной душой в суицидальном настроении. День за днём раскачивался в гамаке, натянутом между яблонь, и мрачно смотрел на акулий плавник заснеженного пика, переживая измену. В душе моей хмельными дрожжами бродили мстительные мысли. Ярость, гнев и отчаяние бурлили во мне крепким напитком, яд воображения пропитывал утомлённый бессонницей мозг. Так я лежал без движения трое суток, время от времени высказывая Акульему пiku всё, что думаю о жизни. Ночью меня с ужасом слушали звёзды. И дрожали. Пик выдержал мои откровения, но звёзды иногда падали. Они падали, а я принципиально не загадывал желаний. Не было у меня никаких желаний. Вот так и буду лежать, пока не иссохну до состояния мумии. На третий день я машинально дотянулся до яблока, свисающего с ближайшей ветки, и в ярости съел его. На пятый день спустился к роднику. Начиная с шестого, я время от времени покидал гамак, чтобы запастись яблоками, орехами и водой. На десятый день дождь загнал меня в хижину.

И случилось со мной в ту дождливую ночь то, чего случиться не могло. Я почувствовал присутствие хозяина хижины. Запахами трав, собранными полвека назад, беспричинными шорохами и скрипами ветхого строения, самым воздухом его душа прохладным сквозняком вернулась в горное убежище и соприкоснулась с моей. Наши родственные души беседовали о радостях одиночества, самая главная из которых — невозможность измены.

На утро я почувствовал себя хозяином хижины, частью этих гор, ореховой рощи, старого яблоневого сада. И первое, что я подумал: надо бы перекрыть крышу.

Обида прошла, как простуда. Я не чувствовал её. Я ощутил радость выздоровления.

Ты не первый, кого предали. Если ты не можешь жить без предавшего тебя, прости. Если не можешь простить, забудь. Поступи с обидой как с занозой: вытащи и выброси. Заживёт. Скорее, чем ты думаешь.

Не раз я приходил в эту хижину на краю бездны за исцелением.

Особенно часто во времена распада большой страны, когда мои друзья, не попрощавшись, уезжали в Израиль, Германию, Канаду, Америку. Они бросали меня, как старую хижину в горах.

Каждый раз я прятался в своё убежище и лечил одиночество одиночеством.

Угнетающее одиночество в многолюдстве большого города исцеляющим одиночеством в горах.

Особенно меня расстроил внезапный отъезд в Германию моего старого приятеля, кадрового офицера. Подполковника. Правда, был он человеком не совсем военным. Пожарный. Когда-то под его водительством на бескорыстных началах создавался наш самодеятельный клуб горнолыжников «Лавина», обустраивалась трасса, монтировался бугельный подъёмник, очищался от валунов и топтался склон. В жертву приносилось самое дорогое, что у нас было. Наши отпуска. Мы охрипли от «Дубинушки», когда три дня кряду волокли через перевал дизельный двигатель. А подполковник, тогда капитан, сорвал голос. Несколько лет мы не виделись и случайно столкнулись на вокзале в последний час его пребывания в городе. Он объяснил своё решение «зовом свободного мира» и тем, что ему надоело, когда все кому не лень «вытирают о него ноги». Интересно, в каком звании позволительно вытирать ноги о подполковника?

Милый огнеборец, где ты видел этот свободный мир? И не принял ли ты манок охотника за трубный рёв оленя в прекрасную пору случки? Я спросил, в чём же заключается для него свобода? Он долго говорил, горячась и проклиная прошлое. Нашу бескорыстную молодость. Но всё, что я понял из его путаных, косноязычных объяснений, свобода — это синоним жратвы в самом широком смысле этого слова. Жратвы, халявы и комфорта. Диктор объявил о скором отправлении поезда, и мы поспешно распрощались. «Не пожалеешь?» — спросил я. «О чём здесь жалеть, кроме гор?» — ответил он желчно и посмотрел в их сторону. Но горы закрывало здание вокзала. Подполковник обещал написать, как устроится на новом месте. Но не написал. Через общих знакомых узнал, что у подполковника всё хорошо: сам он развозит продукты на «пирожковозе», а жена его, преподавательница немецкого языка, продаёт газеты в киоске.

Но не столько отъезд меня расстроил, как новость о том, что перед отъездом подполковник приватизировал наш склон с бугельной трассой и продал его предпринимателю, задумавшему извлечь прибыль из красот природы.

И вот я, раскачиваясь в гамаке, снова гипнотизировал Акулий пик, размышляя, улетел бы мой приятель-подполковник на другую планету в другую галактику, зная о ней лишь то, что жизнь там свободнее, то есть изобильнее, а иммигрантам положены пособия? К счастью, ещё не пришло время искать свободу за пределами земного шарика. Стада северных оленей тоже мигрируют в поисках ягеля, и зов свободы здесь ни при чём. Зачем же прикрывать позы желудка жаждой свободы? Когда грызун бежит с прохудившегося судна, это понятно. Но когда он при этом заявляет о своих правах и свободах — это смешно.

Свободный человек свободен везде и всегда. Я не припомню более свободного человека, чем раб Эзоп. Свою свободу и несвободу, своё счастье и несчастье каждый носит в себе. Нет другой свободы, кроме свободы мысли. А если мы не способны размышлять, если у нас нет даже захудалого талантишка, зачем нам свобода, человек-функция?

И если ты, дорогой подполковник, не горишь желанием маршировать в первых рядах гей-парада, не знаю, как ещё можешь воспользоваться свободой и правами человека. Новым родинам свободные люди не нужны. Им нужны сантехники, продавцы, таксисты, уборщики мусора. Возможно, печатники.

Умный человек, разочаровавшись, почувствует себя дураком и будет молчать в тряпочку. Он удовлетворится относительным комфортом, уверяя себя, что покинул свой дом и своих друзей не ради себя и уж точно не ради мифической свободы, а ради детей. Оковы законопослушного свободного мира куда как тяжелее нашей «несвободы».

Упрямец, попав впросак, будет оправдывать всё, даже нарушение присяги проклятым прошлым. Алё, гараж! Прошлое прошло. Ты более-менее устроился, мы рады за тебя. Неинтеллигентно ругать страну, из которой ты по большому счёту дезертировал в самый трудный для неё момент. Зачем проклинать горящий дом, который ты не стал тушить? «О чём ностальгировать? О берёзках? Да здесь этих берёзок до хрена!» А что с друзьями? До хрена ли у тебя новых друзей? Тебе не нужны друзья? А кому ты тогда нужен? Кстати, на покинутую тобой родину обрушилась свобода, такая дикая и криминальная, что многие из ранних иммигрантов локти кусают за несвоевременный отъезд. Надо было бы вначале рыбку в мутной воде половить, капиталец сколотить. В «свободном мире» не сколотишь. Слишком много правил, обязательных к исполнению. Так и будешь до старости на «пирожковозе» развозить охотничьи колбаски по пивным. Много ли для этого нужно свободы?

От этих размышлений меня отвлёк муравей. Он взошёл на кончик моего носа и с покорённой вершины тёмными глазами инопланетянина оглядывал окрестность. Что, брат-муравей, ты тоже мечтаешь о чужом муравейнике? Нет? Ну и правильно. Лес другой, а муравейник — всё муравейник. Да и ты — всё тот же муравей. Что мы с тобой без муравейника?

Муравей молчал, шевелил усиками и смотрел мне в глаза. И, уличённый насекомым в злорадстве, я вдруг вспомнил, что у подполковника диабет, что сын у него страдает аутизмом. Покорёжило от стыда. Защемило от жалости к подполковнику, к себе, к муравью. Из себя не сбежишь, членистоногий. Хотя отчего же не сбежишь? Можно сбежать. В себя. В своё воображение. Ты сам для себя — земля неизведанная.

Как бы и чем бы я ни был расстроен, горы и одиночество дарили мне покой.

Покой и умиротворение.

В конце концов, какое мне дело до уехавших приятелей. У каждого своя жизнь и свой выбор. Я лишь зритель в последнем ряду.

По вечерам, лёжа на жёстком ложе с осиновой чуркой под головой, я пытался разгадать тайну человека, построившего для меня эту хижину, посадившего ореховую рощу и яблоневый сад.

Исходя из размера кирзовых сапог и брезентового плаща, был он человеком среднего роста и ценил в одежде не изящество, а прочность и полезность.

Несомненно, мы были с ним родственными душами. Он, как и я, не тяготился одиночеством. Гигантских размеров ножовка, сделанная из двуручной пилы, ясно говорила о человеке, который рассчитывал только на свои силы.

Судя по записке, строитель хижины был, во-первых, человеком образованным, не считающим за грех расставить в нужных местах знаки препинания, а во-вторых, время от времени покидал хижину. Нетрудно предположить — у него была квартира в городе.

Записка могла бы рассказать больше, но я плохой графолог и не могу по почерку определить характер автора.

Вряд ли он был преступником, скрывающимся от закона.

То, что хижина до сих пор пригодна для жилья, говорит о дотошности и аккуратности её хозяина. Хижина срублена из местных сосен. Половые доски, доски для лежанки, стола, полок, двери, потолка, крыши одинокий строитель заготавливал, расщепляя брёвна клиньями. А затем отёсывал топором. Для этих работ требуется терпение и упорство аскета.

Вот эта печка, которая спасает меня от ночной прохлады. Доставить кирпич для неё можно было двумя способами: завезти на вертолёт или, что вероятнее всего, принести в рюкзаке. Путь не ближний. Самый короткий маршрут, проложенный мной от ближайшей дороги, километров двадцать пять. По горам, по бестропыю. Хотя никто не измеряет расстояние в горах километрами. Расстояние в горах измеряется часами. Для подготовленного человека путь всегда короче, чем для плохого ходока. Сколько можно было принести с собой кирпичей за один раз? Штук десять, не больше. Сколько нужно было сделать ходок? Такой подвиг под силу только очень выносливому, физически крепкому человеку. Конечно, можно предположить, что у него были помощники. Но отчего в таком случае хижина построена для одного?

Работа Сизифа, если она добровольна, не так уж бессмысленна. Она даже приятна, если ты мазохист.

Что заставило человека совершить этот муравьиный подвиг, претерпеть всё это монашеское послушание? Чего ради?

У меня был только один ответ: человеку нравилось одиночество. Он любил одиночество. Искал спасения в одиночестве. Ему была знакома радость одиночества.

Да, радость. И синоним этой радости — свобода. Ты никого не ждёшь, никого не догоняешь, ни от кого не зависишь. Кроме как от закона всемирного тяготения. Но с этим можно смириться. Идёшь куда хочешь, делаешь что хочешь. А точнее, не делаешь то, чего не хочешь. Это большая радость — остаться наедине с самим собой. Главное, чтобы ты был интересен самому себе.

Для многих большая беда остаться наедине с собой. Умирают от скуки. Сходят с ума. Побеседовать, видите ли, не с кем. Пообщаться. С самим собой, страдалец, познакомиться не пытался? Конечно, для бесед с собой нужно иметь склонность к размышлениям. Не у всех она, к счастью, есть. Вот так проживёт человек долгую счастливую жизнь и не найдёт времени познакомиться с самим собой. Как пришёл, так и ушёл сам себе чужой. Понятно: боязно. Можно узнать о себе такое, о чём и знать не хочется. А от себя отказаться невозможно.

Я ничего не знал о строителе хижины. Но чувствовал его душу. Я тоже был домашним гусем, которым по осени овладевает перелётная тоска. И я пытался лететь. Насколько позволяли крылья. Я тоже понимал толк в одиночестве.

Не буду выпендриваться и называть себя одиноким волком. Мне просто не по душе толкотня, суматоха, чрезмерное многолюдье большого города. А кому по душе? Моё стремление к одиночеству — всего лишь понятное желание отдохнуть от суеты. Без города мне уже не прожить. Я просто перемежаю суету с покоем одиночества. Я — Робинзон выходного дня. Одиночество — такая же невыносимая крайность, как и толпа. Все ищут золотую середину. И кое-кто находит. Эти люди становятся геологами, моряками, лесничими. Золотая середина — жить на границе человеческого муравейника и дикой природы. Мне выпала удача случайно наткнуться на ореховую рощу.

Строительство хижины могло быть продиктовано религиозными мотивами. Хижина — та же келья. Но ничто не подтверждало этого предположения. Никаких следов служения культу. Хотя, конечно, Бог не в кресте, а в душе. И что назвать религиозностью?

Однажды в хижине, двери которой не знали замка, где всё на виду, и записка радушного хозяина приглашала погостить путника, я нашёл тайник.

Между столешницей и прибитой снизу доской в узкой нише лежала книга. Стихотворения Тютчева, изданные в девятнадцатом веке. Прочный переплёт. Старинный шрифт. Крупный. Цицеро. С ятями. Я обнаружил это сокровище лишь на третий год открытия ореховой рощи.

Тютчев был моим любимым поэтом. Одним из. Но именно его чаще других я носил в своём рюкзаке по горам. При свете керосиновой лампы, испытывая волнение, знакомое всем книголюбам, я раскрыл томик. Между страницами лежал засохший эдельвейс. Хозяин книги не чурался подниматься выше верхней границы леса. Людей, знакомых с высокой поэзией, притягивают вершины.

Я листал страницы, читая лишь строки, подчёркнутые карандашом или отмеченные ногтем. И каждый раз меня било током. Без всяких метафор. Сотрясало. Знобило. Всё, что отмечал хозяин хижины, подчеркнул бы и я. Больше того, я знал эти строки наизусть. Между моей и его душой каналом прямой связи лежала книга, душа поэта.

Когда пробьёт последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!

По жилам небо протекло... По-другому не скажешь. Мы со строителем хижины были не просто родственными душами, мы были частицами одной мировой души, которая многими интуитивно воспринимается как поэзия. Я чувствовал, как моя душа сливается с душой поэта и душой строителя хижины.

И тогда открылся замысел моего предшественника построить своё убежище, высадить свой райский сад на краю бездны.

Не зная даже имени его, я знал о нём всё. Он был мной. Я был им. Во всяком случае, у нас была общая судьба.

Поочерёдно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

Все живущие стоят у края этой бездны, из которой веет восторгом тайны и ужасом невозврата. Не все чувствуют притяжение этой бездны. Не все пытаются разгадать её тайну. Эти строки написаны как бы и не человеком, а самим богом, открывающим страшную тайну:

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может случиться, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Пролистав книгу, я убавил язычок пламени в керосинке и вышел из хижины. Был час всемирного молчания. Глазами звёзд на меня смотрели души ушедших. И одна из них была душой хозяина хижины. Придёт и мой час, и я вот так же буду смотреть на затерянную в горах хижину. «Как души смотрят с высоты на ими брошенное тело». Ночью между землёй и беспредельным пространством космоса нет границы. Нет границы между миром пока ещё живых и миром вечным, загробным.

Как зыбок человек. Имел он очертанья —
Их не заметили. Ушёл — забыли их.
Его присутствие — едва заметный штрих.
Его отсутствие — пространство мирозданья.

Только что я встретил созвучного мне человека. Поздновато, конечно. Увы, его уже нет в живых. Мы разминулись с ним во времени. Может быть, на несколько лет. Может быть, десятилетий. Совсем на немного. Каждый из нас прикован прочной цепью к дате своего рождения. Звеньев у этой цепи не так уж много. И её не оборвать. Не в Китае сделана. Мы не совместились во времени. А время необратимо. И всё же он пополнил мой круг друзей. Великих покойников. Хотя и оставил после себя всего три строки:

Добро пожаловать, добрый человек!
Располагайся, отдыхай.
Будешь уходить, не забудь прикрыть дверь.
Не забуду.

Когда сочувственно на наше слово
Одна душа отзывалась —
Не нужно нам возмездия иного,
Довольно с нас, довольно с нас.

Сквозь облако просветилась крадущаяся сопланета Земли — Луна, — мудрая морда барса, и через минуту золотые лучи отражённого Солнца, нашей гаснущей звезды, высветили спрятанную в складках гор ореховую рощу, ветхую хижину и одинокого человека. На всё была наброшена золотая сеть отражённого зеркалом Луны Солнца, и только пропасть под хижинной чернела бездонным, сквозным провалом.

Жизнь в одиночестве над бездной прекрасна. Но бесцельна. Не бессмысленна ли эта игра в прятки с вечностью?

Отчего же? Смысл есть. Как можно меньше вреда приносить своим собратьям, зверью, растениям. Природе. Очень даже понятный и хороший смысл.

Эта хижина построена на краю бездны для того, чтобы человек, приходящий сюда, вглядывался в её беспредельность и испытывал при этом великий покой. Да, я обречён. Но я — не функция. Я — человек, мыслящая часть Природы. Меня не страшит неизвестность.

Это была ночь, в которой слиты все ночи. И те, что прошли, и те, что ещё не наступили. Вещая ночь. В самый глухой её час мне приснилась Истина. Как Менделееву таблица элементов. Я увидел Истину в видеоискателе моего фоторужья. Она проступала тёмными прожогами слов на плащанице. Мне открылся Смысл, и я, волнуясь, страшась упустить главный кадр жизни, нажал на кнопку затвора.

Меня разбудили толчок и затухающий гул земных недр.

Не впервые я ощущал землетрясение, но ни разу до этой минуты оно не заставало меня на краю пропасти.

Нужно было выбежать из хижины. Но одиночество и свобода чреваты сумасшествием. Досада пересилила страх. Я забыл сон. И как ни напрягал память, не мог восстановить его. В отчаянии попытался вернуться в сон. Я согласен был при очередном ознобе земли обрушиться вместе с хижинной в бездну, но за секунду до падения узнать разгадку тайны тайн. Закрыв глаза, но не увидел ничего, кроме чёрного провала, сквозной дыры в планете. С противоположного конца дыры тянуло сквозняками иных миров и тускло светили незнакомые мне созвездия.

Ни землетрясение, ни сон не возвращались.

Я, скверно образованный человек, недоучка, пытался понять, что же это такое — человек?

Зачем?

Не бери в голову, старик. Это дорога в сумасшедший дом. Не вздумай с кем-нибудь поделиться своими размышлениями. Засмеют. Здравомыслящие люди не размышляют о вещах, которые их не касаются. Человек — это человек. Что не ясно?

Я и не делюсь.

Не хочу выглядеть сумасшедшим.

Но и быть здравомыслящим у меня не получается. Забавно: быть человеком и не хотеть знать, что это такое.

Да кто же не знает, что такое человек? Это лошадь не знает, что она лошадь, воробей не знает, что он воробей. А подойди к любому прохожему на остановке да наступи ему на ногу. «Ты что, — скажет, — не видишь: человек стоит».

Все знают. Я не знаю.

Всё, что я знаю о человеке, если не банально, то морок, самообольщение или самооговор. Чем больше поэтов и философов читаю, тем больше путаницы в голове. Тысячи и тысячи книг описывают его поступки, чувства, мысли, открытия и заблуждения, известно, как он устроен — его анатомия и болезни. Но как только доходят до сути — стена. Непреодолимый предел.

Вот я. Человек.

Кто лучше меня разберётся, кто я?

Я остаюсь один на один с собой. Живу на краю бездны. Мне нет смысла притворяться, обманывать себя. Мне просто важно узнать для себя: кто я?

Но я ничего не знаю о существе, которое пристально вглядывается в меня через ночное окно из бездны.

Это существо вызывает во мне любопытство, недоверие и страх.

Кто прячется во мне? Кто смотрит серыми глазами из скафандра моего тела?

Вечная, нестареющая душа? Существо из иных миров? Хищник, наделённый разумом? Нарождающийся бог в теле животного? Мутант, восставший против природы, его породившей? Манкурт, управляемый неведомым повелителем? Кто он, сын греха, мечтающий о рае на земле, ради Добра совершающий Зло? Самоубийственный замысел природы? Попытка навести порядок в хаосе, найти путь к бессмертию? Святой убийца? Гениальный обыватель?

Я не могу отстраниться от себя. Не могу увидеть себя изнутри. Понять себя самого — возможно ли это в принципе? Есть в человеке нечто, что за пределами разума. По крайней мере, моего. Не достаёт ума, сердце глупо, интуиция молчит. Ничего, кроме душевного смятения. Я не знаю, кто я. Я не знаю, кто или что прячется в моей черепной коробке.

Проще всего жить как лошадь. Просто жить, не осознавая себя лошадью. Тащить свою телегу, не зная, куда и зачем. Так живут все мои здравомыслящие знакомые. Придумать для себя роль и добросовестно играть её. Так жил и я, пока не нашёл эту хижину на краю обрыва. Но больше я не хочу играть роль, тем более не мной придуманную. Я не актёр. И не хочу лицемерить перед собой. Я был бы монахом, если бы во что-то верил. Или спасателем, если бы знал, что и кого спасать. Я не хочу играть роль перед самим собой. Я хочу быть самим собой. Только и всего. Но кто я?

Вывод один: не надо сходить с тропы. Не надо подходить к краю бездны.

К разбуженным землетрясением сон редко возвращается. Я поднялся. Засветил свечу. Подошёл к чёрному квадрату окна. В ночной дыре, в пыльном стекле хижины, я увидел муравья с глазами инопланетянина. В правом. Нет, левом зрачке. Отражение — клише. Мир вывернулся наизнанку. Я вывернулся наизнанку. Нет, моё отражение — оттиск. Я — клише. Какое облегчение — вернулся в своё измерение.

Муравей смотрел из моего зрачка на меня и шевелил усиками. Возможно, он видел своё отражение в моём зрачке.

Где твой муравейник, муравей? И что ты такое, муравей без муравейника? Все твои смыслы там, в муравейнике. Одиночество для муравья — не свобода, не спасение. Сумасшествие.

Где твой человек, человек?

Под утро выпал первый снег.

Набрав в рюкзак орехов и яблок, я прикрыл дверь хижины и ушёл, поскрипывая лыжными палками, оставляя за собой чёрные следы.

Очень они меня раздражали, отпечатки рифлёных подошв, прожигающих тонкий слой снега. Кто знает, кого они приведут за собой. Это во времена строителя хижины, встретившись в горах, незнакомые люди здоровались и уступали тропу спускающимся с вершин. В горы плохие люди не ходят. Аксиома. Сейчас кое-что изменилось. И я не был уверен, что в горы ходят только воспитанные, интеллигентные люди, читающие Бердяева, Гёте, Кьеркегора, Шопенгауэра, Тютчева, Фёдорова. Поэтому и не навещал хижину зимой. По пробитой в снегу тропе обязательно кто-нибудь пойдёт. Кто только не шатается в наши дни по горам. Некстати вспомнилось событие трёхлетней давности, когда на одном из кордонов неизвестные вырезали семью лесника.

Мне оставалось надеяться на тёплый день, на солнце, которое растопит снег и сотрёт следы. Или, напротив, на обильный снегопад, который следы укроет.

Нехорошие предчувствия тревожили меня.

Я был уже далеко от хижины, когда по наитию пришла мысль отреставрировать томик Тютчева.словно кто-то меня окликнул. Я остановился. Потоптался. Оглянулся. Сбросил рюкзак и налегке вернулся по своим следам за книгой.

В конце зимы я решил навестить хижину. Торопился убедиться: опасения мои напрасны.

Я шёл к ореховой роще кружным путём, избегая лавиноопасных склонов. Перед спуском с последнего перевала сбросил с плеч рюкзак и прислонился спиной к обломку гигантской ели, похожему на гнилой зуб в три обхвата.

Тот, кто ходил в горы, знает, какое это наслаждение — сбросить с себя тяжёлый груз после долгого подъёма. Чувствуешь себя невесомым, бестелесным. Я закрыл глаза, вдохнул настоящий на хвое пьянящий предвесенний воздух и почувствовал вращение Земли.

Солнце слепило даже сквозь закрытые веки. И, прежде чем открыть их, я прикрыл глаза рукой. И внезапно, как бы впервые, с суеверным ужасом и восторгом увидел эти пять щупалец неведомого мне существа. Увидел и поразился, насколько разумно сочетаются сочленения живого устройства. Настолько продуманно, что невозможно представить, как это совершенство создано без участия талантливого инженера. С трудом отвёл я взгляд от собственной кисти, но всё, что я видел — от столетних елей до сухой былинки, торчащей из-под снега, — убеждало в существовании интеллекта, замыслившего и создавшего всё это. Я впервые увидел этот живой мир, невозможный на бесплодных камнях, как сочетание, слияние многих противоречий в одну

гармонию. И растворился в этой гармонии, в этом мире, которого не могло быть. Великая музыка безмолвия наполнила меня. Я стал этой музыкой, этим невозможным миром. И в эту лёгкую секунду откровения ко мне смутно вернулось ощущение вешего сна, прерванного землетрясением. Вспомнил! «Я, человек, — мыслящая душа природы. Я — сама природа, её разум, её воля». Потрясённый, я открыл глаза и понял, что это не сон, что так и есть: человек — разум природы и смысл его существования равен смыслу существования и саморазвития природы. И когда все люди поймут это, когда научатся мыслить, как природа...

Ветер донёс из ущелья отрезвляющий запах застарелой гари. Я поспешно взвалил на плечи рюкзак и побежал вниз, рискуя сорвать лавину.

На месте хижины стояла обнажённая печь. Маленькая печь, которая могла согреть маленькую хижину, но, лишённая крыши и стен, была бессильна согреть горы. Из-под снега острыми чёрными концами торчали головешки. На трубе сидела сорока и трещала, предупреждая зверьё об опасности. Приближался главный враг леса и его обитателей — человек. То есть я.

Давний пожар меня не расстроил. Разозлил. Разгневал. Горечь и ярость усиливались досадой: поджигатели пришли по моим следам. Я был причиной пожара.

Спускаясь к хижине, я споткнулся о лошадиный череп. То, что от него осталось. Видимо, используя вместо мишени, в него метали топор.

Хижина выгорела почти полностью. Более-менее уцелели два нижних звена сруба.

Не сгорело только то, что не могло сгореть, — железо. Но из железа остались только две консервные банки, дверные шарниры и несколько гвоздей.

Топор, гигантская ножовка, лопаты и керосиновая лампа исчезли. Даже печную вьюшку унесли. Запасы грецких орехов, естественно, пропали тоже. Видимо, не раз и не два приходили сюда грабители.

Нет, скорее, это был одноразовый налёт. Судя по оставленным бутылкам дешёвого спиртного в стае мародёров было не меньше пяти особей.

Не нашёл я и старых сапог, и брезентового плаща моего предшественника, вещей, обозначающих символическое присутствие строителя хижины. Не побрезговали. Эта пропажа оскорбила меня. Но больше других потерь расстроила сгоревшая в огне записка, приглашающая добрых людей отдохнуть.

Я не понимал воров. Зачем? С какой целью надо было жечь хижину? Да и кто тебя поймёт, загадочная душа негодяя?

Невозможно понять логику извращенцев и подонков.

Я не стеснялся в выражениях.

Они делают гадости потому, что им нравится делать гадости. Другого объяснения нет. Мазать дёгтем ворота, строчить левой рукой доносы — эта радость знакома многим анонимным авторам социальных сетей. Прийти в глушь, где тебя никто не видит, никто не остановит. Отравить себя для увеселения палёной водкой. И дать волю своим обезьяньим инстинктам. Тому, что этим существам заменяет душу. Стать из говорящей обезьяны, изысканной междометиями и бранью, хрюкающей свиньёй. Ломать, разрушать,

пачкать, пакостить. Получать доступное наслаждение, мстя за свою ничтожность всем без разбора.

Я долго разбирал кострище. Откладывал в сторону то, что не догорело. Головешки брёвен. Несколько половых досок. Часть двери. Опалённый огнём бараний рог, служивший дверной ручкой.

Обрыв без хижины уже не казался бездной.

Закончив разбор пепелища, стал думать, что делать.

Как что? Отстраивать заново. На старом фундаменте. Фундамент и печь, слава богу, сохранились.

Но ореховая роща — главная тайна этих мест — хорошая приманка для грабителей. Они обязательно придут сюда осенью. Придут и сожгут снова.

Оставалось одно — перепрятать хижину.

Я прошёл дальше по склону, продрался через бурелом, оставленный недавним ураганом. Кстати, хороший запас брёвен для новой хижины. Сегодня бы и приступить к их заготовке. Как пригодилась бы сейчас ножовка для гиганта. Впрочем, при определённых навыках можно обойтись и двуручной пилой.

Нашёл подходящую площадку. Но как-то серо было на душе, зябко. Неуютно.

Невидимый самолёт преодолел звуковой барьер. Сердце взорвалось от испуга. Время схлопнулось. И сместилось. Как каретка старой пишущей машинки, провернувшая лист на новую пустую строку.

Гул свалился за Акулий плавник. На небе осталась царапина.

И в тишине вкрадчивый шорох услышал я за спиной. То ли сырой сквознячок вечности прошуршал в вершинах елей, то ли лавина сошла. И — немота, пустота. Я оглянулся и увидел новое небо и новую землю. За секунду прошли годы и годы. В этой глуши всё осталось по-прежнему, как было и сто, и тысячу лет назад, но я знал, что за тремя перевалами мир постарел на века и всё в нём изменилось. На земле не осталось ни одного человека, жившего в одно время со мной. Там, в городе, где прошли сотни листопадов, все улицы и, возможно, сам город поменяли названия, а язык изменился настолько, что стал для меня чужим, в той же бездумной суете живут правнуки сгинувших поколений, не зная о себе ничего. И среди них нет ни одного, кто бы знал меня и кого знал бы я. Кто я, если смотреть из далёкого будущего? Никто. Ноль. Если смотреть из далёкого будущего, меня никогда не было.

Долго я тёр ладонями глаза и глубоко дышал, пытаюсь избавиться от наваждения. А когда убежавшее вперёд время вернулось и состыковалось с пространством, я подумал: а что бы изменилось во мне, если бы я попал в будущее? Ничего. Я не хотел в будущее. Кто меня там ждёт? Кого бы я хотел там увидеть?

Я хотел бы попасть в недалёкое прошлое, во времена, когда первостроитель хижины писал записку, приглашая родственную душу.

Мой предшественник не окружил свой сад забором. Забор — от слова забрать, надо полагать. Он не хотел отделять себя от леса. Просто заполнил

пустующее пространство полезными деревьями. Он не навесил на двери хижины амбарный замок. Приглашал случайного путника погостить в его жилище. Он жил в то время, когда частная собственность, как и человеческая жадность, считалась постыдным атавизмом. Тем более частная собственность на землю, которая может принадлежать только природе или, кто верит, Богу. На крайний случай, всему народу, значительная часть которого знала, что человек человеку друг, товарищ и... Почему брат? Почему не сестра? Сестра как-то приятнее. Скажем так: человек человеку друг, товарищ и ближайший родственник. Что, в общем-то, недалеко от истины. Об этом вам скажет любой генетик. Мой предшественник знал, что не вечен, и строил убежище, свой самовольно возведённый воскресный рай не только для себя. Для всех, кто исцеляет свою душу одиночеством. Для всех, кто испытывает потребность остаться наедине с собой, чтобы разобраться в себе. Волей случая я стал его наследником.

Хижину нужно отстроить именно над обрывом. Над бездной. Иначе не имеет смысла. Иначе она уже не будет убежищем. Потеряется ощущение хрупкости. Она станет дачей.

Я немного остыл. И вернулся на место пожарища. Человек человеку — человек. Эта формула объясняет всё, ничего не объясняя.

Отчего ты думаешь, что это был поджог? Возможно, грабители не дождались, пока догорит печь. Оставили дверцу и дверь хижины открытыми. Выпал уголёк, порывом ветра раздуло пламя. Я вправе думать о пьяных мерзавцах всё что угодно, но сознательный поджог — это уж слишком. Не могу поверить, что среди них не нашёлся хотя бы один, не воспротивившийся этому свинству.

Нет, если отстраивать, то на старом месте, на старом фундаменте, оставив два переживших пожар звена сруба, не перекладывая печь. Восстановить хижину. Она должна быть такой, какой была до пожара. И пусть стоит. До следующего пожара.

Сколько лет уйдёт на восстановление? Год? Два? Три? Времени бродить по горам у меня осталось не так много. Скоро и я подойду к самому краю бездны.

Но я обязательно отстрою убежище. Отстрою и оставлю на столе под обгорелой консервной банкой записку, повторив слово в слово её сгоревшую предшественницу: «Добро пожаловать, добрый человек! Располагайся, отдыхай. Будешь уходить, не забудь прикрыть дверь».

Ну, может быть, добавлю от себя: «Угощайся орехами и будь осторожнее с огнём».

Я достал из рюкзака томик Тютчева. И подумал: это душа хижины, и она не сгорела в огне. Что заставило меня вернуться за ней? Кто окликнул меня?

Я сел на недогоревший сруб, свесив ноги над обрывом, наугад раскрыл книгу и прочитал: SILENTIUM.

Пояснительная записка

В мае 2000 года, пытаясь сократить путь, я сошёл с тропы, чего категорически нельзя делать в горах, заблудился и был остановлен ароматом цветущего яблоневого сада.

Меня меньше бы удивили следы снежного человека, чем этот запах.

Дикое ущелье, сумрачные вековые ели на крутых склонах, никаких намёков на присутствие человека и вдруг — дачное благоухание.

Приближался вечер. Мне грозила ночёвка в горах. Нужно было торопиться. Но, не сдержав любопытства и потакая надежде, я пошёл на домашний, сладко пахнущий сквознячок.

К запаху добавился пчелиный гул. Пасека? Вскоре я увидел ореховую рощу на склоне, а внизу на небольшой террасе деревья в цвету. Как в новогоднем снегу.

Следующим открытием была хижина, стоящая на самом краю обрыва.

Я обрадовался ей как своему спасению.

Судя по приступке, заваленной прошлогодней листвой, хозяин давно не навещал жилища.

Замка на дверях не было. Я потянул за тросик, щёлкнула щеколда. Я вошёл.

На столе лежала записка, по которой знаком препинания ползал муравей. Приглашение от радушного хозяина.

Лежанка. Стол у окна, выходящего на пропасть. Чайник на плите. Запас сухих нарубленных веток для растопки. Топор, прислонённый к небольшой поленнице. Свеча в консервной банке.

Что ещё нужно человеку для жизни?

Жилище аскета, исполненное в суровом стиле топорного минимализма, я бы назвал кельей, если бы не яркое пятно на глухой стене. Цветная фотография размером с диплом в грубо сколоченной рамке из неошкуренной ветки рябины. Лошадиный череп, из правой глазницы которого выглядывает изумрудно-зелёная мухоловка, загнипнотизировал меня. Этот, в общем-то, забавный снимок был красив и жутковат.

Я повесил рюкзак на свободный гвоздь рядом с пилой, ручки которой были соединены распоркой. Разжёг печь. Сходил к роднику за водой. Пока закипал чайник, достал из рюкзака кусок сала, хлеб. Сервируя немудрёный стол, я был неловок и обронил на пол записку хозяина. Нагнулся за ней и обнаружил двойное дно под столешницей.

В тайнике лежал томик Тютчева и тетрадь. Дневник безымянного хозяина хижины.

Книгу я тотчас же вернул на место, а тетрадь, поколебавшись, но, не справившись с порочным любопытством, прочитал.

А прочитав, почувствовал гнусное поползновение её присвоить.

Но не хотелось разочаровывать себя. Я уже свыкся со званием доброго человека, которым короновал меня автор записки.

Возможно, этот неоконченный дневник — самое ценное, что есть у хозяина хижины. Да что там — «возможно». Конечно, самое ценное. Что может быть ценнее самой жизни? Не могу же я украсть у человека жизнь. То, что он давно не навещал своё убежище, ещё ни о чём не говорит. Может быть, приболел человек. Нога в гипсе. Операция. Может быть, навещает сад лишь по осени, когда созреют яблоки и орехи. Мало ли что. Если жив, вернётся и допишет свою жизнь. А не вернётся, что же — дневник он писал не для меня.

Я аккуратно вырвал последний лист из тетради. Написал на нём обгоревшей спичкой: «Спасибо, дорогой! Будь счастливым».

Положил рядом с запиской хозяина.

И вернул тетрадь на место.

Отужинав, я лёг на топчан, подложив под голову осиновое полено. Заснул не сразу. Под лежанкой уютно шуршала мышь. Потрескивая, остывали угли в печи. Время от времени вздыхала и бормотала, как бы в дрёме, ореховая роща. Я думал о смысле сгоревшей и восставшей из огня хижины на краю обрыва, о родственных душах, обитавших в ней, и причинах, по которым им не суждено было встретиться. Растворившись в благодатном покое, я заснул. Спал не долго, но крепко. Проснулся счастливым ребёнком. Потягиваясь, чувствовал, что расту. Довольно странное и очень приятное чувство в мои лета. Каждому человеку полезно однажды провести ночь в ореховой роще, в хижине на краю пропасти. Встретиться с самим собой.

Ранним утром я покинул горный приют, твёрдо решив вернуться сюда осенью. Хотелось встретиться с хозяином, родственной мне душой, и поближе познакомиться с ним.

Но не пришлось. Так уж сложились обстоятельства. И теперь уже не придётся. Как написал Тютчев:

Кто смеет молвить: до свиданья
Чрез бездну двух или трёх дней?

Если вы прочли эту неоконченную историю, наивную философию неизвестного мне человека (любая философия для обывателя вроде меня кажется наивной и глупой), знайте, я восстановил текст по памяти. Мой пересказ — лишь бледная, искажённая собственными воззрениями копия дневника, который, возможно, до сих пор ждёт своего хозяина в хижине над бездной.

Дождётся ли?

ХИЖИНА В ОРЕХОВОЙ РОЩЕ

Фотоохота Николая Верёвочкина

«Я хожу в горы один, без троп, и никому не сообщаю, где меня нужно искать, если, допустим, попаду под камнепад, лавину или, банально оступившись, сломаю ногу. Причина моей беспечности — фотоохота. Хотя, если честно, “моей судьбою очень никто не озабочен”.

Меня с детства будоражил азарт охоты. Но первое же убийство живого существа навсегда отвратило меня от ружья. Крик зайца-беляка, его агония преследуют меня в самых страшных снах. Во сне я убиваю не зайца, а беззащитного ребёнка. А тот глядит на меня большими непонимающими глазами. И мне кричат: «Что смотришь? Добей его!» Вы когда-нибудь добивали подранка?

Зачем мне нужно было убивать зайца, безобидное, живущее в постоянном страхе, всеми преследуемое существо? Я умирал от голода? Нет. Я, сытый, в меру упитанный мерзавец, убил его ради удовольствия убивать. Ужасны муки раскаяния, когда уже ничего нельзя исправить. Но ещё ужаснее увидеть себя таким, какой ты есть на самом деле.

Во времена, когда я пристрастился к фотоохоте, даже фантасты не догадывались о цифровой камере. Фотоаппарат с катушкой на 36 кадров, длиннофокусный объектив. Запах реактивов для проявления плёнок и фотокарточек, красный свет фонаря, жёлтые пальцы от растворов. Конечно, я мог бы облегчить себе жизнь и перейти на цифру. Но это всё равно что охотиться на уток с пулемётом».



Дорога в Шамбалу



«Труднее всего фотоохота в горах. Особенно в их лесистой зоне».



«То на грибное место наткнёшься, то на малинник».



Дракон-единорог. Последствия урагана в горах.



«Звери не любят, когда за ними подглядывают».



«У этих горных орехов особый вкус».



*«Вот войду в хижину, а за столом сидит скелет с орехоколом в руке,
по колено в скорлупе. А на безглазом черепе — истлевшая соломенная шляпа».*



«Спускаясь к хижине, я споткнулся о коровий череп».



Лесной спрут



После урагана в горах.



Погибшим в горах.



Лабрадор-полиглот.



«Между страницами лежал засохший эдельвейс». Эдельвейсы.



Мой друг Гулливер.



«Рай — это место, куда не ступала нога человека. Моя нога не в счёт».

Ольга Сульчинская

Такое маленькое слово

* * *

Люблю — такое маленькое слово,
Оно почти что не имеет смысла,
И я его сквозь пальцы пропускаю
И вместе с ним цветы акаций жёлтых
И добавляю через запятую
Гудящий самолёт, идущий низко,
Едва-едва не задевая крышу,
И невпопад, но твёрдо отвечаю
На все вопросы, коих я не слышу.
Я без тебя почти не существую.
Я без тебя всё время словно сплю.

* * *

А глаза у меня уже все в побегих морщин,
Резок свет апрельский богатого солнцем дня,
И я шуюсь на проходящих мимо мужчин
Без малейшей опаски: они смотрят сквозь меня.

Расскажи мне, кем я стану в конце концов —
Не бесполом ли духом, дудящим в свою дуду?
Показалось вчера, что сама я своё лицо
Не увижу, если к зеркалу подойду.

Уладишь ли ты горечь мою, заостряя слух
На капель по карнизу, на мимолётный смех,
Или сделаешь той из сторожевых старух,
Что сидит на лавке с краю — и злее всех?

Сульчинская Ольга Владимировна — поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и Высшую школу гуманитарной психотерапии. Работала редактором, психологом, копирайтером и др. Печаталась в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир», «Арион» и др. Автор трёх поэтических сборников. Живёт в Москве.

* * *

Я хочу о тебе говорить туда,
Где бомжует Бог, тянутся провода,
А по ночам, когда расходятся облака,
Открывается вселенская ДНК.

Я хочу тебя выговорить, облечь
В самый прочный скафандр, свою человеческую речь,
В оболочке слов выдохнуть в небосвод,
Вписать в информационный код,

Чтобы каждый раз, как рождается мирозда-
ние, в нём зажигалась ярко твоя звезда
И ты по ночам видел её в окне,
Если получится, с памятью обо мне,
Ну а нет — так нет.

* * *

Мой сосед перед смертью оставил записку:
«Если я вам не нужен, я ухожу».
Пристроился на лампочке в туалете,
Накинул петлю и был таков.
Седой и сморщенный, пил страшно, буянил,
Стучал кулаком по фортепьяно.
Его взрослая дочь преподавала музыку.
Шопен перемежался матерным криком.

С тех пор я иногда вспоминаю
Последние слова старого алкоголика
И думаю, мог ли хоть кто-то сказать ему:
«Не уходи, останься, ты нужен»?
Кто в минуту окончательного отчаянья
Произнесёт формулу спасенья?
Кто это скажет, кто?

Поездки в любую точку

И какой меня бес туда понёс,
И какой меня голос туда позвал,
И куда меня этот таксист завёз,
Он, конечно, и сам не знал.

Через мост над мазутом ночной реки,
Через чёрные дыры промзон, трущоб,
Через площади памяти и тоски
И не знаю чего ещё.

И снаружи размазались по стеклу
Очертанья знакомых лиц, рук,
А ревуший мотор летел во мглу,
Разрывая всё, что вокруг.

На пути внезапно возник вокзал,
Тормоза и шины издали визг,
И таксист «приехали!» мне сказал
И толкнул что есть силы вниз,

Где пространство и время слепились в ком,
Нераздельны сделались свет и тьма
И нельзя не то что найти свой дом,
Невозможно даже сойти с ума,

И никто ничем не мог помочь,
Бессловесный вой распухал во рту...
Доктор, я полгода каждую ночь
Просыпаюсь, падая в пустоту!

Ковёр

То ли рябь на воде, то ли беглая дрожь
По стеклу, то ли в воздухе струнка сквозная.
Мне никто не напишет, когда ты умрёшь.
Я об этом, наверно, никак не узнаю.

Мне никто не расскажет, как ты постарел,
Предъявляя дурной результат фотошопа.
Не смешите: он молод, красив, загорел
И беспечен, как бог автостопа!

Я иду по ковру, мы идём, пока врём,
По цветущим коврам золотого июля.
А под вечер мы вместе обнявшись уснём —
И никто не узнает о том, что мы вместе уснули.

Михаил Балабин

Правильно — любить

Рассказы

Джедай из Зауралья

Родом он был из Зауралья, то есть из той неопределённой местности, что касается на западе великой реки, а на востоке, верно, вообще не имеет границ. Где-то там, по направлению от магнитной горы Атач к свинцовым водам Чукотского моря, среди тайги и плоских уродливых городов он родился и жил.

Я наблюдал тогда, как растаскивают хлебокомбинат, а он писал стихи для местной газеты. Мы встретились в Тайшете, городе из сломанного асфальта. Поздним летом, мотаясь с главным инженером по улицам, я услышал крик. Сцепились двое: шуплый кругляш и двухметровый с глазами овцы. Кругляш рвался и тянул на себя пакет. Давила жара, пахло пылью и липой. Я смотрел сквозь опущенное стекло, но не успел разобрать, как бесшумно разошёлся пластиковый шов, и на тротуар посыпались книги.

Кругляш замер, ладони его затряслись. Казалось, сейчас он упадёт на колени подбирать книжки, словно старуха мельхиоровые рубли. Но он только вскрикнул, взъерошив волосы, и запрокинул руки. Со скрюченными пальцами он бросился на двухметрового, но был остановлен ударом в рот.

Мы помогли ему подняться и довезли.

Звали его Юлием Кругликовым, или просто Юлей. Был он небрит, взлохмачен и взволнованно говорил. Невысокого роста, в квадратных очках, он рассказывал про Набокова. Я помню, как он дико смотрел, утирая от крови губы, словно пытаясь разглядеть в нас подвох.

Наверное, я сразу не понравился ему.

Балабин Михаил Анатольевич — кинорежиссёр, прозаик. Родился в Иркутске. Окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Печатался в журналах «Юность», «Сибирские огни», в издательстве «ЭКСМО». Победитель и призёр ряда литературных конкурсов, участвовал в Международном форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (Липки) и в творческом кластере «Таврида». Живёт в Санкт-Петербурге.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Узнав, для чего мы здесь, Юля бросил: «Притормозите...» И скрылся не попрощавшись.

Позднее я встречал его во многих местах за тысячи километров. Иногда он сидел согнувшись за сломанным компьютером в газете «Вечерний Черембас» или печатал в промёрзшем Ленске на фоне сейфа, заполненного рассадой. Мне нужно было дать объявление. Он спрашивал:

— Молоточничаєте?

Мы вяло ругались.

Иногда он читал стихи. Что-то про птицу. И смерть.

— Я последний джедай, — говорил он. — Не перебивайте меня...

Юля Кругликов был химиком, но ничего не понимал в кислотах. Возможно, он выбрал химию, чтобы не заболеть ею, пропустив «на тройку», как многие пропускают жизнь. Он играл на гитаре, но пел фальшиво — у костра его терпели и смеялись.

И когда он протянул лилию, Катя Коротаева тоже прыснула, не понимая.

Он хотел сказать, что это дикий цветок, одинокий и пугливый, срезанный утром на берегу. Белый и хрупкий, как она. Но девушка прошла, не замедляя шага. И Юля засеменял следом, заикаясь. Катя рассеянно улыбалась, думая о своём. Стебель дрожал в её тонких пальцах, и лепестки осыпались, как снег.

Иногда они встречались. Ей нравилось слушать Юлю. Расспрашивая, она никогда не доходила до конца. Вдруг обернувшись, Катя сбивалась, показывая на низко летящую чайку или облака. Иногда она и сама казалась облаком. Порою он слегка касался её руки, а она обнимала его ладонь пальцами.

Ветер перебирал тени на залитых солнцем парапетах, оставляя дни вспышками света в памяти. Они исчезали, как просмотренное кино.

Исчезла и Катя. Телефон пах пластиком. Пластиком пахли далёкие гудки. Юля сочинял стихи и диктовал сообщения, он оставлял их, сворачивая корабликами или фигурками птиц на пути, где она могла пройти. Он слонялся под окнами, вода стекала по лицу, сырые листья налипали на пальцы и пахли увядающе-жёлтым.

Катя исчезла, а он свернулся, поджав ноги к груди, и пролежал так несколько лет. Наверное, что-то зародилось в это время. Наверное, что-то умерло. Ему дали диплом.

Да, Юля Кругликов не стал химиком.

Он начинал безразлично, двигаясь из конторы в контору, как насекомое, едва пережившее оцепенение зимы. Но звук принтеров и движение машин оживляли внутри скрытые ритмы. Юля Кругликов писал стихи. Он отправлял их за Урал по электронной почте, но ветры над горой Ямантау сглатывали провода, и строки исчезали по пути. Он отправлял письма в пустоту.

Были местные газеты. Ослеплённые восходящим голосом Интернета, потерянные и ненужные, они скитались во тьме рекламных заголовков и политической заказни. Они печатали стихи Юли, обрезая их подписью: «Читатель М.Филипенко, с. Красный Чикой». Денег не платили, и Юля стал журналистом. Он врывался к вороватым начальникам и терзал их на страницах газет «Даёшь!», «Лесная тревога», «На рельсах гиганта»...

Я встречал его в те дни. Юля сидел, шевеля носками сквозь прорези сандалий, и жестикулировал.

— Я последний джедай, — говорил он. — Вы знаете, что джедаи должны быть спокойны как снег? В этом вся соль, иначе ничего не получится... Нет страха, нет ненависти, нет любви! Ничего нет, — он поправлял очки. — Даже меня... Только покой и равнодушие... Я сажусь в позу лотоса и замираю...

Но просидеть так долго Юля не мог. Что-то ворочалось и скрипело глубоко в груди, ноги затекали, и он срывался, чтобы размяться. Хлопали шершавые двери, печатались статьи.

Рассказывали, как Юля разгромил мэра Кустина, но упал, сражённый клюшкой для гольфа. Упал возле гаражей, и ещё три часа его не могли найти. Реанимация ничего не обещала. Он пролежал без сознания шесть дней. Но уже через месяц Юля бежал из больницы, не выдержав запаха хлорки, гулких звуков посуды, куда наливали еду, и неумолкающего переносного телевизора.

Он уехал. Он вообще очень часто менял города, скитаясь на пустых просторах, залитых однообразным солнцем.

Время газет мельчало. Исчезли заголовки про драчливых депутатов и голубоглазых воров. Настало время объявлений и гороскопов. Они сдвинули анекдоты, ужали телепрограмму и фото местных широт. Никто больше не печатал ни писем читателей, ни читательских стихов. Юля Кругликов одичал, бросив работу, и писал заметки в революционный блог. Он долго болел и всё чаще заикался. Его читали, но мало. Подписчики жаловались на избыток лирики. Они не любили стихов.

— Уезжайте в Москву, — советовали ему.

— Это будет п-п-предательство... — отвечал Юля.

Заметки выходили всё реже, но не потому, что Юля сдался. Он скрылся в серую природу, где недоступен был интернет. В заброшенных местах и голых посёлках Юля бродил, отбрасывая длинную тень своего короткого тела на равнодушную местность. Взмахивая фонариком, словно разрубая ночную темноту, он томился и голодал — писать в этом пространстве было некуда.

Однажды, заехав по делам в областную столицу, он снова повстречал её. Катя выходила из авто, отражая два безупречных сапфира в полированной дверце, а он нёс картошку. Споткнувшись, Юля едва не упал.

Потом ели сосиски, сидя на набережной, и он рассказывал, не замечая, как брызги кофе моросью оседают на воротничке. Тёмные нитки морщинок пробегали в уголках её глаз, когда Катя смеялась. Она странно смотрела — что-то нежное и хрупкое скользило в этом взгляде. Почти не заикаясь, Юля читал стихи. Облака проплывали по небу, как тени, Катя касалась его пальцев холодным стаканчиком из-под колы и улыбалась.

Из тёмных прорех наверху расплавленным золотом горело солнце. Моросил дождь.

Но кола закончилась, и Катя потянулась за сумочкой. Смахнув с экрана чужое лицо, она показала двух малышей. Близнецы смотрели задумчиво и печально, словно античные сосуды.

Кола закончилась. Катя покинула его.

Кругликов пытался пить, но не смог — у него был больной желудок. Распродав последнее, он скрылся в пространстве сибирских рек. Он шёл по течению, обходя массивные плотины. Юля писал заметки про чахлый быт тоскливых рыбаков, движение барж и достижения полей, но их не печатали, как не печатали стихов. Его не осталось в сети — поговаривали, что он умер или просто растворился в тех бездонных местах, у которых не спросишь ответа.

Кругликов объявился внезапно, и быстротечная его слава сияла красным. В глухом селе к северу от Селенги, к югу от Карского моря объявили выборы. Двери начальной школы расколотили и внутрь затащили урны из царапаного пластика, оборудовав участок голосования. Люди тянулись неохотно, мнимые водкой и музыкой. Здесь объявился и Кругликов. Он шёл, заросший и грязный, а за плечами его, обвязанный верёвками, висел аккумулятор. Переведя дух, он молча оглядел избирательную комиссию. Пройдя тяжёлым маленьким шагом, он стащил со спины заполненную свинцом батарею и с грохотом бросил её на стол перед лицом председателя:

— Вот!

— Что это? — не поняли его.

Кругликов постучал по раздутому корпусу грязным пальцем:

— П-п-плоды земли... Мы засеяли наши поля м-мышьяком, мы вскормлены на молоке из свинца, они проникли нам в кости, отравили в-воду! Наши зубы искрошились, наши лёгкие пропитаны кислотой, и я спрашиваю тебя, где наши д-д-дети!?

Кругликов распалялся всё больше, и кто-то первый поддержал его.

Народ обрушился на урны и ширмы, выграв водкой и гневом, требуя разнести и сжечь аккумуляторный завод. Милиция не отвечала — телефонный кабель украли, а сотовой связи не было. Рассказывают, как Юля лично вытащил председателя избирательной комиссии во двор и, сверкнув очками, приговорил к расстрелу. Однако за неимением пуль наказание было смягчено ссылкой.

Кругликов объявил республику и, разорвав списки, приказал изготовить новые бюллетени. Вывалив из урны бумажки, местные буряты переголосовали и выбрали его. Шесть дней издавала декреты и указы Республика.

И не было на Земле справедливее её.

А на седьмой Кругликова посадили. Но сажали тогда ненадолго, и через год Юля вышел в привычную пустоту жизни. Он брёл в старых шортах по остывающим улицам осени, наблюдая движение чужих городов.

Последний раз я видел его в редакции.

Юля Кругликов постарел. Щёки его покрылись седой ржавчиной, а макушка обнажилась — бледная, как скорлупа. Он редактировал газеты. Газеты закрывались. Он редактировал. И всё повторялось вновь.

Я никогда не забуду тот вечер. Он сидит на вертящемся стуле, спинка отломана, и печатает текст. Вдруг оборачивается, услышав шаги. Растянутый свитер, глаза царапают из-под очков.

— Вот, п-п-послушайте, — говорит он вместо приветствия. — П-послушайте:

Ты прошла мимо,
сказав, что для тебя нет места
теперь ты сидишь обнажённая,
дрожа в углу...

Он отворачивается, и ночь липнет к окнам. Лампочка задыхается, едва освещая тьму.

— Это п-п-про меня, — говорит Юля Кругликов. — Это мне нет места, это я, обнажённый, сижу в углу...

Под линолеумом скрипят доски. Я слышу свои шаги. Мне холодно и темно.

Я вспоминаю кино про джедаев. Они идут, заслоняя лицами космос. Холщёвые одежды стекают в темноту. Джедаи несут покой. Их враги умирают, испуская молнии. Гибнут от ярости и тоски. Джедаи заносят световые мечи. Джедаи спокойны. Световые мечи ярко-голубого цвета. Может быть, поэтому они так холодны?

Больше я не видел Кругликова.

Знаю, что через год он снова встретил Катю. Она была напугана. Тот, кто жил с ней, кажется, он был совершенно нормальным. В меру обычным, но к этому привыкаешь — всё можно стерпеть. Был, пока жизнь не вошла в поворот. Может быть, что-то в голове у него сдвинулось, или трасса, по которой мы все летим, прижала его к обочине...

Но он слетел.

Нет, он не бил её, просто смотрел целыми днями и молчал. Хотя и это было неважно.

Что-то случилось с близнецами.

Вчера он заперся с ними, и близнецы кричали. Кричали, а теперь молчат, и он не пускает её.

Я не знаю, что было с Кругликовым. Джедаи должны быть равнодушны. В этом весь смысл... Покой наполняет их, как сосуды силой холодно-голубого цвета. И тогда они достают световые мечи...

У Кругликова не было меча, когда он вошёл в квартиру. Близнецы сидели в углу, девочка плакала, а мальчик лежал, свернув голову. Он был мёртв. Их отец вышел из душа, мерцая мускулами. Капли стекали на паркет. Он был обнажён и трезв, как плавный огромный зверь.

Мир наполняет джедая, когда он разрезает световым мечом воздух.

Но то, что жило внутри Кругликова, что толкало и рвало его всю жизнь, никогда не было миром. Девочка рассказала, что он закричал, когда вскинул руки. Ей показалось, что молнии заструились из его скрюченных пальцев, и ударили, и разорвали всё.

Юля Кругликов умер в больнице. Кожа его посерела и осыпалась, как пепел.

Я не видел его.

Но через несколько лет в сети стали появляться стихи. Стихи мёртвого поэта. Кто первый положил их на музыку? Я не знаю.

Но теперь, проходя по однообразным улицам, из открытых окон иногда вы можете услышать его.

В тексте цитируются стихи Л.Коэна «В ожидании друга» в переводе М.Гунина.

На Патриках тоже плачут

В тексте упоминаются вымышленные имена, сходные с именами лиц, являющихся иностранными агентами, экстремистами, террористами и пр., все совпадения случайны, имена являются именами их обладателей.

Вот она и говорит: Савва-Савва, напиши нам комический рассказ, ведь все знают, что ты лучше всех сочиняешь комические рассказы. А я отвечаю, ну стыдно как-то. А она, да не прибедайся, говорит. Там соберётся всё писательское коммьюнити, ты же хочешь быть в писательском коммьюнити? Знаешь, как это важно быть в писательском коммьюнити, сообществе, группе, объединении, компании, кавалькаде, подразделении, касте, племени, гурьбе, ватаге, товариществе, кружке, артели творчества, контингенте соратников, общей среде, союзе единомышленников, держать руку на пульсе, понимать, что почём. Набьются литературные редакторы, всяческие агенты, и вообще соберём весь цвет, самый сочок. Представь Батурину и Млынчик, коктейльчик-пати, Сальников читает новые панчи, собрались все Куприяновы, Ивановы и Ивановы, Герман наш Садулаев, Водолазкин без галстука, Гузелечка Яхина, Поляринов с Полярным, Юзефовичи, Некрасова Женя, Вера Богданова, Прилепин с Пелевиным... Со вторым или первым? — деловито спрашиваю. А она: а ты не знаешь? Неужели не знаешь? Это же все знают. Нет ни второго, ни первого. Вернее, второй и есть первый. Точнее, он один. Короче, они притворяются. Неважно. Будем развлекаться, играть в фанты, вынется фант Оксаночки Васякиной, вот будет радость, почитаем «Рану», а тут заглянет Дима Данилов и всех рассмешит: Ку-ку! Серёжа это я. Ку-ку! Олечка Брейнингер расскажет про Кембридж, Елизаров про автофикшен, Аствацатуров споёт, а потом будем слушать Цоя, мы всегда слушаем Цоя и думаем, обсуждаем, куда потратить гонорары, сколько загадывать за экранизации, пока Сорокин с Цыпкиным брудершафтят в своём углу.

Сорокин наливается силой, напряжённый. В сумраке комнаты экран телевизора мерцает мультиками. Картинки вспыхивают и гаснут, вспыхивают и гаснут совершенно беззвучно: обнажённый великан, широко улыбаясь, откусывает кому-то голову. Я откидываюсь, запах мужского пота, мой запах, пропитывает подушку. Сорокин зовёт меня. Дай руку, дорогой читатель, говорит он, я отведу тебя в тот край, дальний край, напитанный летом. Солнце будет лизать тебя шершавым языком, ты станешь проявленным, ты проявишься в свете. Июльские травы, вытянувшиеся до пояса, амброзия

и полынь, лакица, амарант и, конечно же, мятлик с прямостоячими стеблями, гладкими, коротковолосистыми влагищами, замкнутыми по всей длине, увенчанный колосками, напоминающими колоски пшеницы, но всё же зелёными, светло-зелёными, распухшими семенем. Они щекочат кожу на животе, эти колоски, когда ты пробираешься от своего Агамемнонштрассе в первобытный рай. Мир стрекочет тысячей запахов, слившихся в один, не имеющий окончания, как не имеет окончания любая вода, и ты ступаешь на илистое дно, лаская себя летней рукой — сверху солнце, снизу прохлада пруда. Дряблое тело античного божества, брошенное в волны. Стоит завернуть голову, чтобы в ушах зашумело. Изгибаясь, ты делаешь мелкие движения — раз-два, раз-два, раз-два, — гребками толкая вперёд эту напряжённость. Искры под веками, когда, фыркая, закрываешь глаза. Тянется капля. Озноб и трепет. Так можно изгибаться, схватывая губами воздух, час, два, неделю, вечность. Так можно изгибаться, но откуда-то с краю уже шепчет тот берег. Он прекрасен и невысок в тихих зарослях камыша. Там тебя уже ждут, нужно только постараться, только сделать ещё усилие, рывок, чтобы перестать, наконец, быть. Ты просто движение, просто волна, ты — мятлик многолетний. Тронутый ветром, сбившийся в густые дерновины. Заросший и неухоженный. Дрожат перепончатые язычки, нелепо сжались два обоеполых цветка, один чуть выше другого. Тычинка напряжена. Набухли стоячие волоски, в каждом из пыльниковых гнёзд уже прорастают в мужские гаметофиты зёрна, сжатые до продела зёрна, готовые выплеснуться жемчужной пылью, ты ускоряешь движения — раз-два — в ушах шумит красная вода — раз-два — красная вода, секунда — и Сорокин выстреливает в вечность...

Тот берег такой же, как все берега. Поросший выгоревшей травой, илистый и липкий. Я выползаю на камень, вытирая пальцы о живот. В пупке скрыто запустение. Тонкий подлесок издаёт запах ржавого железа. Чуть покосившаяся опора ЛЭП. Слышно, как скрипит, накрываясь от старости, ольха, что-то гуляет меж деревьев. Заросшая тропа круто поднимается вверх, туда, где на склоне замер силуэт, закинувший руки на спинку скамьи. Бритый затылок, и не видно лица. Тот берег недвижим, только сочится сумрак сквозь переплетение листвы, да ещё раздаётся звук: две ноты, то исчезающие, то появляющиеся вновь, будто кто-то неровно отсчитывает небытие. Так окликают кого-то во сне. Тихо-тихо.

Потом я понимаю, что это окликают меня.

Ку-ку.

Ку-ку.

Ку-ку! Серёжа, это я, — Дима Данилов закрывает ладошками глаза, высовываясь из-под стола, и все смеются. Диму обступают, восхищаясь, литературные агентки и редакторы, за него конкурируют, почти доходит до драки, так что Сенчин прячет в карман свой серый космос, но тут выносят подносик и шампанское. На подносике бутербродики, такие, знаешь, нарезанные острым ножом из хрустящего багета: чистое сливочное масло и красная икра. А больше ничего. Угощайтесь, господа, пока не закончилось! Но они не закончатся никогда, они никогда не закончатся... А знаешь, ещё будет у нас такая игра, только ты никому пока не говори! Не скажешь? Бутылка от «Просеко»,

а внутрь нальём «Абрау Дюрсо», на столе бокалы, а там — «Советское»... Понимаешь? «Советское», такая у нас игра, только тс-с-с... никому, пока бутербродики не закончились.

Я смотрю на поникшего Сорокина. Телевизионный свет делает его совсем бледным. Волоски искрятся, словно сделанные из седого нейлона. Простыня измята. На ней вчера была женщина. Она пахла сладковатым вейпом и всё время повторяла: ты не знаешь меня, ты не знаешь меня... Мы сошлись у реки в нелепой группе людей, называвших себя поэтами. Чуть младше тридцати, она громче всех смеялась и сосала многоразку, без конца выдыхая дым. Губы её кривились. Она говорила, что её занимает только экология, настоящая экология, истинная экология, радикальная экология, требующая взаимного и гарантированного уничтожения. А ещё — смех. Нам было по пути, когда, расхохотавшись, она прижалась и поцеловала меня. Под футболкой у неё не было ничего, я потянулся проверить ниже, и тогда первый раз она закричала: ты не знаешь меня! Я побежал следом, но она уже улыбалась, выдыхая нагретые пары в воздух. Я люблю, когда порют, — прошептала она, а я ответил, что мне страшно в квартире. Порют, — повторила она, а я сказал, что иногда ночью, стоя над унитазом, чувствую спиной, как кто-то пялится на меня из темноты. Чужой взгляд упирается в позвоночник, я сжимаю дверную ручку до побеления, придерживая дверь. Да ты не сможешь! — хохочет она на кухне. Выключи, — говорит в спальне. Не люблю мультики. У тебя по телевизору всегда мультики? Выключи, выключи! Не люблю...

Я переключаю канал, и в телевизионном свете вижу, как трясутся её плечи. Помада запеклась на губах. За окрашенным ртом белеют зубы, когда она беззвучно смеётся. Я кладу ладонь ей на живот, ощущая вздрагивающее тепло. Она отталкивает меня. Схватив за волосы, я тяну её, заставляя запрокинуть голову, ваю на постель, и мы дерёмся. Её ногти в крови, моей крови, но я не чувствую боли, только сладковатый запах и молочное мерцание. Но тайное, тёмное — недостижимо, когда вдруг она, вся обмякнув, шепчет: придуши меня. Подушка сброшена. Из-под сорванной простыни торчит оголённое тело матраса. Телевизор работает беззвучно, и в обступившей тишине слышно, как за окном кричит сигнализация. Я медленно целую её грудь, обвожу пальцами тёмное, когда она рвётся: придуши меня! Губы искривлены. Дотронувшись до шеи, я ощущаю, как бьётся под пальцами. Прохладная форма напоминает китайский фарфор с голубоватыми венками, мне нравится его бледная хрупкость. Она смотрит на меня, почти не моргая. Её подведённые глаза расширяются, когда я медленно сжимаю пальцы. Кто-то невидимый всё ходит и ходит по потолку. Наверное, так сворачивают шею птице. Оперение угасает, когда я надавливаю на сонные артерии. Широко распахнутый рот в сладкой гримасе — с отчаянной силой она вдруг пытается вырваться, но я лишь сильнее сжимаю пальцы. Её глаза затуманиваются. Отчаянно кричит за окном сигналка, горло можно продавить, оно продавливается, соседи включают и выключают воду, пока всё не замолкает, всё не замолкает так, что становится слышно, как гуляет в ржавой листве ветер и кто-то зовёт нас, повторяя две ноты на том берегу.

Я распахиваю окно. Её тело неподвижно. Обнажённая грудь застыла, как сброшенная оболочка. На коленке корочка от ссадины. Тёмная щетина на лобке. Я вдыхаю ночной воздух. Пью молоко на кухне. Вытираю руки в ванне.

Я же просила... — произносит она еле слышно. Осипший голос, как будто что-то саднит в квартире или соседи этажом выше включили пылесос. Я обнимаю её, вслушиваясь в шёпот. Я же просила, пожалуйста... Капельки пота, проступившие на ключицах. Такие холодные, если прикоснуться. Она поворачивается ко мне.

Ты можешь, — просит она, — ты можешь...

Морщинки в уголках глаз. Её лицо совсем близко, так что я ощущаю дыхание.

Пожалуйста, ты можешь, пожалуйста, ты же можешь, пожалуйста, задуши меня до конца...

Я целую её в рот. Губы совсем сухие. На дне скрыта сладковатая влага. Недолго она отвечает, а потом, отодвинувшись, произносит: у меня вчера умер отец.

Она трясётся, закрыв лицо руками. Но слёз нет. Я смотрю, как по экрану беззвучно гуляют мультики. Сильная девочка выбрасывает вперёд руки, концентрируя чакру. Её противники разлетаются от ветра. Уже поверженные, они ещё пытаются достать её, опрокинутые ураганом. Исподтишка брошены ножи, но девочка идёт по воздуху, как по земле, отражая всё и всё прощая. У неё такие ясные глаза, я вглядываюсь в них, но слёз нет.

Савва-Савва, а напиши нам комический рассказ про Патрики, говорит она. «На Патриках тоже плачут», как тебе название? Ничё такое, ага? Помнишь, ты нам всё хвастался, как десять лет жил на Патриках, пророс там буквально, как росточек освоился, Патрики же у тебя в крови и слюне, если ты понимаешь, хи-хи, ты там знаешь все сладкие местечки, кофепойнты, потайные точки, закрытые лаунжи, вип-зоны, андеграундные локации, ресторанчики с устрицами, СПА и локальные барчики, лакшери клубасы, вот и напиши-напиши, чтобы можно было расслабиться и потанцевать, тем более что соберётся вся тусовочка, все топчики Светлана Алексиевич и Татьяна Устинова, Серёжа Лукьяненко и Боря Акунин, Людмила Улицкая, Ислам Ханипаев, а ещё Мариам Петросян, будем культурно фестивалить и слушать песни Яны Вагнер — ты же слышал Вагнер Яну, Яну Вагнер? Не слышал, обязательно послушай Яну Вагнер. Вагнер Яну. Послушай-послушай, Вагнер Яна, — в общем, мы будем её слушать, а потом неожиданно из-за шторы высунется Дима... Ладно-ладно, напишу, говорю я.

Я поглаживаю Сорокина. Мне даётся одно искусство: едва заметно прибавлять звук так, чтобы мультяшные голоса были уже слышны, но ещё не различимы в смысле слов. Тихое бормотание, в котором проявляются только интонации, но нельзя разобрать сточные слоги и буквы. Это сложно, потому что ухо адаптируется, и приходится уже через пару минут корректировать звучание, подстраивая, чтобы не вовлекаться и не понимать значений. Если же настроить слишком тихо, то бормотания, самого существования разговора, не станет,

он растворится в том, что становится так ясно, когда пропадают разговоры, что отчётливо именуется словом тишина, которое не передаёт и не может передать ту наваливающуюся бездонность, которая опускается на тебя, как пустой аквариум, океанский пустой аквариум, и ты наконец понимаешь, что на самом деле вокруг тебя существует только тишина, и больше ничего нет, совсем ничего, только тишина, и тогда становится страшно. Нет-нет, это страшно, но я овладел искусством настраивать телевизор так, чтобы на экране говорили, не разговаривая, постоянно общались друг с другом на всевозможные темы, тогда можно под переливы только угадываемых интонаций попытаться заснуть. Да-да, так я засыпаю. Я засыпаю, потому что человек не может не уснуть. Я засыпаю, но где-то посреди сна приходит осознание, что я умру. Чёткое понимание, что я конечен. Лампочка перегорит навсегда, и меня не будет. Тогда я вскакиваю и кричу. Я мечусь по квартире, повторяя: нет, нет, нет! Бросаюсь на кухню, включая везде свет и врубая приборы: нет, нет, нет, Божечки, пожалуйста... вгрызаюсь в кусок минтая из холодильника, слушаю, как ревёт вытяжка, как гудит, наливаясь горячей силой, чайник. Отплёвываюсь плавниками. Ледяная чешуя хрустит во рту и едва заметно тянет креозотом из раскрытого окна. Смятая постель, где вчера была женщина, пропиталась потом. Прикрыв Сорокина простынёй, я проматываю сторис. Авторы подставляют субтитры, но я не отключаю звук. Гламур, блонды. Гламур и брюнетки. А, а, мне неважно. А, а, я хэдлайнер. Я с-с-спятил. Ты с-с-суперклассная. Тряси си-си-сисечками. С-с-сексуально. С-с-сексуальна. Тот, кто не был тут, не знает вкус напалма по утру. Не волнуйтесь, я вернусь и вашим бабам расскажу. Можешь в страхе ждать призыва, ну а я рожаю взрывы. Бу нацистов. Под вальс валькирий. Бу нацистов. Под вальс валькирий. А, а, я хэдлайнер. Ты-ты-ты-ты сексуальна. Мы с тобой так сексуальны...

Конечно, я нахреначил. Не был я ни на каких Патриках. И вообще нигде не был: ни в Москве, ни в Нью-Йорке, ни в Турции, ни в Тель-Авиве — вообще нигде, кроме рабочего посёлка Мама на берегу реки Мама в Мамско-Чуйском районе Иркутской области. По утрам воду здесь застилает туман, предвестник скорого зноя. Едва заметен в дымке остов старого крана. Поругиваются собаки, и что-то тихо постукивает, ударяясь бортом о край дощатого причала. Пахнет сыростью и ржавчиной. Днём солнце заполняет посёлок, выбеляя облупившиеся заборы и волосы детей. Они бегут вдоль берега, пытаясь укрыться от жары. Даже в полдень от воды веет холодом. Если отойти чуть подальше, оттолкнуться от берега, то можно плыть, опустив вёсла, доверившись течению реки, заполнившей бесконечное пространство. Ты есть движение в однообразной природе, то приближаясь, то удаляясь, монотонной зеленью всё тянется и тянется, не имея конца. Я хотел бы вернуться, Мама. Как хотел вернуться Набоков, стоя у скамейки на том берегу. У него был Сорокин, Сорокиным озаглавил он свой великий роман. У него украли туфли, и всё же он стоял в одних трусиках под солнцем, многолетний мятлик, ожидая чего-то на том берегу. Мама-Мама, мне так страшно здесь, так одиноко. По ночам я слышу, как приходят звери. Я хотел бы свернуться, укрывшись на дне лодки, и плыть, плыть, плыть по твоим долгим водам, наблюдая за тем, как река отражается

в небе, ибо небо есть лишь отражение, как и всё пространство, всё сущее, вся природа. Я хотел бы вернуться в тебя, Мама, только, пожалуйста, не зови меня.

Я лежу, покачиваясь, на дне лодки. Холодной точкой на небе плывёт солнце. По телевизору гуляют мультики. Писатели танцуют. Из угла появляется Дима Данилов и говорит:

В пути я занемог,
И всё бежит, кружит мой сон
По выжженным полям.

В тексте цитируются: песня «Гламур». Авторы текста: Никита Коробыко, Егор Юницкий, Артём Шиловец; песня «Возмездие (вальс валькирий)» автор неизвестен; стихи Мацуо Басё в переводе Веры Марковой.

English lessons

Памяти Валентина Распутина

Мы повторяем за ноутбуком: Do the dishes.

— Мыть посуду, — переводит Лера. — Что за гон...

Я смотрю на её ноги. Пальцы белыми уступами, со сколотым лаком ногтей — нелепые и хрупкие. Обнажённые сдвинутым одеялом щиколотки в точках сбритых волосков.

— Давай следующее. — Она нетерпелива.

Я щёлкаю мышкой, переключая задание, голос произносит что-то по-английски, затем переводит — нужно выбрать правильный ответ. Постель разрушенным облаком, то белым, то молочным, но смятым и тёплым, — вокруг. Чашки остывают чаем, мы грозимся перевернуть их, когда тянемся за тёмной, как кровь, черешней.

— Do — значит, делать что-то, что не может никак закончиться. Такой нескончаемый процесс, — пытается понять Лера. — Например, мыть посуду...

Сладко сплёвываю косточку.

— A make — это когда может быть какой-то результат.

— Make dinner, — соглашается ноутбук.

Корпус скрипящего пластика жжёт кожу, я приподнимаюсь, чувствуя, как затекли ноги.

— Эй, ты что! — возмущается потревоженная Лера.

Я прижимаюсь к ней плечом.

Хлопаем по клавишам, выбирая ответы. Кажется, правильно.

— Do business — make money, — подтверждает ноутбук.

— Какой-то тупой язык.

Я молчу, наблюдая, как она тянется за чаем, морщится, прихлёбывая.

— В школе я ходила на французский...

— Кому он нужен...

— Я уговорила ещё одну девочку: вместе не так скучно. Она так ленилась, а сейчас вышла замуж за француза, прислала открытку. Париж, о Париж...

Черешня заканчивается. Лера задумчиво перекатывает во рту косточку.

— Наверное, она меня сейчас благодарит...

Я смотрю в натяжной потолок — плёнка едва заметно колыхнется, словно вздрагивает сердце: тук... тук...

— А секс? Как будет «заниматься сексом»?

Мы спрашиваем липкими пальцами у Интернета. Лера читает:

— Have sex.

— Романтично...

Кончиком пальца скольжу по её бедру — она вздрагивает.

— Щекотно...

— Have breakfast... Have sex...

Она фыркает, отстраняясь, но я притягиваю её к себе. Потолок переворачивается. Я слышу, как вздрагивает сердце. Приглушённый смех.

Потом тихо лежим, погружённые в утро.

— Говорила бы сейчас по-французски... — мечтательно шепчет Лера. — L'amour qui dure toujours...

— Жила с французом...

— Наверно... — отвечает она.

В окна дышит утром и холодом. Плещется между стен, растворяясь в солнце, радостный детский визг.

— Заниматься сексом, делать деньги — фразы какие-то уродливые...

— Фразы как фразы... Смотри, какие мозоли.

Стопы сзади стёрты до крови. Я целую её пятку.

— Ну что ты... грязная! — отдёргивает Лера ногу.

— Говорим как роботы... Всё же можно сказать одним словом.

— Ну-ка...

— Не делать деньги, а зарабатывать... Не бизнес делать, а... — я задумался, — торговать, купечествовать...

— Ой, что это у тебя в ухе? — Приблизившись, она тянется пальцем от мочки к раковине: — Ого! Да это... настоящий мох! Ты замшелый пенёк, вот кто!

Мы боремся, сминая подушки. Она хихикает, повторяя «купечествовать», а я пытаюсь зажать ей рот. В ладони влажным дышит и бьётся жар.

— Ой! — Мы ереворачиваем тарелку с косточками.

Красные оплёвыши на белой простыне.

— Ну, сорян, — извиняюсь я.

— Всегда ты так...

Отряхиваю постель: мелкий сор, сухие крошки щекочат ладонь. Кружки, чашки грязной грудой на полу. Спрашиваю:

— А может, так и надо? Зато просто. Я есть это. Ты делать то... Иметь завтрак. Иметь секс...

— Не иметь, а заниматься... Учи лучше французский.

— Французский я знаю только...

— Это пошло...

— А ты научи меня.

— Окей... — Лера, переключая окна, набирает что-то на компьютере. — Мне нужен переводчик. Как будет...

Она замолкает. Я вижу, как медленно двигаются губы, словно подбирая какую-то мелодию. Она немного сутулится, позвонки проступают на коже угловатыми ступеньками. Тук-тук.

— Ага... Как-то так. — Прикрывая экран ладонью, она произносит: — On fait une pipe?

— Что-то про судьбу?

— Oui ou non? Скажи только: да или нет?

Я смотрю в глаза. Тёмные омуты. Что скрыто на самом дне? Солнце бликует на воде.

— Да... — отвечаю я.

Приблизившись, она шепчет:

— Правильно...

Лера наклоняется — ниспадающий шорох волос. Что-то едва уловимое и тёплое скользит от груди вниз, вниз. Пахнет черешней и яблоком. Я чувствую, как она целует меня в живот.

Когда мы открываем глаза, — темнеет. Облака, ведомые ветром, заслоняют солнце.

— Ты видишь сны? — тихо спрашивает Лера.

— Нет...

— Мне сегодня приснился сон... Будто случилось землетрясение. Как в прошлом году: стены ходили ходуном, и было страшно...

Она не смотрит на меня. Слабый свет делает её кожу бледной, вытягивая тени и голубые русла вен.

— Я спряталась под дверным косяком, как учили. По потолку прошла трещина. Всё качнулось — меня бросило на пол, и я помню... Я помню, как бетонная плита всё падала и падала на меня. Словно всё замедлилось и я понимала: вот сейчас меня раздавит... Сейчас... В тёмных пятнах и щербатых прожилках, такая тяжёлая! Оборванная арматура, скрежет, а я замерла и всё пытаюсь выдохнуть... Всё пытаюсь пошевелиться...

Она прижимается ко мне. Я чувствую, как она дрожит. Мне тоже становится холодно, и я укрываю нас одеялом.

— А потом плита, наконец, упала, и я проснулась. Кажется, открыла на секунду глаза, чтобы выдохнуть, — и тут же новый сон. Вернее, продолжение старого. Я лежу, придавленная, а из окон льётся вода. Отчего-то я понимаю, что плотину разрушило и Ангара затопила город. Тёмные потоки закрывают грудь, рот, нос, но я могу дышать. Меня несёт куда-то, вокруг всё зелёное и прохладное, как бутылочное стекло. И вот, я понимаю, что здесь все мёртвые... Все...

Лера замолкает, я касаюсь щекой щеки, чувствуя, как она вздрагивает:

— Плотина прочная... К тому же мы живём на горе...

— Я хочу найти маму, но её нигде нет, — говорит она шёпотом. — Я могу найти каждого, но её нет...

Бесшумно поворачивается что-то в потоке облаков, заливая комнату солнцем. Солнце, отражённое в стёклах, — я закрываюсь от него. А когда отвожу руку, то ничего уже нет. Что-то ушло, как уходит с отливом море. И мы, словно брошенные им, в комнате пустого света.

— Это сон... — тихо говорю я.

Лера молчит. Я глажу её по щекам, тихонько дую на влажное, чуть солоноватое лицо.

— Знаешь, иногда я думаю: а что если бы было можно поговорить с кем-то из умерших писателей. — Я касаюсь её носа. — Интересно бы было... Как считаешь?

— Не знаю...

— Однажды у меня был шанс, а потом человек умер... Я часто вспоминаю об этом. Хотелось бы узнать, спросить у них что-то...

— Не знаю... — повторяет она. — Нет... наверное, нет.

Смотрит пристально, словно пытаюсь угадать: всерьёз — или нет?

— Я однажды мечтала: вот бы познакомиться с Харуки Мураками! Я очень люблю его. Представляла, как выучу английский и увижу его где-нибудь в Японии. Мы сядем на скамейку, и я спрошу... Только о чём мы будем говорить? Он, в отличие от твоих мёртвых писателей, жив, но мы как будто с разных планет, миров... Какие у нас могут быть темы для разговора? Вдруг он подумает, что я глупая, а то, ещё хуже, мне покажется, что он скучен или недалёк...

— Можно болтать о погоде...

— И вдруг я узнала, что он любит бег — и тогда всё сложилось. Когда я встречу его, мы не будем ни о чём разговаривать. Я просто спрошу: можно немного бежать рядом с вами? Просто бежать? Где-то рядом ещё одна пара ног...

Я подхожу к окну. Пасмурно, но дождя нет. Пелена в небе едва заметно движется — серая, неплотная. С нашей горы видно, как где-то вдали солнце заливает стены девятиэтажек сияюще-белым.

— Do love or make love? — Спрашивает ноутбук.

— Make — делать, заниматься любовью, — поворачиваюсь я. — Что-то, что имеет конец. Так правильно...

— Нет...

Легко подходит, ступая босыми пятками, замирает рядом, привстав на цыпочки. На расстоянии касания — едва заметный запах постели и тёмных волос.

— Правильно — любить, — говорит она.

Алёша

За окном отчего-то пахло яблоками. Зелёными с кислинкой и сладкими красными душистыми, как воспоминание, и терпкими, терпкими, чуть вяжущими рот. Светло, но ещё не ярко там, за стеклом. Едва различимые голоса, как дыхание полдня сквозь раскрытую форточку, и хочется ввысь, ввысь...

Карандаш опускался на парту, ударяя тупым о твёрдое, а ты всё думал, какое это нелепое имя — Лёша. Мягкое и несерьёзное, детское и улыбочное, как блин. Но главное — уменьшительное, и от этого никуда не деться, не будешь же представляться — Алексей. От Алексея веяло чужим и резким. Имя казалось самодовольным и чересчур взрослым, слишком большим. Любой, кто старше тебя, — рассмеётся. Да и остальные... Может, Алекс?

«Здравствуйте, меня зовут Алекс, и я придурок...»

Похоже, что так оно и звучит.

Он вспомнил, как прошлой зимой их познакомили:

— Ну, привет, — рыжий пацан протянул руку и добавил, — Максим.

— Алёша, — растерялся ты от собственного имени.

Отдёрнув ладонь, пацан скривился:

— Чего в перчатке тянешь? Здороваться не умеешь?

— Почему?... Умею...

Зажав пакет под мышкой, ты потянул шершавую вязку с пальцев. Тебе было тесно и потно оттого, что ты не умеешь здороваться за руку, а ещё от этого имени, и перчатка всё не хотела сниматься, а они смотрели и...

— Алёша, — совсем тихо повторил ты.

За окном светлое, но ещё не яркое, играло тенями от листьев, раскрытое в тихую высь. Вокруг дышали, выводя буквы, одноклассники, строго смотрела Людмила Александровна, а Лёше всё казалось, что Лёша — это совсем не о нём. Вернее, о нём, но... о нём внутреннем. Маминым. Домашним. Это дома можно бегать в одних трусах, а в школу нужно надевать что-то серьёзное и твёрдое.

Вот, например, Олег. Что за имя! «Как тебя зовут, мальчик?». И сразу каменное: Олег. И всё нормально. Никто и не ждёт от тебя Олежки. А что тебе? Рассмеются: «О-о-о! Алексе-е-е-й... Ну и важный господин! Как же вас по отчеству?» Нет. Всё-таки Олег намного лучше. Да мало ли серьёзных имён? Егор, Герман, Игорь... Никакого сюсюканья...

— Алёша, ты закончил? — спросила учительница. — Сдавай.

Прозвенел звонок, где-то хлопнула дверь, и коридоры наполнились ударами ног и радостными криками. Осень только наступила, а с неба смотрело огромное и безоблачно синее. И так хотелось разогнаться, взмахивая руками изо всех сил, и взбежать туда, вверх, ввысь, выше солнца.

* * *

— А ты знаешь, что люди как собаки?

— Это как? — рассмеялась она.

Они стояли у парапета, глядя на медленную воду.

— Ловят друг друга по запаху. Стоит только понюхать за ухом, и сразу поймёшь — твой человек или нет.

— Ну конечно!

— Правда-правда! Достаточно двух секунд. Вот смотри!

И, зажмурившись, он приблизился к её щеке, обнимая. Она рассмеялась, чуть поворачивая округлое и тёплое, но не отстранилась, а он вдохнул этот запах. Запах ветра, реки и — всепоглощающий и тонкий — запах её волос. Секунда замерла, скатываясь в вечность, а он услышал её дыхание и, скользнув по коже, коснулся кончиком носа

— Алёша... — прошептала она.

Медленно уходила вода, и в воду тихо опускалось солнце.

* * *

— Алексей Михайлович...

— Зовите меня просто Алексей, — улыбнулся он. — У нас демократичная компания.

Новая сотрудница посмотрела задумчиво, словно поворачивая что-то в уме. Затем, чуть кивнув, бросила:

— Хорошо. Тогда я пойду?

— Конечно.

«А через месяц на море...» — пронеслось в голове. Лежать, поглядывая, как проходят мимо заполненные живым и загорелым трупы.

Потянувшись, он придвинулся к компьютеру, прицелившись в монитор. Цифры смеялись, мерцая предвкушением денег, выметая из ума лишнее, охватывали и поглощали всё. Щёлкнули колонки, извещая о сообщении. Он открыл страницу ВКонтакте — так и есть. Свежий комментарий на «стене».

«Ты не прав, Алёша, — писал незнакомец. — Важно не то, кем ты хочешь выглядеть, а то, кто ты есть. Как ты себя называешь. Кем чувствуешь на самом деле! Эта твоя показушность... Набор картинок успешности, и больше ничего... Впрочем, как у всех».

Ухмыльнувшись, перечитал. Ну что за чёрт? Долго разглядывал чужой профиль: Виктор Нечипорный, две плохие фотографии, сорок семь друзей и, видимо, всё.

«Послушай, Витя», — напечатал он, и ему понравилось.

«Послушай, Витя. То, чем ты кажешься, только то ты и есть. Вот ты, например, кажешься никем. Скорее всего, так и есть».

Он оглядел предложение. Красиво. И всё же что-то царапало между рёбер, не давая ударить enter. С минуту подумав, добавил: «Брудершафта мы с тобой не пили. На одной шконке не лежали. Так что какой я тебе к чёрту Алёша? Животное, уймись».

Сжав губы, щёлкнул мышкой — сообщение упало в сеть.

* * *

Долго смотрел в зеркало. Одутловатое и какое-то шершавое, словно истёртое то ли песком, то ли временем лицо. Мешки под глазами придавали помятый вид. Хорошо хоть волосы на месте. Это у тебя от отца. Как там говаривал отец?

Наполнив рот ополаскивателем, забулькал. Ничего-ничего, — похлопывая себя по щекам. Ничего-ничего, — и даже напевая что-то. Всё у тебя получится, сорокалетний ты хрыч!

— Всё у тебя получится, А-лёша!

Он произнёс это, не открывая рта, горлом. Словно рыба, пропевшая это у него внутри. Ударив себя в грудь, сплюнул, выпячивая живот. Ну вот! Ничего-ничего.

В новом здании было скучно. Все скопились внизу, на первом этаже, в холле. Они стояли как манекены — серые-серые. Толпились пиджачной массой.

Тихо рыкнув, доставая из груди силу, он произнёс речь:

— Всем доброго утра! Я ваш новый руководитель — Лампов, ударение на второй слог, Алексей Михайлович. Алексей Михайлович Лампов. Правила у меня простые: всё должно быть чётко, просто и в срок. Сегодня у нас открытие нового офиса, это замечательно. Сейчас я перережу ленточку, но никаких гуляний, корпоративов и прочих пьянок я не поощрю. Все пойдём на рабочие места. Я вообще не сторонник всех этих заигрываний и празднеств. Работе — работа. Так говорю я — Алексей Михайлович Лампов. И никаких, пожалуйста, фамильярностей. Сегодня же я проверю кодекс корпоративной этики на предмет соответствия... С сегодняшнего дня все обращаемся друг к другу на «вы» и по имени отчеству. Это «а» — патриотично. Так наши предки друг к другу обращались. И «б» — по-европейски, так как вежливо. Ну, буду закругляться. Если что-то необходимо, не стесняйтесь. Обращайтесь ко мне прямо. По протоколу через секретаря. Алексей Михайлович Лампов!

Робко заплотировали. Не обращая внимания, он зашёл в лифт и нажал на кнопку. Большая кабина пустовала — никто не последовал за ним. Двери никак не закрывались, словно выжидая, а пиджаки не уставали хлопать. И хлопали, и хлопали, и всё смотрели. На секунду ему показалось, что вот сейчас створки сойдутся, отделяя его от них, и там, за тонкими дверцами, всё оборвётся. Толпа вздохнёт и сначала тоненько, а затем всё громче, повизгивая, расхохочется.

«Лампов! — утирая слёзы. — Лампов! Ты слышал? Ха-ха-ха! Алексей Михайлович! Вот умора-а-а! Лампов! Раз-два-три!»

Вздвогнув, он заглянул в глаза ближайшему. Что-то колыхнулось там, за пыльным стеклом, но тут створки, наконец, сошлись, и лифт потянуло вверх, неприятно отдавая в горло. Повернувшись к зеркалу, он похлопал себя по щекам. Поправляя галстук, откуда-то изнутри, горлом, словно рыба, заглатывающая воздух, произнес:

— Ауу... Ауу! Алексей! А-лёша!

* * *

Что-то лёгкое и тёплое, как мамин подол. Движение рук, голос:

— Алёша! Алёша! Иди кушать!

Она стоит спиной к окну в лучах серого света. Утро и запах оладушек со сметаной, и хочется спать, и так тепло, тепло, что он жмурится, чуть приоткрыв, снова закрывает глаза, а она всё зовет:

— Алёша, вставай, мой маленький. Вставай, пойдём кушать.

Согретый дыханием, он улыбается сквозь сон, тянет ладоши к маме. Мама пахнет нежностью. Поглаживая по волосам, шепчет:

— Вставай. Ну, кому я говорю, вставай, Алёшенька. Вставай, Алёша.

Она шепчет, напуская строгость. Но он успел подглядеть сквозь ресницы, и тянется, и улыбается в ответ. А она, поправляя одеяло, гладит по плечам:

— Алёшенька... Мой Алёша...

Трудно дышать, он не может выдохнуть. Воздух закупоривает глотку. Рванувшись, он пытается вытолкнуть это из себя. Наконец, что-то поддаётся, но вместо пронзительного и долгого из лёгких рвётся отрывистое: «У!»

Окно очерчено шторами. Руки дрожат. И в полумраке слабо видно, но всё же можно разобрать, что в комнате никого нет. Где-то на улице кричит, надрываясь, сигналка. Он сидит на кровати, чувствуя, как схватывает изнутри сердце. Майка отсырела от пота. Сделав усилие, он встаёт. Вода хлещет горячим в раковину, он плещет ею в лицо. Сердце сжимает и разжимает. Таблетки в шкафчике, он сглатывает одну, поворачивает вентиль и пьёт из ладоней воду.

Потом, включив на кухне весь свет, долго сидит над чашкой. За окном сумрачно и пусто, а утро всё никак не наступает. Он смотрит, как оседают чайники на дне густого и тёмного, повторяя: «Алёша... Алёша...»

Он плакал.

По потолку редко ходили, включая воду. Утра всё не было и, наверно, не будет. Сердце разжалось, оставив тихую ноющую боль. Иногда он вставал и, прохаживаясь по комнате, утирал слёзы, чуть заикаясь, разговаривал сам с собой:

— А-а-лёша. Ничего-ничего. Алёшенька. Алёша. Завари-ка лучше свежего... Так, надо ополоснуть... Засыпать заварки, где тут у нас заварка? Вот так, молодец, только не отвлекайся. Давай наводи порядок... Теперь кипяточку. Помнишь, как в детстве... Кипяточку и закрыть. Сейчас бы такую вязаную... штуку, надевалась на заварник, помнишь? П-помнишь...

Но горло стягивало, и он опускался на стул, зажимая рукой рот и кусая пальцы. Рыба внутри плакала, из глаз текло редкое и пустое. На время он замирал, словно в оцепенении. Но утро всё не наступало, и он повторял тихо-тихо: «Я Алёша. Алёшечка... Я справлюсь. Я молодец. Молодец...»

Засветло зазвенело:

— Алло, Алексей Михайлович? — спросили в трубке.

— Что? — не сразу понял он.

— Вы Алексей Михайлович?

Пока он пытался сформулировать и произнести, на том конце разозлились:

— Это Алексей Михайлович или нет?

— Да...

— А что сразу не отвечаете? У меня мало времени! Я по поводу пенсии, сегодня завезу вам.

— Да... во сколько вы заедете? Ну... хотя бы ориентировочно? Понимаете, мне надо...

— Не знаю. С девяти до восемнадцати. У меня столько таких, как вы...

И отключилась.

Сбривая седую щетину, смотрел в зеркало. Надевал чистое.

В этот раз деньги принесли к обеду, и он вышел в парк, вслушиваясь в день. Осень только наступила. Сверху ещё пригревало, но он чувствовал, как от земли тянет холодом. Дорожка разбитого асфальта давила на сердце. Пройдя совсем чуть-чуть и совсем задохнувшись, он опустился на скамейку. Сверху смотрело безоблачное и синее. Он тяжело дышал, утирая пальцами проступивший на лбу пот. Кто-то позвал:

— Лёша...

Он обернулся, вздрогнув.

Но звали не его.

— Не мешай бабушке, — женщина торопила мальчишку лет пяти возвращаться домой.

Они ушли, а он всё крутил головой, пытаясь отыскать знакомого. Но в парке было светло и пусто. Откинувшись, он посмотрел на солнце сквозь прикрытые веки и попытался вспомнить всех, кто звал его просто так, по имени. Их было, оказывается, совсем немного. Совсем немного, а теперь не осталось никого.

Из школы неподалёку выбежали две девочки. Банты колыхались как огромные белые хризантемы. Девочки пронеслись мимо, смеясь и не замечая его. Секунда — скрылись за поворотом цветастые рюкзаки.

Он сидел на скамейке, ковыряя ботинком землю. Почва, влажная после вчерашнего дождя, легко поддавалась, а он смотрел, как свет отражается в темноте луж. Наконец, машинально, ещё сам не понимая зачем, он отломил сухой кончик ветки. Шершавая и немного пыльная в руках. Украдкой осмотревшись, он наклонился и медленно начертил на земле: «Алёша».

Надпись лежала под ногами округлая и ровная. Хотелось разглядывать, тихо перечитывая её. Обведя имя в круг, он несколько раз повторил его.

А потом, отвернувшись, подставил лоб прохладному и безбрежно синему, что раскинулось в огромной высоте. Где-то зазвенело, и уже через минуту мир заполнился радостными криками. Отчего-то пахло яблоками. Зелёными кисло-вяжущими и хрустящими красными, сладкими. А сверху дышало прохладой и предвкушением, и так хотелось разбежаться изо всех сил и шагнуть вверх. Ввысь. Ввысь.

Ирина Барабанова

Дитё Советского Союза

Рассказы

Варвара

Клубника без сахара

У Варвары муж без ног, два кота и рассада клубники. У неё дом, огород и очередь за пенсией. Раньше почтальон приносил, а сейчас надо самой. Третий день ходит. Боится потерять талончик с номером 115.

Она поднимается раньше солнца, чтоб истопить плиту, выпить кипятку без сахара и пойти за «гуманитаркой». В прошлый раз давали какие-то непонятные пакеты с крупой без запаха и вкуса. Она её варила как обычный рис, а та ж сразу набухла и превратилась в кисель. Как такое есть? Но съели. А куда ж деваться? Не те времена, чтоб нос воротить.

А вот сегодня вручили батон, два пакета рожек, бутылку подсолнечного масла и палку копчёной колбасы.

Варвара с улыбкой победителя показывает мне её в окошко телефона.

— Ты ж подумай, Ирочка, какая роскошь! Мы такую вот колбасу и в мирные дни не покупали. А тут вот на тебе, пожалуйста. Шас-шас, погоди, покажу консервы ещё. Не понимаю, шо тут написано на них. Може, ты разберёшь? Но мы с соседкой, когда до хаты ковыляли... ты ж сама понимаешь, всё ж у нас тут побито войной... улиц ж нету теперь. Там, где козочка проскачет, двум старухам не пролезть. Короче, вертели туда-сюда эту вот пачку непонятно с чем. Но похоже на котлеты. Може, Ирочка, ты сейчас молодыми глазами прочтёшь и скажешь, шо не котлеты. Но нам, бабкам, хотелось бы, шобы это были котлеты, — улыбается.

Барабанова Ирина Аркадьевна — журналист, копирайтер, писатель, поэт, историк искусства, сценарист. Родилась в Казани. Окончила Казанский Государственный Университет, учится в магистратуре РГГУ — «История зарубежного искусства XV — XX вв.: контексты и интерпретации». Автор книг «Странная девочка, которая не умела как все», «Метафора» и др. Участница проектов АСПИР. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 8.

Варвара поправила седую прядь. Потёрла сухими пальцами белый нос.

— Не, Ирочка, у нас не холодно. Шо ты, дивчинка. Не-е. Градусов одиннадцать точно. Я ж топила вчера вечером. Газа нет. Шо ты? Какой газ? Углём и дровами. Но это коты мёрзнут да рассада. Мы с дядькой Петром привыкли, нам нормально. А в целом у нас всё хорошо, не надо, не переживай. Утром супчик из рожек сварила... Бахают? День и ночь бахают. Так мы привыкли. Сколько лет же бахают. Думаю, в этот раз нас уж сильно бомбить не будут. В четырнадцатом же сильно так побили, хватит. Пусть в этот раз пропустят. Кто бахает? Да какая разница? Поди ж разбери из окна. Много мне отсель видно? Ой, посмотри, кто пришёл! Харитон! Харитончик наш. Котик. Ласковый такой. Под одеяло ко мне заберётся и спит. Мне тепло. Ему тепло. А как сегодня ночью бахнули, ставни послетали, а стёкла ничего. Я их скотчем как заклеила восемь лет назад, так они там и есть до сих пор. Ну, значит, бахнули... Може, в центр города снаряд прилетел, не знаю. Харитон как подпрыгнет к потолку, как закричит. Я говорю: ну шо такое? А он глазами вращает, как будто ему хвост оторвали. Прямо нежный какой. Молодой, неопытный. Весь день сегодня не ел. Гулять не ходил. Боится. Мы вчера в очереди стояли. Как шум начался, народ к стенкам потикал. Зачем? Там же быстрее прибудут, глупые. И в подвал я не пойду. Это ж всё равно, шо добровольно в могилу сойти, щоб меня там заживо и засыпало? А ты вот сама вразумляй, как это сидеть в морозилке при двух градусах. Не-е, я так считаю, мой дом — моя крепость. Он меня защитит.

Варвара живёт в Лисичанске. В своём доме, на окраине. Здесь родилась, выросла, замуж вышла. На этой земле её родня, друзья, знакомые. У Варвары два сына: один в Канаде, другой в России.

Утром она выслушивает по телефону политинформацию от одного своего ребёнка, как наступают «наши», а вечером от другого — как тоже «наши», но с другой стороны. Кивает, молчит, не спорит.

— Нет, нет, Ирочка, никуда я не поеду. Мне всё равно, под какой властью жить, лишь бы перестали стрелять. Шо я обо всём этом думаю? А шо я могу думать, когда сама дитё Советского Союза? Я не думаю, я горюю. Как мать горюю. Это ж сердце так из груди достать и на части покусать. Когда твои дети воюют друг с другом, тебе шибко за политику? «Правда» — она ж на бумаге только. Газета раньше была. Называлась так. А в жизни-то она у каждого своя. Каждый за себя стоит, свою выгоду выгораживает. У меня два племянника пошли воевать. Один с россиянами, другой с украинцами. Я ж с колен не встаю, молюсь, чтобы Бог отвёл братоубийство. Но слышит ли Он меня? Хочу, чтобы слышал. Я не жалею за условия. Мы и холод, и голод перетерпим. Нам с Петро и не такое видеть приходилось. Послевоенное поколение. Всякое бывало. Мама нас в речке купала. Ямку откапывала на бережке. Вода набиралась, согревалась немного, и она малого в неё погружала. И хлеб из кукурузы нам слаще пряника казался. Это не беда. Совсем не беда, ридная моя. Беда, шо танки эти с двух сторон по груди моей елозят. А так всё хорошо. Всё хорошо. Не надо плакать. Не надо. Я войны не боюсь. Мне умирать

некогда. У меня двенадцать грядок клубники. Мне ещё с ней разобраться надо. Это небыстро. Правда, сахара варить её нет. Но ничего. Так будем есть. А ещё, вот посмотри, тюльпаны. В этом году много цветов посадила. Как закончится война, ты ж приезжай до нас. У нас тут и белки летом прибегают, и ёжики приходят. Хоть поешь настоящих ягод с огорода, а то шо, у вас там в Москве разве такое купишь?

Картошка без соли

Варвара сломала ногу. Взрывной волной её на грядке подняло и к забору откинуло. Попыталась встать, не смогла. Упала на мокрый целлофан. Хотела поразбираться с рассадой, да вот ж беда. На боку поползла до крыльца. Дотянулась до телефона, позвонила племяннице. Вечером на разбитой легковушке сосед отвёз её в Луганск. Там уставший небритый человек в пятнах чужой крови на сером халате протёр пальцами очки и сказал:

— Закрытый перелом. В хорошие времена положена операция. А сейчас даже гипс наложить не могу. Анальгетиков тоже нет. Зафиксируем подручными материалами, и езжайте домой. Лежите, ногой не шевелите.

Варвара кивнула. Закусила от боли край платка. Скорее б уж до хаты. Там Петро лежит голодный и скотина не кормлена. Утром дождь был, кабы тюльпаны не побил. И кто теперь за пенсией пойдёт в очереди стоять? Ох, боль какая! Аж до печёнок дыроколом пронзается. Опухла нога. В сапог не влазит. Галоши надо поискать. Галоши должны налезть.

— Бахають, бахають, слышь, Варвара?

— Угу.

— Лишь бы не накрыло нас тут с тобой на дороге. Я б пожил ещё. А как собака валяться в поле не хочу. Кто нас тут с тобой будет искать, хоронить?

— Угу.

— Да и гробы, говорят, уже давно закончились. Всё-таки лежать в гробу приятнее, чем с червями в сырой земле обниматься. Н-да, хороший, добротный гроб — роскошь, скажи?

— Заткнись, Микола! Заткнись, умоляю тебя! И так тошно. В хате нетоплено, в кастрюле неварено. Петро, небось, весь мокрый лежит. А через час сыночка звонить будет, на начальника жаловаться. Там, у капиталистов этих, такая тяжёлая жизнь. Всё они что-то недовольны, всё что-то людей мучают. И так им не так, и эдак не эдак. Замучился Юра мой с ними. И уволиться нельзя. У него ж семья, дитё, и платить за жильё надо.

— А он где у тебя? Это старшой который?

— В Канаде. Далеко, за океаном. Там Америка, говорят, рядом где-то. Но я никогда там не была, сама не видела.

— За лучшей жизнью, значит, уехал?

— Да какая лучшая-то она, жисть эта? Жинка нервная, всё зубы скалит по телефону, но по-нашему никак не разговяет. Всё по ихнему шпрехает. На вид вроде баба ничего — кудрявая. Но Юрка неухоженный какой-то, тощий,

уставший. И до мамки ж далеко. Умыться мне надо скорее. Шоб не пугать видом своим ребёнка. Доедем до ночи-то?

— Если не пристрелят, то есть шанс.

— Хорошо.

— А што Пашка? Проявляется?

— А как же? Он теперь ширый россиянин. На татарке женился. Щёки в телефон не помещаются. Дивчинка у них весёлая, малая такая. Кричит мне в прошлый раз: «Бабуля, бабуля, пойдём покемонов ловить!»

— Это кто?

— А хрен его знает, Микола. Но дитячко такое ридное. А мне ж и гарно.

— Да, понимаю. Что сморщилась? Болит?

— Да не то ж шоб болит, тягает как-то. Словно кто-то оторвать пытается, а другой не пускает. Ох, беда-беда, Микола. Умыться надо, Юрочка скоро звонить будет.

— Кабы нам связь не перебили, а то... Ой, вот опять. Слышишь бахают?

— Угу.

— Тогда молись, будем прорываться.

Варвара сама из машины достаться не смогла. Сосед вытянул и поволок. По мокрой земле, по склизкой тропинке до крыльца. Пнул ногой дверь. Добрались до скамейки. Там сгрузил бабку на диван и сел краем рукава утирать пот с глаз.

— Тяжёлая ты баба, Варька. На вид щуплая, мелкая. А на подъём — что гранитная плита.

— Прости, Микола, прости. Дай Бог тебе здоровья и жизни длинной.

— Да, жисть сейчас важнее наживы. Пить охота. Есть чего?

— Варя, Варя, это ты?! Ты это, жинка?!

— Да-да, я, Петро, я. Обожди чуток, очухаюсь и доползу до тебя, Микола, вода там, ведро отодвинь, да-да, там. Черпай. Кружку сам найди где хошь.

— Найду, сам найду. Сиди, бабка. Пойду Петро проведу. Може, подсоблю чем.

Варвара кивнула. Ногу сильно дёрнуло ещё и попустило. Голова поплыла, тошнота подкатила, тело обмякло и обступила темнота. Такая тёплая, ласковая и бесконечная. Господи, полегчало. Слава тебе, Господи! Слава тебе! А шо там Юрочка? Звонил ли уже? Как он там, ридный хлопец?

— Мама! Мама!

— Юра?

— Не, Паша, это я — Паша! Мама, слышишь меня?

— А як же, сыночка. Кровиночка моя. Шо там? Как же ты?

— Хорошо всё, мам. Что сказал врач?

— Врач?

— Мама... Ты понимаешь...

— Варя! Варя, ты чего? Я там убрал за Петро. Он там сам погрыз што-то. Из гуманитарки. Х...ю сладкую. Сказал, шо не голодный. Ты-то как?

— Дякую тебе, Миколочка, дякую, ридненький.

— Прекрати кисель разводить! Куда тебя оттащить? И пошёл я. Ноги не держат.

— Паша звонил, что-то сказать хотел... а я не услышала...

— Никто не звонил! Прекрати тут это всякое! Куда волоочь тебя?

Варвара кивнула. Мгла обняла и запеленала. А Юра? А Паша? А Петро? Харитон и Муся? Клубника? Тюльпаны? Нога? Боль, как тысяча стрел в сердце, и никакой пощады, никакого снисхождения, ни конца ни краю. Темнота.

Ночью летели грады. Город вздрагивал, закручивался в воронки и укрывался дымом. Где-то огонь жадно лизал землю и обвалившиеся крыши. Ангелы с обожжёнными крыльями уводили души в туннель. Собаки кричали, чтобы их забрали с собой, не оставляли в неведомом мире. Но их слышали только коты — Харитон и Муся, забившиеся под крыльцо.

Варвара спала, замученная болью. Петро стонал во сне. Солнце не хотело возвращаться. Но пришлось. Кто-то могучей рукой словно вытащил его за шиворот и швырнул в чёрное небо. Оно вскипело от негодования, налилось пурпуром гнева и набросилось на аморфные облака.

Варвара проснулась, попыталась встать и упала. Нога распухла и посинела.

По сухому и распаханному глубокими канавами морщин лицу потекли слёзы.

— Господи! Господи милосердный! Как же я теперь? Неужели бесполезная? Себе обуза и за Петро доглядеть не смогу? Обуза! Ох, как же? Как же, Господи?

— Варвара?! Петро?! Это я, Наталья! Живы?

— Здесь, здесь мы!

— Вот и чудненько. Поесть принесла тут маленько. Потом собирайтесь. Микола сказал, что отвезёт вас до свояченицы. Тю, Варя, чего ты тут мокроту развела? Не плачь, тётка, лучше глянь, какой день народился. Весна. Птички вон как запугивают. Война войной, а жисть продолжается. Вон и тюльпаны твои головки задрали. Давай подымайся. В гости поедem, Лидию твою навестим, отвезём ей картошки, а то, небось, за зиму-то подъели всё. Да и разве там у них в городе такую купишь?

Тюльпаны без воды

Варвара очнулась. Темно. Запах хлорки и жжёной резины. Холодно. Есть тут кто? Это морг? Господи! Если это ад, то прости, сохрани и помилуй. Тихо. Не бахают. Всё-таки в смерти есть выход. Пусть зубы стучат и желудок сводит, зато... Господи, что дальше? Куда дальше? И боль. Неужели и здесь нет от неё освобождения? А сердце матери таки горюет за Юрочку и за Пашу. Как теперь от них весточку получить? Разрешит ли небесная канцелярия ещё свидеться с сыночками? Охо-хо-хо, нет покоя и там, куда все уходят на покой.

Электрический свет ударил по глазам. Тусклый, холодный, а как больно бьёт, етить-колотить.

— Ну шо тут у нас? Шо, тётка, оклемалась?

— Это морг?

— Ещё чего? Морг у нас в подвале. А это реанимация. Жить будешь! А то шо? Размечталась?

— Да нее... Так оно ничего, да за детей сердце болит, ох как скребёт, как мышцы пенопласт.

— Так-так, оно це так, тётка. Но вот на, поешь кашу, и сменим рубашку тебе.

— А где я, скажите?

— В больнице. Дивчина вчера привезла. Родня, видимо. Но ты у врача спроси, когда на обход придёт. Если придёт. А я по хозяйственной части и гигиене.

— Ага, поняла, спасибо, дякую.

Старуха кивнула, поправила серый платок сморщенными руками и исчезла в темноте дверного проёма. Варвара попыталась сесть, но раздавленные пружины кровати так провисли, что тело её качнулось, как в люльке, и опрокинулось на спину. Голова задела за что-то железное, и боль от удара наверху отключила ту, что терзала внизу. Варвара охнула и зарыдала.

Есть не стала. Кусок в горло не лез. Слабость накрыла влажным покрывалом и отдала усталое тело в лапы заботливого сна. Он принял молча. Он всех принимает и милостиво дарует временное забытьё и покой. Но только тем, чья совесть не требует ответа и суда. Чья душа свободна от греха и вины. А если болит, то от любви и сострадания. Тогда сон очень старается ей помочь, но не всегда получается.

Через неделю Лидия забрала свояченицу к себе. Варвара могла сидеть и даже шевелить пальцами. На руках. Нога, заключённая в гипс, продолжала ныть и дёргать за внутренности.

Что там с тюльпанами? Что там с клубникой? Никто не знал. В городе шёл бой. Но до этих краёв грады ещё не долетали. Это был вроде же запад страны, а там ещё восток.

Вначале сообщили, что погиб племянник, который воевал на украинской стороне. Варвара с сестрой выли всю ночь, проклиная Россию. Через две недели позвонил брат и сообщил о смерти сына — того, что за русских. И проклятия посыпались на Украину. Семья стонала, страдала и корчилась от разрывов гнева, снарядов и беспомощности. Словно загнанные в клетку мятущиеся звери, не имеющие возможности ни вырваться на волю, ни прекратить страдания от рук мучителей.

Варвара не могла больше слушать мнение Юры из Торонто и доклады Паши из Москвы. Родные дети вдруг стали такими далёкими и опасно чужими. Они требовали, чтобы родители срочно уезжали. Но куда? Как? Зачем?

— До каких времён мы с тобой дожили, Петро, что в родном краю опасно, а в чужом непонятно?

— А пожить-то ещё хочется, Варя, ох, как хочется.

— Да, странно это. По молодости мне всё казалось, что чего это старики так за этот свет цепляются? Ходят костями гремят, ни себе в радость, ни другим помочь. А теперь понимаю, понимаю. Это ведь тело только стареет, а душа-то нет. Её жизненные невзгоды колесуют, а она поболит-поболит, раны затянет, и хоть бы хны, как новенькая. И самый большой враг её — это тело. Сама она, как птица-феникс, вечно молодая и из любого пепла возрождающаяся.

— Хлопцев жалко...

— Ой, Петро, прошу тебя, не надо. Не тыкай ты мне шилом в живот.

— Вот если б меня спросил кто поменяться, то я бы досмолил последнюю сигарку и сказал — забирайте. Конечно, никто бы безногого калеку брать не стал. Что от него проку. Но если душу на душу менять, жизнь на жизнь, то справедливо. Ты бы вот, Варвара, согласилась? Чтоб нас с тобой на хлопцев наших.

— С радостью, но то ж фантазии всё твои... слова, которым без дел никакой цены-то и нет. Так, словоблудие одно...

— А злость есть у тебя?

— На кого?

— На убийц этих...

— А кто они, Петро? Видел ты их? Може, за руку ловил? Кого ненавидеть-то? Кого проклинять?

— Да знамо кого... власть окаянную.

— А тож. Она во все времена не лучше была. Скажи мне, а когда простому человеку лучше жилось? Ты батьку своего покойного спроси, который три войны прошёл. Мать помяни, сколько ей тягот и лишений вынести пришлось, когда детей подымала и за парализованной старухой ходила.

— Да, матке моей дюже досталось. А ведь, когда час пришёл, тоже помирать не хотела. Помнишь, Варь?

— Зачем ты эту тему теребишь, Петро? Поговорить больше не о чем?

— А о чём, Варь, если война? Дома у нас нет. Разбили, небось. Цветы там твои, клубнику, помидоры... чё ты там ещё сажала? Всё изничтожено, всё убито. Сидим с тобой, безногие и больные, в чужой хате из милости. О себе позаботиться не можем. О чём нам говорить, Варь?

— О жизни, Петь. О том, что как бы мы тут с тобой ни кувыркались, а солнце завтра в своё время подымется, и птички проснутся, и цветы, и травка всякая. Что-то за ночь умерло, что-то народилось. Букашки там всякие. Мы ведь, Петь, тоже, по сути, с тобой букашки. Для Бога-то. И вот представь, что испокон веков это всё продолжается и продолжаться будет. Мы уйдём, придут другие. И не вспомнят о нас. Потому что будут свою жизнь жить. Сколько получится, сколько успеют. И радоваться каждому дню и моменту. Грех не радоваться-то. Несмотря ни на что. Вопреки всему. Завтра, Петя, выползем на солнышко и будем дышать его лучами. И благодарить. Столько, сколько успеем, сколько дано нам будет. Как тюльпаны, Петь. Помнишь, я полить их забыла? Ну чё-то закрутилась или позвал кто. Потом думала, что полила, а утром вышла на крыльцо и гляжу, что нет. Они, бедняжки,

головки опустили, некоторые к земле припали. Я бегом же за ведром. Отлила их. И ожили мои красавцы, да как расцвели пуще прежнего. Вот и мы, Петь, как тюльпаны без воды сейчас. А вот полегчает обстановка да закончится война, вернёмся домой, ох, Петя, я ещё розы посажу и помидорки мелкие. Они, я у соседки пробовала, сладкие такие, как виноград. Ты ел такие? Нет? Вот и попробуешь.

Пьющий

Лёха пил. Начинал как все: молоко, вода, компот, кисель, квас. Продолжал как многие: брага, самогон, пиво, водка.

На более «сложные» напитки — шампанское, вино и коньяк — не переходил принципиально. Потому что он мужик, а эта вся «кислятина» — она для баб. Он мог только смотреть на них в процессе и умиляться из вежливости. Как «интеллигентный» человек, который имеет хобби и пару книг Льва Толстого. Было больше, но он отдал соседу «Анну Каренину» из-за неуважения к этой распутной женщине. Он думал про неё грубо и нецензурно, но открыто не выражался. Некультурно всё-таки. Дамы есть дамы, даже если на самом деле они бабы.

По этой причине Лёха всегда пропускал их в очереди в вино-водочный отдел и никогда не садился в трамвае.

Было, что помог одной мамаше с коляской на дороге, бросив под колёса машины камень. В целях воспитания громко обматерил растерявшегося водителя. Но остался доволен собой и сознательностью своего поведения. Мамаша, как все женщины-бабы, повела себя неблагодарно: испугалась и хотела звать милицию. Лёха был разочарован.

Однажды бабушке донёс до подъезда сумку с продуктами. Подошёл, молча вырвал сетку из рук. Она подумала, что он грабитель и приготовилась кричать. Но Лёха ей пригрозил, что стукнет по голове, если будет сопротивляться благотворительности. Бабушка смирилась.

А что? Его так воспитывали. Он не виноват, если его заставляли читать «Тимура и его команду» ещё, можно сказать, в пелёнках. А там что сказано?

Причиняй добро и не сомневайся. На небе всё зачтётся и посчитается. Это он уже добавил от себя.

Лёха был уверен в том, что если на Земле все обманывают и воруют, то у Бога ТАМ всё под контролем, и Он бдит, следит за каждым своим отпрыском строго. На то он и Бог, потому что — всевидящий.

На самом деле Лёха до конца не очень понимал историю с Богом. Раньше говорили, что Его нет, потом — есть, сейчас — непонятно. Поэтому он решил не углубляться в этот сложный теософский вопрос и удовлетворился образом большого и грозного начальника.

Сидит Он, такой, на огромном синем облаке, морщит лоб, щурит глаз (как Лёхин отец в детстве) и дымит огромной кубинской сигарой. Ещё у него усы мохнатые и галстук в зелёную полоску.

Иногда Лёха с Ним разговаривал. Обычно после магазина и стопочки пшеничной «на грудь». И что удивительно, Он ему даже отвечал. Всегда как-то очень логично и рационально, но Лёха забывал записывать. Пытался пересказать соседу и нёс всякую ерунду. Сосед ржал над Лёхой, занимал денег и втихаря от жены покупал вонючие сигареты.

Лёха жил один.

Пробовал с Людкой замутить из соседнего двора, но не сошлись характерами. Баба — она и есть баба. Подавай ей нормальный диван, новый кран на кухне и шкаф с зеркалом. Удобства всякие — посуду не одноразовую и туалет в доме. Устал Лёха с ней ругаться и объяснять, что мещанство — это для буржуев и капиталистов, а он человек свободный, честный и, значит, бедный. Людка высоких материй не уловила. Забрала зубную щётку, занавески и ушла.

Лёха вечером долго с Богом на эту тему дискутировал. Человек она или нет?

Бог сильно дымил, снимал и вновь надевал бархатный пиджак, сотрясал небо убеждениями, кидался молниями, но до Лёхи так и не достучался. Тот махнул на Него рукой и заснул.

Ночью приезжали пожарные, милиция и скорая помощь. Сосед успел вовремя заметить дым из окна. Забрали Лёху в больницу. Обгорел не сильно, но углекислого газа наглотался по самые уши. Доктору объяснял, что это всё Бог со своими молниями.

На удивление никто с Лёхой в больнице не спорил, а внимательно слушал и даже поддакивал. Из чего следовало, что доктор человек умный и ему можно открыться.

Тогда Лёха рассказал всю правду. Про то, как прятался от старших в детском доме, потом от пьяного отца в общежитии, как любил бабушку и её пироги с яблоками, про соседку Олечку с золотыми косичками и голубыми ручейками венка под нежной кожей. Как замирало его сердце, когда видел он её на качелях в сиреневом сарафане. Как звонко смеялась Олечка. Угощала Лёху конфетами в золотых обёртках. Читала ему книжку про собаку Динго. Не боялась испачкать белые гольфы в луже после дождя.

Как любил её до головокружения Лёха. Строил планы, мечтал. Писал письма из армии. Вернулся, чтобы жениться.

Устроился на работу. Готовился к экзаменам в училище.

И в эти дни пил только чёрный индийский чай. Ещё денег копил Олечке на колечко и серёжки. Ждал, что вот вернётся она из Ленинграда на каникулы, и он её никуда больше непустит. Пусть здесь учится. А он ей поможет.

Но Олечка не вернулась. Вышла замуж за однокурсника и сбежала с ним за границу.

Лёха запил. Накрепко, надолго, наотмашь. Через неделю начались его диалоги с Богом. В начале он пугался. Потом забывал. Привык со временем.

В больнице предложили эти разговоры записывать. Доктор принёс тетрадь и ручку. Обещал помочь с орфографией и пунктуацией. Лёха согласился. Приступил к работе.

Дома он тетрадки покупал уже сам. Исписал целую стопку. Отнёс доктору на проверку. Забыл забрать, потому что умер. Да и зачем они ему там, где уже всё записано и посчитано?

Непостижимый

Васька родился как татарин. По отцу. Но записали его русским. По матери. В Казани его обрезали, в Тамбове покрестили. Родители не сошлись темпераментами, и Васька остался жить у тётки. Точнее, его оставили. Отец занялся карьерой, мать устройством личной жизни.

До ребёнка руки, а порой и ноги, доходили лишь у дворовой шпаны, когда она гоняла его с криками и угрозами что-нибудь оторвать, обзывая немецким фрицем. Они в фильме про войну высмотрели такого же светленького голубоглазого мальчика в шортах и девчачьих гольфах. Васька такой одёжки не носил, но образ есть образ.

Мальчик скрывался за сараями или в овраге, куда местные относили мусор из домов и колючий сорняк с огородов. Сидел тихо. А как темнело, осторожно, прячась за редкими деревьями, пробирался домой. Тётка Галя ругалась, поминая всех его прародителей по отцовской линии, но тщательно и бережно отмывала дождевой водой в кадushке.

Васька молчал. Он хоть и маленький был, но понимал, что жить несладко. А с чумазым подкидышем — особенно. Тётка была высокой нескладной женщиной. Всегда немного горбилась. Потому что с детства была приучена таскать тяжести и смотреть под ноги. Своей семьи у неё не сложилось. Вначале за родителями ухаживала. Они вот Вальку — старшую дочь — не доглядели. Та в подоле принесла от татарина. Так Гальке за обеих досталось. Теперь и этот греховный плод воспитывает. Она не жаловалась. Даже рада была. На праздники наряжала племянника своего. Водой брызгала на его медные вихры на затылке.

— Отчего ты, Васька, рыжий у нас такой получился? Может, ты импортный какой? Уж не ханцуз ли? Папку твоего я не видала, но есть у нас тут татарин один — завмагом служит, чёрный, как чёрт, всегда в галошах ходит поверх шерстяных носков. Шаркает, как леший, ей Богу. Ой, Господи, прости! (И перекрестилась на образа.) И говорит шепеляво. Потешный такой, Матерь Божья. Васька, сиди смирно, а то голову оторву. Теперь рубашку давай одевай. Ручонку подыми... Таааак! Не крутись, я тебе ж... Эх, Васька-василёк, мой вертлявый паренёк! (Громко чмокнула мальчишку в усыпанный капельками веснушек нос.) Всё! Готово! Ханцуз, я ж говорю, красавец какой ты у меня. Беги родню встречай, принц заморский.

Мальчик воробушком слетел со скамейки и бросился на дорогу в объёты серого великана из пыли. Это родня из Москвы в гости спешила. Они телеграмму Гальке дали. Предупредили.

Голубые глаза ребёнка горели ярче фар зелёного «Москвича». Такой маяк пропустить невозможно.

— Эй, вы! Я тут! Тут я! Эй! Сюда!!!

Родня столичная Ваську тискала и пряниками баловала. Шутили, что никакой он не татарин, а самый настоящий англичанин, и всё тут. Больно угодливый и смирный для поволжских кровей. Форму школьную

мальчику привезли. Великовата, конечно, но Галина отдаст соседке, та подошьёт, и на пару лет должно хватить. А то и больше. Ещё карандаши цветные выдали, коробочку с палочками для счёта, тетрадки, ранец на замке. Столько всего, а похвастаться некому. Никто здесь с Васькой не дружит, кроме деда Мохорыча с соседней улицы. Так тот помер ещё прошлым летом. А собаку его, говорят, новые хозяева отравили. Полкан их в купленный дом не пускал. Никакие уговоры не признавал. Ну и порешили его.

Васька два дня плакал в сенице. Пока тётка его не нашла и не оттрепала за шиворот. Как напугалась она, что ребёнка утерьяла незнамо где... Потом разрыдалась от нервов. Прижала длинный нос к Васькиному животу и всю майку ему замочила.

Мальчик от неожиданности начал гладить её по жёстким седым волосам и, не выдержав такого накала эмоций, заголосил сам и бросился к ней на шею.

— Деточка, деточка ты моя несчастная! Сиротинушка непослушная! Не реви, не реви. Пойдём, я молочка тебе налью с булкой. Глянь, булка какая горячая! На, на, отломи себе горбушку-то. Не хочешь булку? Ах ты жидёнок! Вот, ей Богу, батька твой евреем был. Потому ты такой рыжий опёнок у них и получился!

Тут Васька почувствовал свою власть и затребовал конфет. Тётка сдалась и пошла доставать праздничные запасы. Она прятала сладости к Пасхе в валенки в кладовке, — места известные и тайно Васькой навешаемые. Но всегда приятнее, когда она сама, своей костлявой рукой с длинными пальцами нырнёт в войлочную норку по локоть и извлечёт сокровища в цветных одежках. Рассыплет по клеёнке на столе, прищурит глаз и скажет: «Выбирай, зяблик! Больше двух не тягай! Меру знай!»

И Васька замрёт в предвосхищении сладчайшего удовольствия, зажмурится, выберет наугад, аккуратно развернёт, чтобы не помять фантик, и спрячет карамельку за щёку. Будет причмокивать на печке до утра и тяжело вздыхать от счастья, которое возможно только в детстве. И совершенно недостижимо, когда тебе уже пятьдесят.

Василий Дамирович Салахов часто вспоминал эти моменты искренней и пронизанной ярким солнечным светом радости. Никогда в жизни он потом не ел таких вкусных карамелек, не пил такого ароматного молока в прикуску с хрустящим краешком свежего батона.

Он объехал полмира. А может, и больше. Жил в Азии, в Америке и в Европе. Попробовал почти все известные кухни и самые изысканные деликатесы. Основал и вырастил успешную компанию. Построил дом. Купил детям квартиры в Москве, Питере и в Казани. Женился в третий раз на молодой и красивой. Нанял повара из Италии. Выписал садовника из Японии. Купил собаку. Назвал Полкан.

У Василия было всё, кроме тех волшебных конфет, самых мягких на свете жилистых рук тётки Гали и чёткого понимания своей национальности.

Анна Пестерева

Два рассказа

Где мой сын?

Лена дёргала Колю за рукав куртки, пока тот хныкал вечное «купи-купи-купи», ведь этот ребёнок хотел сразу всего. Ел, пил, орал за двоих. Зато такой хороший и добрый мальчик. Смысл её существования, которого ещё шесть лет назад не было, а он взял и, слава богу, родился. И требует теперь конфеты с мягкой карамелью. Схватил пачку крепко, как умеют делать только бульдоги и дети. Вцепился, словно в чужую игрушку на детской площадке, в выпавший фантик, найденный в парке на прогулке, в собственную жизнь и вот-вот заорёт: «Купикупикупикупикупикупику...»

Лена понимала, что надо бы сына успокоить, но она этого не умела. Ладно, ты пока постой тут, а мама сбегает за хлебом и вернётся. Да-да, и купит тебе эти конфеты. Нет, вот эти — уже не купит. Только одну пачку, две нельзя. Почему-почему? Потому что попа слипнется. Не реви! Мама пошла купить хлеб, ты подумай, какие хочешь, хорошо? Никуда не уходи! «Уйдёт он, как же! — думала Лена, пока заворачивала в соседний ряд. — Его оттуда за уши не оттащишь, придётся, видимо, две пачки брать. Но это неправильно, должна быть какая-то строгость. Одну!» Наедине с собой она становилась увереннее.

Магазинчик находился в подвале и напоминал по своей разветвлённой структуре катакомбы. Единогo зала здесь не было, зато нанизывались друг на друга несколько закутков и небольших комнаток с холодильниками для молочной продукции, рядами с крупами, стеллажами с консервами. Лена бродила между ними и прислушивалась к сыну: он шуршал упаковками и шмыгал громко носом. Видов хлеба на витрине было много. Лена растерялась из-за необходимости выбирать. Она сравнивала составы, смотрела дату изготовления, но в итоге даже не определилась: чёрный или белый ей хочется? Наверное, чёрный — он полезней. А белый вкусней, особенно с паштетом.

Пестерева Анна Владимировна — писательница. Родилась во Владивостоке. Окончила магистратуру НИУ ВШЭ «литературное мастерство». Работает редактором. Автор повести «Пятно» (2024). Печаталась в журнале «Юность» и коллективных сборниках. Участница проектов АСПИР. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 5.

Прошло минуты три-четыре. Она забыла о сыне, в голове крутились только вычитанные на упаковках ингредиенты: ржаная мука обдирная, отруби полбяные, дрожжи хлебопекарные прессованные, кунжут, патока. Краситель? А это тут зачем, интересно? Тишина, которую Лена осознала вдруг, стушевала мысли. Магазин был будто пустой, Коля не возился с конфетами, не кричал маму, его вообще не было слышно. Лена сунула под мышку какой-то хлеб, заметила краем глаза, что это был «Геркулес зерновой», — хоть так уже выбрать что-нибудь — и побежала обратно. Она заглянула в знакомую галерею и вскрикнула. Несвязные звуки вырвались изо рта, будто она по какой-то причине забыла, как говорить.

Они стояли посередине прохода, глядя прямо на Лену, как будто знали, что она выбежит именно сейчас. Не двигались, держались расслабленно, ничего не смущаясь и не пряча взгляда. Они даже улыбнулись, когда увидели её, — оба сразу. Её сын Коля. И тот второй — её сын Коля. Два неотличимых друг от друга мальчика с одинаковыми лицами, глазищами карего цвета, особым завитком русых волос на макушке, закрученным штопорообразно. Оба в одинаковой одежде: поношенная курточка, джинсы, запачканные снизу, побитые неаккуратной ноской ботинки. В памяти возникли небылицы про доппельгангеров — злых двойников, про подмену душ. Сердце застучало у самого горла, мешая спокойно дышать и думать. Хотелось защитить своего ребёнка. Но кого спасать? То, что зло выглядело в точности, как её ребёнок, лишало решимости.

Лена вспомнила, что её сын, не сидевший на месте и ежечасно проверявший себя на прочность, недавно набил на лбу шишку и порезал боковую сторону ладони от мизинца до самого запястья. Она кинулась к мальчикам, приподняла им чёлки. Отметины на лбах были у обоих, как и царапины на руках. Коли смотрели на неё четырьмя любящими глазами. Они не удивлялись себе и своему количеству, только Лена почему-то страдала.

— Коляша! Коленька! Сыночек.

Оба мальчика сделали шаг к ней, почти синхронно обняли и повисли на шее, вплетая в распущенные волосы с двух сторон тёплые дыхания. Кого Лене нужно было обнять покрепче, а кого оттолкнуть и бросить здесь? Она хватала мальчиков за лица — сначала одного, затем второго, — заглядывала в глаза, но там не было ответа. Что творится-то? Над головами прогремел голос:

— Подвиньтесь, ну. Встали, не обойти, не объехать.

Лена подняла взгляд — плотный высокий мужчина в дублёнке нараспашку и с тележкой нависал над ними. Она поднялась, стряхивая с себя детей, обхватила — своего и чужого — и отодвинулась к стене. Мужик толкал скрипучую тележку вперёд. Неожиданно для себя Лена ухватила за его рукав. Она не знала, что делала, — иногда так лучше.

— Простите.

Мужик посмотрел придирчиво, но остановился и Лениной руки не убрал.

— Простите. Вы. Это, может, странный вопрос, но ответьте на него, пожалуйста.

Лене было и холодно, и жарко, глупость ещё незаданного вопроса почти валила с ног. Так стыдно ей было только в школе у доски.

— Вы видите разницу между этими двумя детьми? — Чувство неловкости липло к коже. — Только подумайте. Пожалуйста! Это важно.

Дети стояли спокойно, как примерные ученики на торжественной линейке. Обычные пацанята, которые бегают на детских площадках. Похожи, будто их отпечатали на принтере, ну и что?

— Они совершенно одинаковые. Одинайцевые близнецы, наверное, так это у вас называется.

— У кого «у вас»? — на автомате переспросила Лена.

— У женщин, — хмыкнул мужик и пошёл дальше.

Лена осталась в нерешительности и с двумя детьми. Она посмотрела на Колю справа, он тёр подбородок и нос, лицо морщилось от недовольства — что-то назревало. Материнское отозвалось безошибочно — вот её сын. Она обняла настоящего Колю. Тот, второй, доппельгангер, вышел из-за её спины и встал перед ними. Знакомым движением вцепился в карман куртки, поджал губы, глаза заблестели. Нет, этот её настоящий Коля, а прижимает к груди она не того. Лена бросилась ко второму сыну, забирая любовь у первого, но не донесла, а села на полу и заплакала, обнимая собственные плечи. Только в своём существовании она была уверена.

Лена едва не забыла расплатиться на кассе за конфеты. Пришлось брать две пачки, потому что детей тоже было много. Пока она рылась кошельке в поисках карточки, возникла идея, которая помогла бы всё решить.

— У вас есть камеры в магазине же?

Мониторы с видеотрансляцией стояли в углу. За ними дежурила уставшая женщина, которая спросила оборонительно-наступательно: «Зачем вам видео?!» Лена хотела соврать, но, так как не умела придумывать, сказала правду. Женщина у монитора присвистнула. Посмотрели, Лена действительно зашла в магазин с одним ребёнком. Она хотела увидеть, что сняли камеры внутри магазина, но большинство из них, как выяснилось, были муляжами. Только у алкоголя да в отделе рыбы велась съёмка. Денег на нормальную систему видеонаблюдения у дешёвого магазина, открытого в подвале многоэтажного дома, не было. Лена не унималась, мучила женщину у монитора и пыталась донести какую-то мысль, ей самой не до конца понятную. Она зашла с одним ребёнком, это все видели, выходит с двумя. И что дальше? Лена надеялась, что женщина за мониторами поможет ей разобраться. Но та ответила резко:

— Мамаша, перестаньте прикалываться. Мы принимаем жалобы только по товарам. По детям мы жалобы не принимаем.

Помолчали. Лена не хотела понимать, что ей пора уходить. Она шуршала пакетами и чего-то ждала. Может, чуда.

— Мальчики у вас какие хорошие. Тихие, ни слова не сказали, — с сочувствием к детям произнесла продавщица.

«Ведь и правда онемели», — подумала Лена, и морозец пробежал от шеи вниз по позвоночнику, будто к спине приложили холодную ложку. Коля всегда спорит, просит, доказывает, спрашивает, поёт, передразнивает, но не молчит! Она спрашивала мальчиков, как их зовут, какие конфеты из купленных они хотят, напевала любимую песню сына — он бы точно отозвался. Дети показывали

пальцами на упаковки, улыбались, кивали, хлопали в ладоши, но прятали от неё глаза. Лена механически взяла пакеты и пошла. Мальчики двинулись за ней.

Она привела домой своих сыновей, и когда те переступили порог квартиры, приняла обоих. Наверное, и порадоваться можно? Одного сына родила, другого в магазине нашла. Никаких родовых мук. Весь вечер она провозилась с тем, чтобы устроить второе спальное место для ребёнка. На следующее утро Лена начала сомневаться: а может, действительно двойня? Оба ребёнка были настоящими, из кожи, волос и положенных человеку частей тела. Отрицать то, что видели глаза, чего касались руки, было невозможно. Тогда как память — вещь лживая: то ли было, то ли почудилось, то ли во сне промелькнуло. Соседи при виде двух мальчиков не удивлялись: у каждого своя жизнь, кто же чужих детей считает. Муж с вахты вернулся, только спросил: «У нас что, двойня?»

— А что? — Лена приготовилась к серьёзному разговору.

— Ничего. Устал я. Ужин скоро?

Муж удивился только однажды, когда понял, что сыновей зовут Коля и Коля. Мы им имена не могли разные дать? Лена только плечами пожала. Про магазин она ему не рассказывала почему-то, боялась осуждения, скандала, тяжёлой руки, насмешек, упрёков — много причин. Сыновей муж признавал, обеспечивал — что ещё нужно матери? Но иногда её укачивало от сомнений: сколько всё-таки детей она родила? Ей не терпелось узнать правду. Лена хорошо помнила весенний день, когда раздался телефонный звонок. Плотная туча накрыла город, и только в небольшую прогалину, напоминавшую разинутый от удивления рот, — языком выглядывало солнце. Курьер, забрызгав Лену, скрылся за поворотом, а лужа ещё долго волновалась из-за переехавшего её велосипедного колеса. Всё вокруг было нервным и выжидающим. Даже деревья помахивали зеленеющими ветвями, как будто им было тяжело устоять на месте. Так выглядят люди, которые с трудом сдерживают эмоции.

Лена уже положила в карман телефон, но не могла понять фразу: «Тест ДНК показал, что один из этих детей — не ваш сын». Она несколько раз переспросила: «Точно? Вы уверены?» Мужчина басил, что он не может ошибаться и результаты перепроверили несколько специалистов. Она взмахнула свободной рукой, и берёза с черёмухой повторили этот жест. Лена села на бордюр, поближе к луже, в которой отражалось растерянное, глупое её лицо. «Не может быть», — сказала она, и вода безмолвно отзеркалила все движения. Лена огляделась, подобрала на асфальте камешек, погрела в руке и бросила в лужу. Та снова взволновалась, смяла и смыла отображение Лены. Со дна поднялась муть. В Лениной голове тоже было мутно. Рот сам собой открылся и сказал: «Ну ни хрена себе!» И туча на небе разинула пасть ещё шире.

Муж только что уехал на новую вахту, ей не с кем было поделиться. Да и сказала бы она ему такую новость? Ему нужна хорошая семья, уже готовая и сложенная, разбираться в этих женско-детских проблемах он не любил, злился. Один из сыновей точно был не её. На электронную почту пришли результаты

теста с подробностями, но она не торопилась открывать письмо. Лена жалела, что полезла выяснять. Разве так называемая правда делает человека счастливее или хотя бы спокойнее? Она мыла посуду, по телевизору шла программа «Мужское / женское». Когда между скандалами и разборками детский голос сказал «мама», Лена пробормотала: «Кто только додумался притащить ребёнка на такую передачу».

— Мама, пойдём со мной.

Она вздрогнула и обернулась. Сзади, на пороге кухни, стоял сын, он манил её к себе. Больше месяца Коля молчал, и вот первые слова после того случая в дешёвом продуктовом магазине. Коля протянул ей ладонь и ждал, пока Лена вытрет свою о фартук. Он потащил её по квартире и поставил у постели другого Коли. У того был страшный жар, температура — почти под сорок. «Скорая» ехала больше часа, Лена заперла здорового Колю в родительской комнате, чтобы тот не дай бог не заразился. Она сидела над больным сыном, а может быть, не сыном — какая разница. Вода из кухонного крана, который она не успела выключить, так и лилась в раковину, пока второй Коля не подошёл и со взрослой бережливостью не выключил её.

Сына не стало через три дня. Врачи так и не смогли выяснить причину: вроде бы какая-то инфекция. Но откуда она взялась и почему так быстро забрала ребёнка? Необъяснимо было и то, что второй мальчик не заразился, хотя жил с братом в одной комнате и ни на секунду не расставался с ним. Лена звонила мужу, тот поддерживал, как умел, но на похороны приехать не смог: с Севера на «большую землю» их доставляли вертолётom. Ради него одного компания заводить машину не стала, нужно было ждать неделю. Но материально обещали помочь. Лена попрощалась с одним из сыновей и тем же вечером удалила навсегда письмо из медицинского центра.

Единственный Коля крепчал, к следующему приезду домой отца вытянулся на пару сантиметров. Просился на могилу к брату и приносил две красные гвоздики, которые ему покупали у бабушек, торговавших возле кладбища. После смерти брата Колин язык развязался, слова потекли нескончаемым потоком: он спрашивал, спорил, хвастался, ругался, капризничал и даже разговаривал во сне. Одна беда: разучился выговаривать букву «р». До события в дешёвом продуктовом магазине такой проблемы не было. Лена, которая теперь всю себя посвятила сыну, повела его к логопеду.

— Не могли бы вы посидеть за дверью. Иногда это помогает ребёнку расслабиться, особенно если его ругают дома, — сказала врач.

Лена Колю не ругала из-за такой ерунды, она была счастлива, что ребёнок начал снова разговаривать. Но спорить не стала и послушно вышла. Через шесть минут логопед вывела Колю к маме.

— Хороший мальчик, очень старательный. Вы не переживайте, он всё догонит, поведите его ко мне несколько сеансов, всё наладится. У него дефект врождённый — раздвоенный кончик языка. Ну, вы и так знаете, конечно. Совсем чуть-чуть, это не страшно. Он поэтому картавит. Вы не переживайте, речь поставим.

У Коли не было раздвоенного языка. В этом Лена не сомневалась.

Священник, к которому она пришла, сказал, что с людьми случается всякое за грехи. История Лены его нисколько не удивила, будто каждый день к нему приходят матери, у которых из ниоткуда появляется второй сын, точная копия первого. Бог допускает вмешательство тёмных сил в жизнь человека, чтобы испытать его веру, говорил священник. По его словам, двойник забирает силу у настоящего ребёнка, тот чахнет, а второй, наоборот, — крепнет, растёт. Повторил всю эту галиматью про доппельгангеров и предложил привести к нему Колю на причастие. Если оставшийся в живых сын — посланник лукавого, то в церкви это откроется.

— И что станет с ребёнком? — взволнованно спросила Лена.

Священник ссылаясь на волю Божию, а более ничего нового не сказал. Лена пошла ставить свечи. Её привлекал образ матери с младенцем на руках, у которого она задержалась надолго. За что Бог её испытывает? Лена и так потеряла ребёнка. А если в живых остался двойник, разве следует его убить? Такова высшая справедливость, по мнению этих людей? Значит, мой сын умрёт? «Ещё раз?» — спросила она у женщины на иконе. Никто, конечно, не подумал о матери.

Лена написала записку об упокоении раба Божьего Николая. Бог знал, что заберёт сына, и послал ей этого второго ребёнка, чтобы утешить. Почему священнику не пришла в голову такая мысль? Лена постояла ещё в темноте и прохладе церкви, вышла на улицу. Что если случай в дешёвом продуктовом магазине не наказание, а милосердие Божье? Вот чего не понял священник. Лена торопилась домой, пора было готовить ужин.

Она зашла и хлопнула дверью. Из детской вышел Коля с трансформером в руках. Он, видимо, носился по квартире, щёки его покраснелись, волосы растрепались. Он подбежал к ней радостно. Лена присела на корточки перед ним и попросила высунуть язык. Мальчик, ни на секунду не задумываясь, доверчиво выполнил просьбу. Язык раздваивался у самого кончика ровно посередине. Лена велела Коле пройти на кухню, а сама пошла сзади. Всё в мальчике было родным. Она догнала его и обняла крепко.

Надежда

Над четырёхметровым забором закручивается спираль из колючей проволоки, припорошенная снегом, и потому не такая острая и опасная на вид, как в любое другое время года. Снег скрадывает шипы и металлический каркас, превращая их в безобидный узор. Нависает над колонией вышка дежурного — скворечник в человеческий рост, сбитый будто неуверенной детской рукой из досок и деревянных панелей. Через плац к столовой спешит женщина, подгоняемая сзади нетерпеливыми шагами охранника. Она бережно придерживает воротник казённой куртки, которая почти не греет на ветру.

Это торопится Женя Мамонтова.

О первых годах её жизни можно сказать только, что они были похожи на любые другие первые годы всякого человека, родившегося в той же стране в то же самое время. Родители отвели Женю в ближайшую к дому среднеобразовательную школу. Там ей предстояло испытать вечную дружбу, поцелуй любви, пережить ночёвки вне дома, выпускной, получить признание талантов вроде пронзительного чтения стихов Асадова на праздничных линейках. Ещё она умела быть звездой дискотеки, о которой все шепчутся на следующий день. Предвкушать всё это и внезапно для себя самой, пусть и не сразу, получить желаемое.

В старших классах она возвращалась домой поздно, хотя занятия заканчивались в четыре или пять. Куда пропадали несколько часов каждый день, она не могла сказать точно, но они составляли лучшее время жизни. В потерянных где-то между школой и родительской квартирой вечерах Женя нашла первую любовь, которую было честно обсуждать с подругами под ментоловые сигареты. Его звали Миша Яблонев, он пах крепким табаком, что выгодно подчёркивало его мужественность и разницу в возрасте в один год. Женя мечтала прийти как-нибудь домой и сказать, что выходит замуж, но сначала нужно было доучиться, и это не обсуждалось. Она и сама всё понимала, но так хотелось прийти и сказать. Родительская квартира была на пятом этаже, выходила окнами во внутренний двор с детской площадкой, на которой летними ночами собирались, раздражая всех, крикливые подростки. Женя обязательно была среди них. В компенсацию за счастливую юность и для маминого утешения она принесла домой не лучший, но приличный аттестат без единой тройки.

Первая любовь кончилась летом через несколько недель после выпускного, уже осенью принесло вторую. Школа осталась в прошлом, а Женя всё ещё была звездой дискотеки, теперь университетской. Мысли о свадьбе не волновали воображение так сильно, как практика в хорошем месте, первые заработанные деньги, красный диплом, попытка карьеры в солидной компании. Перед повышением, которое она оплатила тремя годами ненормированного графика, Женя прошла не одно собеседование в кадровой службе и готовилась к встрече с заместителем директора компании, серьёзным мужчиной лет сорока или около. Он должен был приехать в офис в понедельник, во вторник или в среду, но более срочные и денежные дела отвлекали его по пути, если только он действительно выходил из дома. Заместитель директора появился в четверг в середине дня, когда никто не ожидал его увидеть. Женю вызвали с обеда. Она поторопилась, но ровно настолько, чтобы оставить себе пару минут у большого зеркала в холле. Накрасила губы проверенной, неброской помадой, поправила волосы и, удовлетворившись, вызвала лифт. Заместитель директора пробовал выключить кондиционер, когда она после предупредительного стука, приоткрыла дверь.

— Да, я вас жду, проходите. Присаживайтесь. Вы?..

— Евгения Мамонтова.

Женя одним выражением лица показала заинтересованность, лёгкой рукой подобрала юбку и села напротив. Она держалась свободно — это читалось

в расслабленных плечах, прямой осанке, понимающем взгляде. Из кабинета с панорамной стеклянной стеной открывалась перспектива на центр города и реку, которые она до этого видела только через прямоугольники оконных рам. Она оценила и вид, и просторный чистый кабинет, светящийся от яркого солнца. Место было чем-то новым для неё, а интервью напоминало другие собеседования, которые пришлось пройти за эти три недели.

— У меня осталось последнее... скажем так, сомнение. Мы берём человека с тем, чтобы рассчитывать на него... Мы тратим время на обучение и хотим быть уверены, что вы останетесь с нами надолго. Понимаете, вы женщина. Молодая женщина. А что если вы родите?

Не теряя приветливости в лице, Женя дослушала рассуждения до конца и даже поддержала заместителя директора улыбкой. Всё той же лёгкой рукой поправила волосы у лица.

— Я не могу иметь детей, — ответила она просто.

Женя не стала рассказывать, как между третьей и четвёртой любовью сделала неудачный аборт. Это было не обязательно и никак не относилось к её профессиональным обязанностям. На следующей неделе она получила желанную должность.

А через полтора года после испытанной радости Женя открыла дверь полицейским, которые носили свежую, ещё пахнущую порошком форму, и обвинили её в похищении ребёнка. После она спустилась на улицу и села в служебную машину, вокруг которой собирались люди. Она призналась, что забрала девочку шести лет к себе домой, сделала это умышленно и во вменяемом состоянии. Женя верила, что поступила правильно, и во время следствия вела себя так же спокойно и просто, как во время собеседования с заместителем директора крупной компании. Её лицо говорило каждому, кто смотрел на него: «Я хороший человек».

Девочку звали Надежда. Для протоколов её имя писали полностью, без оглядки на детский возраст, который должен быть беззаботным и чуждым языку официальных документов. Надежда пробыла в доме Жени четыре дня, хотя по количеству одежды и игрушек, найденных в квартире, наверное, могла бы оставаться там месяцами. Родители девочки не искали её и неизвестно, заметили бы отсутствие, если бы журналисты, нашедшие их адрес и настойчиво стучащие в старую дверь, не переполошили весь подъезд и, наконец, мать с отцом, одуревших от похмелья.

В Женином смартфоне нашли личный дневник. Некоторые записи приложили к делу, в основном они касались важных для следствия дат и событий. Эта короткая заметка, написанная за несколько лет до похищения девочки, не привлекла внимания следователя:

«Ехала обратно на такси с очень внимательным водителем. Он меня так опекал, всё время спрашивал, удобно ли мне, не прикрыть ли окно, сделать ли тише музыку. Я воспринимала это как что-то естественное, пока не поняла, что он же не знает ничего про меня. И про то, что мне сказали у врача тоже. То есть просто так добрый со мной, без какой-либо причины. А я бесплодна.

Это окончательно и совершенно точно. Услышав дурацкую шутку по радио, расхохоталась так, что несколько минут не могла успокоиться. Водитель сказал, что я весёлая девушка».

В материалах следствия говорилось, что Женя увидела Надежду случайно во время прогулки в парке. В дневнике была запись: «В меня влетела, как я потом убедилась, милая и улыбчивая девочка. На ней было засаленное платье с оборванным на плече рукавом, похожее на тряпку, а не на детскую одежду. Девочка радостно побежала в угол площадки, где лежали потрёпанные пластиковые формочки. Она была ничьей, это остро чувствовалось». Надежда каждый день играла с формочками, потом шла мимо скамеек, на которых сидели чьи-то взрослые, к подъезду одного из ближайших домов. Туда же неоднократно приезжали полицейские патрули по звонкам соседей, которые жаловались на девочкиных родителей и требовали спокойной, счастливой жизни для себя и всего дома. Девочке сочувствовали, иногда угощали сладким и говорили что-то ласковое, но, что с ней делать, не знали — ведь всё лучше в семье, чем в детдоме. В тот же неблагополучный подъезд несколько раз приходила Женя, стучала в старую дверь, из-за которой с матом и перегаром выглядывали наружу люди. Она возненавидела их сразу же. Её вежливый язык для них был будто птичий, они смеялись и превращали Женю в ещё одну девочку в засаленном платье, похожем на тряпку. Она быстро забывала личную обиду, но не могла простить им то, во что они превращали Надежду.

На судах Женя сидела похудевшая, но такая же прямая и красивая, как раньше. Так казалось её родителям, которые всегда старались сесть поближе к ней. Теплый, освещённый электрическими лампами зал выглядел уютно по сравнению с промозглой, бесцветной осенью за окном. Прокурор говорила приятным, немного усыпляющим голосом, бережно пересказывая один факт за другим. Она же сообщила, что Надежду передали органам опеки, потому что неправильно было бы в свете открывшихся фактов вернуть её в семью.

Куда увезли девочку, знает соседка Жени по лестничной клетке через свои волонтерские связи. Она собирается навестить районный дом ребёнка и передать туда несколько пакетов от себя и тёти Жени с едой и вещами, которые должны любить дети шести лет. Если никто не заберёт себе домой Надежду, придётся ещё заниматься вопросами опекуна.

Соседка несколько лет состояла в добровольческих организациях, которые искали пропавших людей: чаще всего стариков, редко — детей. Это по её звонку в дом к Жене пришли полицейские в опрятной форме, пахнувшей химической свежестью стирального порошка. Опыт и тренированное внимание не подводили, и когда Женя, несколько лет живущая одна, привела домой взрослого ребёнка, это не осталось незамеченным. Привычка участвовать в чужой жизни обернулась неожиданностью: соседка обнаружила, что искала обвиняемой хорошего адвоката и пробовала дать на него небольшие, но какие были, деньги. Родители Жени воспринимали все попытки со сдержанной теплотой, но не давали ни рубля. Как и когда получилось, что она поменяла мнение, соседка не понимала. Просто в этой истории было жалко всех, кроме семьи пьяниц — для них хотелось суда.

В последнем слове Женя просила смягчить ей по возможности полагающееся законом наказание, потому что заботу нельзя считать преступлением, и милосердие — тоже форма справедливости. Соседка почему-то вспомнила, как за день до задержания Жени вышла на балкон, граничащий с соседней квартирой, и услышала детский голос.

— Что значит моё имя?

— Надя?

— Нет, всё целиком.

— Надежда? Ну, это точно про что-то хорошее. Когда ждёшь, что будет счастье, например.

— Обязательно будет, если ждёшь?

— Я не знаю. Но этого очень-очень хочется. И просто оттого, что хочется, прямо сейчас становится лучше. Понимаешь?

Анна Безукладникова

Тетрис

Рассказ

Когда у Толика умерла мама, на реке треснул лёд.

Хоронили втроём: Толик, отец и знакомая матери, пожилая суетливая женщина. Имя её Толику не запомнилось, обычное было имя, возможно, Светлана. На кладбище народу почти не было. Где-то в деревьях щебетала птица, и Толик подумал: «Может быть, к хорошему». Птицы были даны ему для уверенности и поддержки: например, если количество голубей во дворе чётное, то перед сном Толик посмотрит кино; если мимо окна пролетит ворона, то надо вынести мусор и так далее. Светлана, или, может быть, Анна, помогала разобраться с похоронными хлопотами, у неё был опыт: в прошлом году умер муж, а недавно — сын. Без неё было бы трудно понять: что, куда и кому.

«Вскрытие показало, что тромб оторвался», — сказала вчера эта женщина возле морга, двухэтажного здания, окрашенного в розовый цвет. Патологоанатом — грустный парень с красным отёчным лицом, курил на крыльце. Он видел голую мать Толика. Снаружи и изнутри. Толик держался все эти дни, но тут не выдержал и зарыдал, женщина похлопала его по плечу, велела идти за ней к остановке.

«Салаты и пироги закажем в кулинарии», — говорила Анна, когда они сели в автобус. Хотя вроде бы всё же её звали Нина. И ещё она говорила всякое, а Толик ехал и не слушал. Пытался представить, какая там сейчас в морге лежит его мать. Она была худая, а он всегда толстый. И отец худой, и сестра тоже. Толик в детстве думал, что он им не родной. Двадцать лет назад стеснялся бегать на физкультуре, потому что все его дразнили Мешок С Говном. Никто его не любил никогда. Кроме матери. Так она ему всегда говорила, и это было правдой.

«...И с утра надо будет пораньше, понял, Толя?»

Безукладникова Анна Владимировна родилась в 1987 году в г. Кудымкаре Пермского края, получила высшее образование в сфере юриспруденции. Участница литературного клуба «Конь текста». Печаталась в журналах «Сибирские огни», «Знамя», «Юность», «Пашня». Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Приехали пораньше. Мать лежала в гробу с туго натянутой бледной кожей, наклонив голову набок, словно задремала. Оставила после себя всякие дела: кастрюля после супа немытая в раковине пятый день, а в ванной — таз с недостиранным нижним бельём. Если бы сестра смогла вернуться, было бы попроще, но она в последнее время вообще редко давала о себе знать, а на новость о смерти матери ответила: «Ясно». Не до неё, ладно. Отца было жаль, он будто бы тоже три дня назад в семнадцать сорок пять умер вместе с матерью, просто не до конца. Оделся на похороны криво-косо, шарф забыл повязать, ну это Толик недосмотрел и теперь переживал вдвойне. Хотя и птица щебетала, и солнце ещё грело — того и гляди растает весь этот снег. Мать ушла от них куда-то дальше без спроса, без наставлений. Как теперь дальше жить без неё? Что делать с кастрюлей и бельём в ванной? Так думал Толик после похорон, глядя с пригорка на реку, по которой теперь нельзя ходить на другую сторону. Страшновато, провалишься ещё.

Жизнь Толика была организована матерью и работой на складе оптовой базы. Туда он устроился полгода назад, хорошее место. Единственное, куда пригодился такой, как Толик, — «без опыта работы, после сорока, с инвалидностью». И платили какие-то деньги. Главное, что была работа. Каждое утро Толик вставал и шёл на кухню. Отец обычно сидел за столом. Мать стояла у плиты и готовила: или овсяную кашу, или блины. Иногда бутерброды, если было в холодильнике вкусное — с пенсии Толика — вроде колбасы или сыра.

«Доброе утро», — например, говорил Толик. Или: «Привет, мам, пап».

Они завтракали, потом Толик собирался на работу. Отец шёл в комнату смотреть телевизор. Мать складывала обед с собой в два контейнера: горячее и салат. Толик уходил на работу, и на складе ему нравилось: большое светлое помещение с высоким потолком и много дел. Принимать, ставить туда-сюда, переносить, пересчитывать. Когда делать было нечего, — играл в тетрис. Электронную игрушку на батарейках ему подарила однажды мать. Толику нравилось управлять падающими сверху фигурками, укладывать их так, чтобы сгорали ряды. Падали и падали фигурки, Толик набирал очки до тех пор, пока не уставал большой палец, затем сдавался: фигурки громоздились выше середины поля и ещё новые летели быстро, ничего не успеть.

Вечером он шёл домой. Отец так и сидел в комнате, менялись только телевизионные передачи. Мама или стирала, или готовила ужин. Перед сном Толик снова немного играл в тетрис, а потом просил у Бога жену. Затем отворачивал икону к стене и справлялся со своими желаниями самостоятельно. После, засыпая уже, думал: «Да зачем жену, если нормально и так».

Дурак, ничего не нормально оказалось, ругал себя Толик.

Всё равно хотелось жену. Красивую, как соседка сверху, Агата. Хоть и была она давно и счастливо замужем, Толик радовался, когда видел её во дворе. Ему хотелось поговорить с ней о чём-нибудь, но никогда не получалось нормально. Просто краснел и кивал на её «Толя, здравствуй».

Недавно, после старого фильма о несчастной любви, чувства к Агате забродили в Толе, как старый компот, начали подкатывать к горлу и вырываться наружу. Хотелось немедленно на неё посмотреть. Повод нашёлся быстро — в ящике трюмо лежали квитанции, коммунальщики насчитали там больше, чем обычно. Попросить помощи, разобраться... Толик поднимался, чуть ли не пританцовывая. Репетировал в голове вопрос, который надо было задать максимально безразлично, но жалостливо.

Третий этаж, налево. Дощатая дверь с медным ромбиком «18». Звонок — кнопка. Агата открыла дверь не сразу, Толик даже думал уходить не дождавшись. Пахнуло жареным луком.

— Толя, здравствуй. Чего тебе?

Глаза у неё живые и свежие, нежные глаза. Было в них то самое, от чего у Толи задрожали руки и заколотилось в ушах сердце, чуть не оглох.

Голос у неё мягкий с кислинкой, как с грампластинки, Толику казалось, что он вишнёвый.

Сиськи, спрятанные под халатом, скорее всего, твёрдые и тёплые, как две буханки белого хлеба. Если купить такие в пекарне и приложить к груди, то станешь Агатой.

Толику захотелось есть. Он протянул ей мятые бумажки, помоги, мол, понять, что там к чему. Любовь, думал Толик, не стеснявшись этого слова по отношению к Агате, это как батарейка в тетрисе: на ней всё держится, вся система. Не будет любви, и погаснет человек, хоть выбрасывай. Толик даже не слушал, что именно Агата говорила ему своим вишнёвым голосом про коммуналку, просто смотрел на неё, и всё. Как бы подзаряжался. И стало ему так хорошо, что надолго хватит.

С утра Толик встал пораньше, чтобы приготовить себе и отцу завтрак.

Нашёл на полке с крупами коробку с овсянкой. Прочитал, как и сколько варить. Высыпал её в кастрюлю. Залил водой и включил газ. Надо ли соль? Посмотрел в интернете. Посолил как написано. Долго тормозил отца, тот не хотел вставать. Потом кое-как поднял своё тощее, покрытое седыми редкими волосами тело. Толик помог ему одеться, усадил за стол.

— Овсянка полезная, — говорил Толик мамины слова.

Отец молчал.

Каша в итоге получилась *не такая*, склизкая и всё равно несолёная. Отец размазывал её ложкой и поглядывал на Толю. Чай тоже получился невкусный — пустой кипяток. Толик довёл отца до комнаты. Лёгкое невесомое тело отца двигалось по инерции, в руку Толика он вцепился по-птичьи. Когда-то в детстве было: парк, мужик с совой на цепи, «хочешь сфотографироваться?» спрашивала мать, и Толик хотел. Сова вцепилась ему в руку, словно он был для неё возможностью спасения, но Толик не был.

Он положил перед отцом пульт и мамин телефон с большими кнопками. В нём был встроенный тетрис, и ещё «змейка», и ещё «гонки». Но отцу было это неинтересно. И как оставлять его одного? Толик поговорил с начальством и после обеда был уже дома, в отпуске за свой счёт. Когда забежал домой,

представляя себе то одно, то другое страшное, нашёл отца на своём месте. Он смотрел в экран. Телевизор так и не включил.

По хозяйству получалось плохо: пылесос Толик включать умел, а стиральную машину нет. Боялся её, вдруг что-то не то нажмёт и затопит соседей. Попробовал стирать отцовское руками — потянул спину и ничего толком не отстирал. Толик позвонил сестре, уговорить — может, хотя бы ненадолго она приедет? А то как ухаживать за отцом и одновременно ходить на работу? А ещё скоро придётся ему ставить уколы, раньше и этим занималась мать.

— Толя, — говорила Наташка, — ну ты думай хотя бы, о чём просишь, у меня тут муж и двое детей, я их куда дену?

Толик не знал, конечно, куда деть мужа сестры и племянников тоже.

— Я вот что, могу оплатить сиделку. Если ты подберёшь хорошую женщину там у вас.

И ещё что-то говорила про долю в наследстве, как её бы ей получить не приезжая, потому что это время, а мужа и детей — Толик понимал — деть некуда. Он походил по соседкам, но они, сами старые и больные, отказывались. Знакомая матери, вероятно, всё же Татьяна, слегла с инсультом, наверно, торопилась к своим. И только Агата — дорогая его сердцу Агата — пообещала спросить у дальней родственницы из Карагая.

Толик сестру очень любил, особенно после случая.

В детстве он тянулся ко всем видам транспорта, особенно почему-то к мотоциклам. Злой сосед — тогда ещё молодой, сейчас уже старый — оставил свой красный «Урал» во дворе, у скамейки, а сам зашёл домой. Мотоцикл был крутой. Зеркала, руль, бак для бензина, мягкое кожаное сиденье. Подтянулись мальчишки. Пацан, которого Толик побаивался, громко сказал, что можно на этот мотоцикл сесть, если подняться на скамейку и с неё перебраться. Звучало так себе, потому что соседа боялись — особенно пьяного. Однажды он кидал с балкона бутылки и матерился на весь двор. Бутылки бились об асфальт и рассыпались на мелкие прозрачные зелёные стёклышки, которые Толик потом собирал, чтобы прятать «секретики».

Толик, не понимая, что он делает, запрыгнул на скамейку и перелез на мотоцикл. Животом лёг на бензобак и ухватился за неудобный руль. Попытался поставить ногу поудобнее, но тут мотоцикл качнулся и начал медленно заваливаться на бок. И грохнулся, Толику придавило ногу. Пацаны разбежались кто куда, до Толика никому дела не было. И тут из ниоткуда появилась сестра, легко подняла мотоцикл, умеючи поставила его на специальную подставку. Осмотрела Толину ободранную коленку. Сорвала подорожник, поплевала на него и приложила к коленке. И стало хорошо. Толик подумал, что сейчас бы к нему ко всему было бы неплохо приложить подорожник. Жаль, что Наташка теперь далеко. Очень жаль.

Однажды Толик решил сделать салат.

Овощи, услышал он по телевизору, должны быть постоянно в рационе взрослого человека. Купил помидоры две штуки, огурцы две штуки и зачем-то

красный болгарский перец. Как резать помидоры и огурцы, Толик знал, а перец впервые держал в руках. И зачем купил? Толик обернулся. Отец смотрел на него устало, с претензией. Толик разрезал перец пополам, внутри были какие-то семечки и пусто. Накрошил овощи, замешал всё в миске, залил майонезом. Получилась жижа, которую немного поели с хлебом.

После салата вышли погулять вокруг дома, отец уставал, хоть и опирался справа на палку, а слева на Толю. Но молчал, Толе приходилось всё это понимать самому. Снег таял медленно и грязно. На душе у Толи было пусто, как в болгарском перце.

На ночь Толик опять просил жену у иконы, потом вспоминал разное. Женщины чаще всего были не те. Сначала не та была Динка. С ней шестилетнему Толику нравилось собирать золотистых бронзовок — ярких маленьких жуков с разноцветными спинками — в спичечные коробки. В уютном крохотном жилище, набитом травой и цветком одуванчика, жучки жили счастливо, но недолго. Трупик бронзовок Толик с Динкой закапывали в песочнице. Делали могилки и ставили крестики из спичек с пластилином. А потом Динка плакала и гладила Толика по голове, и он запомнил это на всю жизнь. За такое ему хотелось хоронить с Динкой жуков каждый день. Много-много раз. Но Динка переехала в другой город, то ли в Пермь, то ли в Пензу, далеко от Толика. Оставила ему бумажку с номером телефона, который запомнился тоже на всю жизнь детским стишком. Но Толик ни разу по нему не позвонил.

Потом никого не было, и только после школы появилась Наилька-татарка с пятого дома, которую Толик даже привёл в гости. Но мать поджала губы, потом объяснила — не та. Лицо какое-то у неё... короче, не та. Не та была и Валентина, с которой у Толи случайно получилось всё, что бывает у мужчины и женщины. Но и тут мать вмешалась, наговорила однажды Вале разное — произошла ссора, Толик вступился за мать. Никто, кроме матери, не любил Толика, это было понятно. Валя ушла. В ней было много материнского к Толику, но ему не было жалко, всё равно на Агату она не была похожа. А больше никого не было.

А двенадцатого апреля в четырнадцать ноль-ноль в дверь постучали — пришла Раиса. От Агаты — та самая дальняя родственница из Карагая. Лет двадцать пять, может, немного больше. И чемодан сразу с собой на колёсиках. Толик ей протянул телефон, чтобы сестра обо всём договорилась, чтобы он не испортил. У Раисы были русые волосы до плеч и обычное лицо, не сильно похожее на лицо Агаты. Не очень симпатичная, зато зубы были белые и ровные. В какой-то модной кукольной одежде с блёстками, клёпками. Толик захотел, чтобы сестре она подошла. А Раиса что-то объясняла в телефон: да-да, знаю и умею, человеку тоже ставила, хорошо. Обнадёживающие слова, радовался Толик. И не зря — Раиса осталась.

Утром Толик вставал и шёл на кухню. Отец сидел и смотрел, как Раиса в ярком халате поверх ночнушки жарит блины. Надо попросить, чтобы научила, думал Толик. Блины у неё получались очень вкусные, с хрустящими краями. И овсянка — объеденье, отец просил добавки. Перед тем как учиться резать лук, Толик протянул ей нож, она случайно коснулась его руки и покраснела.

Толик смутился сильнее Раисы: её прикосновение ещё долго отдавалось приятными волнами, щекотало его изнутри.

Когда они вместе готовили, Раиса ещё много всего показала, как правильно. Отец не оставался безучастным — он то размешивал салат, то что-нибудь ещё. А стиралка, оказалось, несложно включается, Толик записал себе на всякий случай как.

Потом потеплело, и они начали все вместе гулять в парке, кормить голубей у церкви и смотреть, как по выходным танцуют на площадке под музыку. Раиса каждый раз просила с ней потанцевать, Толик поначалу стеснялся, что она такая активная. Но танцевать ему понравилось. Отец сидел на скамейке, и казалось, что доволен. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном...

Ночевала Раиса на раскладушке в зале, там же, где отец. Она вытиралась после ванны старым полотенцем Толика и ходила в его футболке. На ногах — отцовские шлёпки, которые ей были великоваты. Средние пальцы на её ногах выпирают, они длиннее большого пальца, Толик никогда такого не видел раньше и чувствовал что-то вроде умиления и восторга одновременно. У Раисы были мокрые волосы, она пахла мылом и стиральным порошком. Пора бы ложиться, но не хотелось уходить к себе. Сидели молча и смотрели перед сном в телевизор. Раиса смеялась, ей почему-то всё смешно. И будто бы всё вернулось назад, как было. Наладилось.

Однажды Толик, в очередной раз помогая себе расслабиться, на секунду представил Раису, отругал себя — в дочери годится, — но больше о ней не думать не мог. И заснул счастливым. И вообще стал всегда счастливым, потому что видел Раису каждый день. И ждал по выходным танцплощадку в парке, чтобы прикоснуться к Раисе — твёрдой, как пластмассовая кукла сестры. Даже волосы пахли примерно так же. Кукла до сих пор валялась где-то у Толика под кроватью, иногда он доставал её и смотрел, как она под ним то открывала, то закрывала глаза.

Они с Раисой двигались под музыку медленно, переступая с ноги на ногу. Толик держал её за талию — не впрытик, не слишком близко — и смотрел не в глаза, а по сторонам, чтобы не выдать себя. И сердце тикало. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом...

— На вас, Анатолий Степанович, вон та женщина смотрит, вы ей, наверно, понравились, — шепнула Раиса.

— Да ну, — сказал Толик, но покосился на скамейку.

Рядом с отцом сидела женщина с ярко подведёнными глазами и красной помадой. Как ведущая из передачи «Аншлаг», Толик забыл имя.

Ему захотелось сказать Раисе важное, но приятная музыка закончилась, включили громкое: зима, холода, одинокие дома. Раиса затанцевала одна, размахивая руками так, что не подойти. Так и не сказал ничего. Может, и пусть, Бог знает своё дело.

Дело оказалось недолгое. Второго июня в одиннадцать двадцать Толик долго смотрел, как Раиса собирала чемодан. Полотенце и футболку выстирала,

погладила, красиво сложила на спинку дивана. Говорила, что нашла место с общежитием и хорошей зарплатой, в пять раз, примерно, больше, чем платила Наташка. Если к этому даже прибавить пенсию Толика и пенсию отца, и зарплату на складе — меньше будет в три раза. Не переплюнуть.

На складе попал под сокращение, то есть ещё и с деньгами на первое время остался — так думал Толик. Десятого июня в двадцать пятьдесят он с наличными шёл домой через сквер — вечерний город был как злой сосед из детства: когда рядом взрослые, он был приветлив, а один на один лучше не оставаться, наподдаст. Под ногами чавкала грязь после дождя. Пьяный подросток, качаясь, прошёл мимо. Под фонарём ветер в узкой полосе света гонял по тротуару мусорный пакет, пока его окончательно не сожрала темнота.

Трое шли за Толиком всю дорогу от склада. У выхода, ближе к канаве, его стукнули по затылку твёрдым. Он упал и пролежал сколько-то. Очнулся, когда уже светало, — ни денег, ни тетриса. Всё лежало в чёрном пакетике, который у него отобрали, отдавать не хотел — поэтому стукнули кирпичом, вон он валялся, рядом. Толик дошёл кое-как до подъезда, посидел немного на ступеньках и поднялся домой. Открыл дверь и увидел отца на полу. Подбежал — жив отец, только лужа под ним и сил нет подняться. Толик дотащил его до кровати, сменил бельё, вымыл пол. Отец бессвязно матерился, звал мать, звал Наташку. Толика ругал.

Пенсия останется, считал Толик в уме, и социальные работники отцу положены, определят его в дом престарелых или ещё как-то позаботятся, получше, чем он. Толик нашёл на балконе бельевую верёвку. Дождался, пока отец заснёт, иконку спрятал в ящик тумбочки, подальше, и спустился во двор. Возле дороги стояло несколько машин. За ними — небольшой сквер, где сушилось бельё и было что-то наподобие детской площадки: песочница и качели. За ними стояла чёрная раскидистая яблоня. Рядом с ней когда-то Толик закопал «секретик» — бумажку с телефоном Динки под зелёным бутылочным стёклышком. Яблоня была давней знакомой. Её ветви, будто чёрно-бурые щупальца осьминога, потянулись к Толику и кольцами закружились в его глазах. Он закинул верёвку на плечо и пошёл к дереву. Петля связалась хорошая, Толик закинул себе на шею — хорошо, прочно. Теперь надо залезть на яблоню повыше, закрепить покороче верёвку и прыгнуть. И всё.

Первый же сук треснул под его весом, и Толик свалился вниз, ободрав правую ладонь.

— Эй, — крикнули за спиной откуда-то сверху, с лоджий. — Ты чего там, эй?

— Ничего-о, — быстро ответил Толик и отпрыгнул от яблони.

Стащил с шеи верёвку, мало ли, заметят. Пошатнулся и бочком дошёл до качелей, сел и давай качаться.

— Толя, чего лазишь там?

Толик узнал голос Агаты. Она стояла на балконе.

— Не лажу я, — крикнул он в ответ.

Где-то залаяла собака. Надо подождать немного, решил Толик. Но спустя несколько минут Агата вышла во двор и села на другие качели, рядом.

У неё оказались скрипучие, противные. Толик сжался, стало ему ещё хуже — такое бывало, когда приходилось что-то кому-то объяснять. Его не понимали никогда, всё надо было разжевать и положить в рот. Всю душу вынуть. Агата туда же, такая же, как все. Зачем она вообще пришла?

— Ты чего удумал, Толя?

Толик проследил за её взглядом, она не сводила глаз с верёвки, которую он держал в руках. Ободранная ладонь зудела, он зачем-то потёр её о штанину. Небо над ними было чёрным, но если приглядеться — Толик пригляделся, — то можно было различить одну звезду.

— Наташка-то к вам не собирается? — спросила Агата.

— Да чё-о она... — бормотнул Толик. — Не-а.

— Хочешь, я ей позвоню?

Толик обернулся на Агату.

— Она думает, что я урод. Она никогда не приедет больше, если я останусь. Если жить буду.

— Почему? С чего ты взял, Толя?

— А мне с ней всё ясно. Всегда было ясно. Всё вообще ясно. Потому что если у нас в туалете встать на унитаз, то можно через стекло смотреть в ванну. Мне про Наташку всё известно, какие у неё сиськи и какая жопа. И волосы между ног чёрные, кустом, а когда она их моет, они свисают у неё, как у собаки мокрый хвост.

Агата молчала.

— Мне теперь-то чо? Она мне потом говорила, что я ни с кем не трахался, а я тогда с ней трахался, и с тобой трахался, и вообще много с кем трахался. Много ума не надо, если представить, — и всё, и нормально. А чего я плохого кому делал? Нормально жили. А она потом увидела, как я смотрю. Ну, мылась она и увидела. И орала. И называла уродом больным. А я не урод. Не урод. Уроды тетрис забрали и зарплату, а я что плохого сделал? Она делает вид, что ничего не помнит, а сама помнит. Мне мало было лет, а она помнит...

Толик разревелся.

— Ты поплачь, поплачь, Толя, — сказала Агата. — Пожалей себя, пожалей. Тут утром дети в садик и в школу пойдут, а ты бы болтался обосранный и обсосанный. Так себе зрелище. Гадость откровенная.

Голос у неё был спокойный, ровный.

— Я не могу, — пробормотал Толик, скукожившись и сжавшись.

— Чего не можешь, милый?

— На меня всё падает, падает, падает, а я не могу, — затараторил Толик. — Не могу справиться, не могу. Я выключить хочу.

— Что выключить, милый? — спросила Агата.

— Всё это, — он махнул рукой, обводя дом, двор, яблоню и Агату.

— Я твою игрушку знаю, там всё так устроено. Ты сначала строишь, потом всё труднее и труднее. Потом — раз, и не получается. Да? Правильно, Толя?

Толик высморкался в рукав.

— А потом ведь всё заново начинаешь, — продолжала Агата. — Заново строишь. А почему? Так устроено. Тетрис можно новый купить. И нет ничего

стыдного в том, что силы закончились терпеть. Так бывает, просто этот момент надо пережить. Замереть и пережить. Знаешь, что мишки в лесу, чтобы зиму пережить, впадают в спячку? То же самое.

И погладила Толика по голове. Он вздрогнул — её прикосновения отозвались внутри него волнующими спазмами. Вспомнилась Динка, мёртвые бронзовки, песочница. Толик заряжался. Он любил женщин. С ними он хоронил жуков, лечил ободранные колени, танцевал и плакал. Женщины — живые и одна пластмассовая — заботились о нём, утешали. Всё в его жизни зависело от них, и сама его жизнь была женщиной. Руками Агаты она его не отпустила, велела оставаться. Толик послушался. Они ещё немного покачались, и Агата увела его домой. Верёвка осталась валяться под качелями. Утром её подобрал дворник и унёс к себе в подсобку.

Лето и осень пронеслись пятью квитанциями за коммунальные услуги. Снежным декабрьским утром Толик стоял в прихожей и думал: в шапке идти в магазин или без шапки. Уши у него мёрзли, и мама говорила, что если ходить зимой без шапки, то подхватишь менингит и помрёшь. Толик планировал.

Застёгивал пальто, и не получалось хорошенько — большие круглые пуговицы плохо пролезали в петли, Толик силился и вкручивал, дошёл до низу, а пуговиц не осталось. Целых две петли свободные... Толик вздохнул, начал перестёгиваться. За дверью послышался шум и какая-то возня. Толик выглянул в дверной глазок и увидел, как чужие мужики в тёмной одежде выносят чьё-то тело.

Толик вздохнул. В подъезде много стариков, опять кто-то отдал Богу душу, и ведь нет к ним ни у кого претензий. Спокойно уходят. Несмотря на то, что к смерти Толик начал относиться по-дружески, выходить сразу за покойником ему было боязно. Он взял шапку-петушок, положил в карман и спустился минут через десять, когда мужики точно уже вышли. Во дворе оказалось пусто, видимо, покойника увезли. На скамейке, подложив под зад удобные подушечки, в засаленных шубах сидели две бабки и шушукались.

— Кого вынесли? — не сдержался Толик.

— Горе-то какое, — начала одна шамкать губами. — Это муж этой, с третьего этажа, как их фамилия? Сердечник он был.

— Агатки муж. В детском саду она работает, тихая, — дополнила соседка.

— Верка говорила, что слышала грохот, видимо, он свалился, и всё. А она поздно с работы приехала и кричала, кричала. Верка говорит, слышала, как ревела она.

— ...Зашла домой, а из кухни ноги торчат. В тапочках...

— ...Видимо, упал, и всё...

— Дочь у них школу кончает...

— Да не в этом ещё году, рано ещё, — начала спорить та, что шамкала.

— А в каком она классе? Сисястая она такая. Девки так сейчас растут, по ним не понять...

Толик отошёл в сторону и посмотрел на окно Агаты. Зажмурился — было солнечно, ярко. Надо решить, какой торт для неё купить: вафельный

или бисквитный. Да, лучше бисквитный, с масляными розочками. И что-то стало с Толиком происходить, начал он меняться. Лицо округлилось и посветлело, глаза расширились, брови приподнялись. Под рёбрами застучало — отчётливо и гулко, отдавая в горло. Начинался новый уровень, вот что. Толик огляделся. В палисаднике голые берёзы и лиственницы много лет жили вверх, к синему небу — Толику захотелось так же. С ветки вспорхнула пёстрая птица и стряхнула короткий, но красивый снегопад. Толик подумал: «Зашибись, как в детстве, а птица к хорошему, точно к хорошему». Он стыдливо вытащил шапку, напялил её и пошёл в магазин. Несмотря на то, что река давно покрылась крепким льдом и по ней была протоптана тропинка на другую сторону, Толик посеменил вдоль берега. К мосту.

Заир Асим

О ЖИЗНИ ПАМЯТИ

* * *

каждую ночь
выдыхаешь в темноту
ещё один
прожитый день

всё уже
недостигаемо здесь
чтобы вновь
произойти

* * *

мне нужна маленькая комната
как в юности размером с купе вагона
как номер в отеле аэропорта в амстердаме
чем меньше пространства вокруг
тем больше ясности в голове
чем больше темноты снаружи
тем больше света в сорокалетнем сердце
мне нужна эта маленькая комната
со всех сторон обложенная молчанием
как это квадратное стихотворение
как цветное поле необъяснимого Ротко
здесь мы никогда не стареем не ошибаемся
это похоже на неожиданное освобождение
когда отключают свет и связь
абсолютная дикая тишина
вот оно куда не исчезло не растворилось
в бесконечной попытке пытаться
в тавтологии форм и рекламы
вот оно есть повсюду
то что было до нас
и останется после

Заир Асим — поэт, прозаик. Родился в 1984 году в Алма-Ате (ныне Алматы). Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Волга» и др. Живёт в Алматы.

* * *

Вода сливается в яму,
Бежит туда, где легче лежать
Застойной, надёжной,
Почти добродушной.

Там позовут по имени,
Заглянут в своё отражение,
Не ведая ни страха, ни вины,
Что все близнецы.

Стой же, как время,
Вопреки неожиданному,
Пока не взлетит река
В небесное русло.

Турецкий чай в Стамбуле

Вкус турецкого чая определяется цветом и формой стекла,
Подобно маленькой скрипке,
Терпким послевкусием, пределом усталости,
Рыжим котом на диване,
Воспоминаниями о прошлом годе,
Когда большой компанией весело ели рыбу,
Всего лишь год назад,
А уже так недостижимо,
Как фотографии детства,
Как желание пережить
Что-то вновь во второй раз,
Делаешь небольшой глоток,
Чего давно не делал,
Видишь отражение себя,
Не тянешься гладить кота,
Слишком понятна его природа,
Разглядываешь фото папы из Барселоны,
Где он сидит на скамейке, совсем седой,
И держит за поводок собаку брата,
В полусне, в полубреду пишешь эти слова,
Ничего уже не ожидая от жизни,
Кроме этих неожиданных, очаровательных всплесков
Пути, незнакомых мест, родных лиц, будущих встреч,
Так хорошо, что сегодня было почти не страшно не приземлиться,
Когда самолёт на огромной скорости после тряски шёл на посадку
И вдруг взмыл вверх,
Как будто жизнь даётся заново.

* * *

я всё ещё помню крик ворон
на голых ноябрьских кронах
когда папа вёл машину
вверх по сейфуллина

воспоминания даны чтоб не помнить
просто книги на полках
интерьер прошлой тайны
лестница в небытие

этот сегодняшний дом
за городом у подножия снов
напомнил о жизни памяти
о простоте стен и вещей

воздух летел из окон
как наши имена и годы
без боли и сожалений
во всём открывал себя

Игорь Клев

Книга старости

Главы из парадоксальной повести

Сказочка о хронотопе Киева

Ещё тысячу лет назад у этого города имелись все предпосылки, чтобы сделаться великим или даже вечным. Как Константинополь достиг имперского величия, застолбив место на берегах пролива между морями и на стыке континентов, так и Киев, возникший на полдороге водного пути «из варяг в греки» и на рубеже русских земель, лесов и полей с бескрайней степью кочевых народов, не мог не заявить вскоре своё право на освоение и подчинение прилегающих территорий. По преданию его основал Кий, старший в роду племени полян, судя по занимаемому им месту в походе на детскую считалку перечне Кий, Щек, Хорев и сестра их Лыбедь, откуда и взялось такое название города, поделённого братьями с сестрой на вотчины. Однако не исключено, что их имена просто персонификации духов местности в соответствии с первобытными анимистическими представлениями, а задним числом возникло предание, которому предшествовала сказка, что Кий был одолевшим Змея Горыныча ковалём громовержца Перуна, а не князем полян, державшим на реке лодочную переправу. Народная молва приписала ему подвиг былинного богатыря Кожемяки, который победил дракона и, выковав железную соху весом триста пудов, запряг его, как быка, и пропахал борозду для русла величезной реки до самого моря, наворотив на высоком берегу горы, а ниже по течению каменистые пороги и земляные отвалы с рвами, названные Змиевыми Валами, для защиты будущего Киев-города от разбойных набегов конных кочевников, что сохранилось в названии Кожемяки одного из его районов. В любом случае, укреплённые славянские поселения появились некогда на господствовавших над этой местностью холмах и вдоль крохотной речушки, сбегавшей от них вниз к могучему Днепру (сочетание согласных «дн» в речи восточных славян, похоже, являлось произвольной и граничащей с восторгом их реакцией на особо серьёзную водную преграду, о чём свидетельствует топонимика: Дунай, Днестр, Днепр, Десна, Дон, Донец, Двина Западная и Северная).

В последующие столетия с принятием кириллической грамоты и христианской веры восточного обряда, с появлением летописания и началом каменного строительства

Клев Игорь Юрьевич — прозаик, эссеист, критик, переводчик, редактор. Родился в 1952 году в Херсоне (УССР). Окончил филфак Львовского университета. Работал реставратором. Публиковался в «Дружбе народов», «Знамени», «Новом мире» и других журналах. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 1.

колоколен и храмов с золочёными куполами, с созданием собственного пантеона самобытных исторических героев, святых и злодеев, над городом стал возникать и приобретать определённую мираж града на холме мира наших предков. Но произошёл сбой программы из-за незрелой грамматики молодого языка, что приводило к разрывам логической цепочки в трактовках права наследования престолов и вирусу междоусобицы, поразившей и погубившей тот русский мир. Впрочем, подобная история случалась со всеми без исключения молодыми народами.

Великокняжеский стольный город Киев в XIII веке от Р.Х. пал и был изрублен в куски несметными ордами степного царя Батые, словно поверженный былинный богатырь, после чего полтыщи лет пролежал в расчленённом виде и совершенном ничтожестве, не считая едва теплившихся в бранных останках признаков жизни в прежних очагах подвижничества, святости и учёности, разорённых ордынцами подчистую, но не выжженных дотла и тлевших веками под слоями пепла и золы. Совокупное население трёх основных частей прежнего города — уничтоженного монголами детинца великокняжеского Верхнего города, торгового Подола с речной пристанью, купеческими амбарами и ремесленными мастерскими и монастырского Печерска, с пещерами монахов и схимников и церквами, — не превышало десяти-пятнадцати тысяч вплоть до середины XVIII века. И всё же помалу люди стали возвращаться в выморочный город-призрак, словно кто-то поливал мёртвой водой останки павшего древнерусского богатыря, чтобы раны его смогли затянуться и тело срастись, согласно поверьям предков.

Дело пошло бойчее с появлением православной Киево-Могилянской академии на Подоле стараниями священства Лавры, сумевшего отстоять свою веру, права и имущество в борьбе с католиками и униатами, с возведением столетием позже на господствующей над местностью высоте бирюзовой, под цвет небес, грациозной Андреевской церкви, по распоряжению царицы Елизаветы Петровны и проекту Растрелли, а после третьего раздела Польши и в последний год правления Екатерины Великой — с переводом Контрактовой ярмарки из Дубно на Волыни на Подол в Киеве, отчего город, словно политый живой водой, стал понемногу оживать от подобного сочетания исторической памяти, святости, учёности, красоты и притока капитала.

Но, чтобы «пусто место свято» могло повторно превратиться в по-настоящему большой город, помимо монаршей воли и средств из государственной казны, требовалось приложение огромных усилий большого числа людей для появления городских улиц и каменных зданий на месте хаотичной застройки бревенчатыми срубами, деревянными домишками и глинобитными хатками под соломенной крышей, кто во что горазд, и для ликвидации директивным образом и упорядочивания стихийно образовавшейся за много столетий «нахаловки» с бесщётными сарайчиками и халабудами на склонах холмов, где местные жители выпасали скотину (отчего один из них в самом центре города так и зовётся Поскотиной по сей день), а внизу на своих подворьях откармливали свиней, разводили домашнюю птицу и занимались огородничеством, садоводством и винокурением для собственных нужд и на продажу.

Кстати, это последнее обстоятельство сделало впоследствии Киев признанной столицей самогоноварения, и в советское время в нём или сами все гнали замечательный самогон — от простых работяг по профессору и первую скрипку киевской филармонии, — или употребляли его с большой охотой. Говорилось: «Ты что же, пьёшь монопольку?! Но зачем? Гляди, вот сейчас мы разрушаем длинномолекулярные связи...» — подсыпая с этими словами и плотоядным воркованием какой-то порошок в огромную бутылку с мутноватым первачом.

Двести лет назад первым делом требовалось засыпать и выровнять Крещатый яр, что отделял бывший Верхний город от Подола ошую и Печерска одесную, чтобы связать, наконец, разрозненные части города воедино. По легенде в протекавшем

по его дну ручье великий князь Владимир крестил своих детей, которых у него было немало, после чего принялся и за остальную Русь. Но это не больше, чем красивая версия, характерная для устного народного творчества, тогда как Крещатый яр — непреложный геологический и лингвистический факт. Этот исчезнувший глубокий овраг, походивший на хребет с рёбрами какого-то ископаемого исполинского ихтиозавра, и придал направление, и дал название главной киевской улице при императоре Николае Палкине, получившем такое поносное прозвище за командно-бюрократический стиль своего правления от тогдашних вольнодумцев (словно волюнтаризм и беспредел Рюриковичей или декабристов и их идейных чад для России мог быть лучше и предпочтительней государственного мышления оболганной династии Романовых — разветвлённой фамилии, за триста лет самодержавного правления не породившей на свет ни единого мерзавца или хотя бы просто уроды).

В этом отношении показательна ботаническая война, которая велась подспудно в Киеве между тополями и каштанами. Первые пытались насадить имперская бюрократия, чтобы тополя придавали приземистым постройкам вертикальное измерение, как в средиземноморских странах, и держали строй не хуже, чем полки регулярной армии прусского образца. А вот цивильное и преимущественно мещанское население отдавало предпочтение раскидистым каштанам, дарящим тень обитателям южного города летом и волнующим всех колыханием своих женственных юбок в пору цветения весной. Велась война на истощение, в которой верх одерживала то одна, то другая партия, и нетрудно догадаться, что начало ей было положено при Николае Первом генерал-губернатором Бибиковым, но именно с их лёгкой руки (вариант: «тяжёлой десницы») набрал Киев свой разбег. Когда к концу XIX века его население выросло десятикратно, этот город биржевиков и сахарозаводчиков претендовал уже на признание его третьим по размеру и значению городом империи в заочном негласном соревновании с портовой Одессой и немецкой Ригой. К началу Первой мировой войны в нём проживало полмиллиона человек, количество которых позднее то уменьшалось вдвое, то увеличивалось на порядок.

Скороспелость сделала этот стремительно растущий город химеричным и многоликим. Плакальщику о судьбе евреев в Российской империи и писавшему на почившем в бозе идише Шолом-Алейхему он представлялся местечком Егупец под пятой российских фараонов, тогда как автору «Печерских антиков» Лескову виделся городом живописной и богомольной киевской старины. Позже для одних он сделался родным городом Булгакова и радикальных богословов и пассажиров «философского парохода» Бердяева с Шестовым, другим виделся городом авиаконструктора Сикорского и русского «космиста» и первого президента Украинской академии наук Вернадского, кому-то ещё — малой родиной манерного певца Вертинского и матёрой израильтянки Голды Меир. «Всякому городу нрав и права, всяка имеет свой ум голова», — как писал бродячий философ и проповедник Сковорода, остриженный «под горшок» и глядящий сегодня с тысячегривенной купюры. И две маски, как в древнегреческом театре, были у этого возродившегося тысячелетнего города на подмостках истории и жизни. Одна трагическая — как в «Белой гвардии» Булгакова, а другая комическая — как в водевиле «За двумя зайцами» на гениально-уморительном суржике.

Синдром ускоренного социального роста сыграл злую шутку с Киевом в XX веке. От потрясений в череде войн и революций с переодеваниями и многократной сменой знамён, от которых съезжала крыша, киевляне не сумели оправиться (убитый здесь в оперном театре Столыпин как в воду глядел), и оттого столицей, учреждённой победителями советской Украины, на полтора десятилетия сделался более пролетарский Харьков, за которым было индустриальное будущее в стиле конструктивизма, но не было за плечами столь же богатого, колоритного и давнего прошлого, как у Киева. Беды его на этом не закончились тогда, если не усугубились на фоне впечатляющего триумфа победившей стороны и великих строек социализма, — с немилосердной

классовой борьбой, репрессиями, принудительной украинизацией, коллективизацией, голодомором, великим переломом, Бабьим Яром, деокупацией и дебандеризацией, — но восточные славяне народ упёртый, и жизнь, понеся невосполнимые потери, всё же сумела одолеть смерть.

И уже через пятнадцать лет после окончания следующей мировой войны и ещё более чудовищных связанных с ней потрясений и испытаний советская Украина и её столица Киев вступили в фазу небывалого расцвета и приступили всерьёз к осуществлению того, чего на свете никогда не существовало, но было обещано и научно доказано когда-то основоположниками великого учения построения рая на земле, сделавшись Программой XXII съезда КПСС — чтобы не по труду воздавались трудящимся и распределялись все блага, а по принципу «от каждого по способностям, каждому по потребностям», с твёрдой верой и клятвенным обещанием, что ещё «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

И правда, после восстановления взорванного в войну Крещатика немецкими военнопленными по проекту сталинских архитекторов город сделался куда краше и несравненно монументальней. С запуска в нём метрополитена в 1960 году, а Гагарина в космос в следующем, тогда же присвоения Киеву звания пятого по счёту города-героя в СССР и принятия упомянутой выше Программы, считай, четверть века, до самого Чернобыля, осуществлялся здесь и воплощался масштабный проект образцовопоказательной версии коммунизма. С «ракетами» и «кометами» на подводных крыльях, что забегали по Днепру вниз и вверх по течению (как водомерки на пруду), с оторвавшимся от земли большегрузным «Антеем» (что не должен бы уметь летать, как майский жук над лугом, «хиба шо низенько-низенько», да и стрёмно нечто такое для тёзки античного богатыря, боровшегося некогда с Гераклом, весом в сотни тонн), с реабилитированной «кибенематикой» и открывшимся для публики «ВыПерДосом», аналогом московской ВДНХ, с золотым веком киевского «Динамо», великими матчами и забитыми Лобановским с углового подкрученными голами в сетке ворот. Зелёный, ухоженный, уютный и сытый южный мегаполис для жизни в своё удовольствие двух миллионов его жителей и жителейниц, «киян» и «киянок». Цветочный Город с фруктовыми деревьями во дворах и Солнечный Город со слегка похрюкивавшей партийной номенклатурой и патлатыми «ветрогонками»-хиппи на улицах, с Незнайкой и его друзьями, которым в скором времени предстояли ещё приключения на Луне, — что это было, как не почти сбывшаяся коммунистическая утопия?! И вишенкой на торте — любимый всеми советскими людьми и коротышками «Киевский торт», единственным изыском которого являлось использование кондитерами мусорного арахиса по бросовой цене в рецепте, а не какого-нибудь волшебного ореха «кракатук», знакомого взрослым и детям по сказке о Шелкунчике и по тем короткометражкам, что демонстрировались всегда в кинотеатрах перед показом художественных фильмов: «Орешек знания твёрд, но всё же мы не привыкли отступать — нам расколоть его поможет киножурнал “Хочу (тук!) всё (тук!) знать (тресь!!!)”».

Призрак коммунизма унесло ветром на свалку истории вместе с радиоактивным облаком над Первомайской демонстрацией 1986 года, словно смело незримым смертоносным жаром от дыхания Змия, что вернулся восвояси через тысячу лет после крещения Руси, чтобы отместить неразумным славянам за своё поругание и унижение. Отчего состоятельные семейные горожане принялись разбегаться из Киева с детьми во всех направлениях на всех видах транспорта. Оставшиеся же впали во вседозволенность и, невзирая на драконовские меры затеянной властями годом ранее антиалкогольной кампании, опорожнили все имевшиеся в городе запасы красного сухого вина «Оксамит Украины» и вывели из аптек подчистую препараты йода для защиты от радиации, сочтя её подходящим поводом для народного гуляния, покуда доставленные со всех концов огромной страны отчаянные смельчаки старались загнать обратно в своё логово Змия, вырвавшегося, как джинн из запечатанной

бутылки, и пытались погасить предсказанный в Библии пожар от падения звезды Полярной, сами сгорая от лучевой болезни за считанные часы пребывания у котла ядерного реактора в Припяти. Власти набрали в рот воды и молчали две недели, пока вражеские голоса всю трубили о случившемся и, как оказалось, не клеветали в данном случае, а вещали чистую правду, что и стало приговором для семидесяти с лишним лет советской власти.

На чём, собственно, закончилась история одного города и началась другая, продолжающаяся по сей день. С воздвигнутой на Майдане беломраморной трёхступенчатой колонной и статуей на ней химеричной языческой Берегини-Оранты, распростершей чёрные свои крыла над Украиной ещё при президентстве в Незалежной пана Кучмы, прославившего большим учёным бывшего ракетостроителя и «красного директора» оборонного завода. С перестрелянной, как в тире, сакральной «небесной сотней» и раздачей заграничных печенюшек на язык пастве для причащения вместо просфоры или гостии: «Этому дать, и этому, и тому тоже, а этому не дать — пошто не скакал со всеми на майданах, когда все скакали? Становись же на колени теперь и моли народ о пощаде!» И со всем остальным, что последовало затем, когда народонаселение страны сократилось вдвое, а число жителей Киева, напротив, увеличилось в полтора раза и выросло до трёх миллионов...

Галичина. Интродукция

Если выпало в империи родиться,
жить в провинции, в предгорьях, это горе...

Вокруг галицийских городов и местечек веками плескалось разливанное селянское море. Городское население в них было преимущественно польско-еврейским, точнее — польским и еврейским в той или иной пропорции. Когда еврейское население было уничтожено подчистую в годы войны, а подавляющая часть польского после войны подверглась переселению, освободившееся жильё заняли переселенцы с востока — русские, украинские, татарские, еврейские квалифицированные специалисты, но также множество галичан, хлынувших из сёл в города, общими усилиями которых начались советизация, украинизация и переустройство городской среды и культуры. Через двадцать лет западно-украинские города, местечки и сёла уже было не узнать. Жизнь галичан не перестала быть трудной и бедной, но перестала быть совсем нищенской и безнадёжной, от которой сотни тысяч отчаявшихся селян за полвека эмигрировали в Новый Свет, чтоб не отправиться до срока на тот свет от непосильного труда, безработицы и голода. Для них неожиданно открылись новые возможности, когда в результате целой серии катастроф и трагедий пали сословные, этнические и экономические стены городов. Сначала это была щёлка, через которую веками униженное и обездоленное крестьянство проникало в них в поисках работы. Новая власть остро нуждалась в рабочей силе, а крестьянство благодаря этому находило возможность освободиться от нового закабаления и бесправия в тисках полукрепостнического колхозного строя. Советские колхозники после денежной реформы 1961 года зарабатывали полрубля за трудодень на полях и фермах и выживали только благодаря подсобным хозяйствам. А в городах были деньги и зарплаты и, получив на руки паспорт, можно было в них найти работу — разнорабочими на стройках или домработницами и няньками за пару десятков рублей в месяц, не считая бесплатного проживания и пропитания, — если повезёт, устроиться на фабрику с общежитием для рабочих, поступить в ремесленное училище, техникум или даже институт, а через двадцать лет непрерывного трудового стажа и продвижения в списке очередников и льготников получить вожеленную городскую государственную квартиру

с удобствами, одну комнату в которой тут же начать сдавать студентам или фабричным, после чего в возрасте пятидесяти пяти-шестидесяти лет заслужить пенсию, не сравнимую даже близко с пенсиями в сёлах. Так шёлка понемногу превратилась в распахнутую дверь, а затем и ворота на волне косыгинских реформ. Жизнь в Галиции мало-помалу нормализовалась, делаясь всё более терпимой для крестьян и удобной для горожан, которых не получается из жителей села за одно-два поколения.

И это шестидесятые годы — десятилетие первоначального насыщения, успокоения вражды и всяческих достижений, счастливо совпавшее с годами нашего школьного детства. Достижения могли быть громкими, вроде полётов в космос и цветного телевидения, или совсем незначительными, вроде разноцветных шариковых ручек, белых нейлоновых рубашек и растворимого кофе; но вдруг появившиеся в хрущёбах вместо табуреток и родительских панцирных кроватей полированные мебельные гарнитуры из ДСП с застеклёнными сервантами и книжными шкафами, полумягкие кресла, транзисторные приёмники и плёночные магнитофоны меняли не только условия нашего существования, но и нас самих. Сосунки сосуществования, мы оказались самым небитым и оттого самым миролюбивым поколением в истории страны. Расплата последовала далеко не сразу, но усугублялась с каждым десятилетием, покуда не прижала к стенке и не поставила каждого перед выбором.

Когда на транспортном кольце на улице капитана Дадугина, погибшего в уличных боях при освобождении Станислава от воевавшей на стороне Гитлера венгерской армии, оказался демонтирован с постаментов на островке и сдан в металлолом танк Т-34, а на его месте к столетию Бандеры установлен бронзовый памятник ему, круг почёта на символическом въезде в город для одной части населения обернулся кругом позора, а для другой, одержимой жадной реванша и мести за сокрушительное поражение, нечаянным поворотом колеса Фортуны. Тогда как для третьей, самой многочисленной и послушной, его части произошедшая смена караула была по барабану. Как в сбывшемся дурном сне, воскресший Бандера в расстёгнутом пальто европейского покроя, приложив руку к сердцу, приносит присягу у подножия разлапистого немецкого креста за спиной. Соответственно, это место называли «Европейской площадью», а улицу Дадугина переименовали в улицу учредителя ООН Коновальца, ликвидированного чекистами незадолго до войны способом, на который оуновцы с бандеровцами не должны бы жаловаться. К площади с монументом ведут теперь улицы Степана Бандеры — бывшая Куйбышева, и Джохара Дудаева — и уже забылось и былём поросло, как она звалась прежде. Пушкина стала улицей Черновола, а моя Дзержинского — Мазепы. Любопытно, «ястребок» на ней, что задорно задирает комариный нос на развилке между поворотом к аэропорту и дорогой к кладбищу на Чуколовке, цел ещё или улетел на небо, разделив судьбу «тридцать четвёрки»? Не у кого спросить.

Моя мать лежит на этом кладбище, местном топониме и синониме смерти, о котором говорилось попросту — «свезли на Чуколовку». Существовал у горожан аналогичный эвфемизм для дурдома — «отправить на Млынарскую», то есть Мельничную, по названию тупичка в конце улицы Московской, состоящей из одних хрущёвских пятиэтажек и переименованной обратно в Бельведерскую. На ней давно следа не осталось ни от мельниц, ни от польских особняков с бельведерами, память о которых ещё какое-то время сохранялась в перевернутом виде в названии одной из банд уличной шпаны — Бульвадор, враждовавшей с Мазлями и Немецкой колонией. А на Чуколовке теперь в общей могиле с матерью погребён также и прах отца в кукольном гробике. Он пережил её на долгих восемь лет и был кремирован нами с сестрой в Одессе — городе их студенческой послевоенной голодной юности, где судьба свела его когда-то с нашей будущей матерью...

Мои родители не занимали ничего жилища, наоборот, — кроме той хрущёвской пятиэтажки, в которой мы сами жили, отец построил ещё один такой Станислав.

В год, когда я пошёл в первый класс, совершенной невидалью стал построенный им 150-квартирный дом на центральной улице. Потом он строил на осушенных болотах жилые микрорайоны Южного и Северного бульваров, обшарпанные общаги студгородков, но также первый в городе широкоформатный кинотеатр «Космос». В шестидесятых на берегу рукотворного «моря» перекрытой дамбой речушки Гнилая Липа построил клуб работников Бурштынской теплоэлектростанции, с выламывающейся из стены мозаичной фигурой полу-Прометея полу-Данко какого-то из худфондовских «мытцев», ваятелей-монументалистов. В семидесятых возводил новые облмуздрамтеатр и отель на месте выкорчеванного и сровненного с землёй польско-еврейского некрополя, от которого городские власти из не вполне понятных соображений пощадили несколько каменных и мраморных надгробий, оставив их торчать на газонах и в кустах сквера посреди уцелевших остатков кладбищенской рощи, пугая пешеходов. И много ещё чего другого построено было отцом за тридцать лет по эту сторону Карпат. Жаловался мне, что всё труднее становится найти начальника СМУ в Косове: поработав на стройках, гуцулы разбегались в народные промыслы и ремёсла, где надомниками зарабатывали в три раза больше. Однажды, уже на нищенской пенсии, подрабатывая ночным сторожем и дворником в детсаду, посетовал на людскую чёрную неблагодарность. Хорошо ещё, что мать с отцом не видели всего того, что было после них — «потом». И я требую не благодарности — на которую, кажется, даже животные способны больше людей, не говоря уж о народах или государствах, — а элементарного уважения к тем, кто полжизни провёл в трудах на благо этого края и полёг на Чуковке.

У этого города нет и не было таких архитектурных памятников, гениального ландшафта и богатой биографии, как у древнего Львова. Он не стал Дрогобычем нефтебаронов и Бруно Шульца, поскольку не породил художника и писателя такого класса. Ни одна из его построек и достопримечательностей не была внесена организацией ЮНЕСКО в список культурного наследия мирового значения, и дипломы только одного вуза в нём — местного Института нефти и газа — позволяли его выпускникам всегда и везде находить работу по специальности. И всё же странным образом он избежал превращения в захолустье, и никто не называл его «маленьким Парижем», — подобно патриотам Стрия и Коломыи или призывникам из Болехова, — разве что «Сан-Франциско», иронично обыграв его неуклюжее советское название. Впрочем, и польское нельзя признать удачным. Почему-то закрытый для иностранцев на многие десятилетия этот сравнительно ухоженный и компактный город-миди, дойти пешком из центра которого до окраины можно и сегодня в полчаса, был удивительно соразмерен человеку в детстве и старости, но тесен до одури в молодости. Поэтому так быстро старились в нём и помаленьку сходили с ума люди.

О его малоценности горожанам в очередной раз напомнили на курсах гражданской обороны в годы холодной войны. Когда-то Станиславу крупно повезло, что железную дорогу от Львова до Черновиц австрийцы проложили через него, однако столетие спустя в ядерной войне американцам не пришлось бы тратить даже лишнюю бомбу на него — достаточно сбросить по одной на Львов и Черновцы, чтобы ударная волна с двух сторон стёрла Ивано-Франковск с лица земли. Услышав такое, горячие головы приуныли, засомневавшись в самой необходимости существования службы гражданской обороны, и пришедшее в небрежение неказистое здание штаба ГО, в конце концов, сгорело и было снесено. А атомные бомбоубежища как появились во дворах хрущёвских новостроек, так и исчезли невостребованными, не оставив по себе следа, кроме детской памяти о бетонных будках с наглухо заваренными стальными жалюзи в слепых оконцах. Можно было только гадать о сокровищах, скрытых за побитой ржой массивной дверью и спуском по крутой лестнице с фонариком или свечой: противогазы, запас консервов, какие-то приборы и дозиметры — что ещё там может быть? Воображение буксовало.

То было редкое время равновесия и умиротворения, когда люди навоевались до не хочу, навкальвались и им захотелось просто пожить, наконец. Задержавшееся в провинции по инерции странное время между волком и собакой — между карибским кризисом и пражской весной, между Хрущёвым и Брежневым, между полётами на земную орбиту и полётами на Луну. словно приснившееся нам время зависания и паузы — коллективный сон, в котором мы проспали чудом не разразившуюся третью мировую войну, будто прогуляли контрольную по математике с гарантированным «неудом» для всех. Время музыки «Битлз», хиппи, «мэйк лав нот вор», сосуществования, соревнования, конвергенции, митингов и маршей в защиту мира, «фиатов» автомобильного завода в Тольятти и сигарет «Союз — Аполлон». Его накрыло время отдалённых войн, непосредственно нас не затронувших, — во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, на границе Индии с Пакистаном, — тревожных, но до поры пугавших не больше, чем всполохи зарниц на горизонте. Эти ожесточённые конфликты и войны на периферии, как ни цинично может звучать это для их участников и жертв, служили сверхдержавам с ядерными боеголовками чем-то вроде тех пограничных столбов для чесания спин, о которые медведи трутся, чтобы в очередной раз пометить и удостоверить пределы своих угодий и сфер влияния и предостеречь от посягательства на них. Пока в Афганистане мы не повторили в точности фатальную ошибку злосчастных янки. «Мы», потому что никто не был против — а если и был, то только у себя на кухне с друзьями и по секрету.

Экскурс в историю вопроса

Но вернёмся в Галицию — депрессивный пограничный регион, с незапамятных времён служивший камнем преткновения для ближних и дальних соседей. В этом месте сцеплялись и тёрлись гигантские поворотные круги цивилизаций, перемалывая судьбы сошедшихся здесь народов. Два тысячелетия понадобилось, чтобы по окончании Второй мировой войны колхозники снятинского района разобрали на фундаменты для своих хат последние вросшие в землю камни древнеримского Траянова вала. А неподалёку от того места, где был обнаружен языческий четырёхликий Збручский идол, десять веков пролежавший на дне реки, пока она не обмелела, и вблизи села, где родился основатель хасидизма Баал Шем Тов, где от руин Окопов Святой Троицы открывался вид с высокого берега на Хотинский замок за рекой, уцелевший в бесконечных польско-русско-турецких войнах, и где пролегалла некогда граница по линии Керзона, львовские реставраторы однажды показали мне уцелевший плоский камень для языческих жертвоприношений с канавкой для стока крови от углубления в виде креста. И похожие выдолбленные в камне равноконечные греческие кресты я находил на закопчённых стенах пещерок отшельников в скалах Днестровского каньона ниже Галича по течению. Кого только здесь не перебивало. Даже не похожие ни на кого гуцулы, которые, казалось бы, отродясь жили в Карпатах, пришли сюда тоже откуда-то с равнин не раньше тысячи лет назад. До сих пор они побаиваются лесных грибов, признавая съедобными едва дюжину из них, сохраняя при этом в нетронутom виде некоторые особенности древнерусской речи и языческих верований. Этот край, заселённый и обжитый молодым и не твёрдым ни в чём народом, всегда пребывал у истории в пассивном залоге.

Процесс расселения и освоения славянами просторов Восточно-Европейской равнины длился не одно столетие, и какая-то часть восточнославянских племён оседала и накапливалась в западной её части с незапамятных времён. Около тысячи лет назад, одновременно с образованием Руси Рюриковичей, начала происходить их консолидация, что привело к образованию княжеств. При скудости, фрагментарности и противоречивости преданий и письменных свидетельств задним числом сам чёрт

ногу сломит в истории генезиса народов, стран и государств раннего Средневековья. По каждому вопросу в ней тьма мнений и ещё больше разногласий, но не подлежит сомнению, что то был совершенно другой мир, иначе устроенный, которым более тысячи лет правили могучие династии. Их представителям было почти безразлично, какой престол занять, но, получив ту или иную страну в управление и кормление, они работали уже только на эту страну и этот народ со всем усердием, на какое были способны. О собственном государстве они пеклись, как не пекутся топ-менеджеры о своей корпорации, поскольку поменять «место работы» удельные князья ещё могли, что с азартом и делали согласно представлениям о «лествичном праве», а вот великие князья и короли уже нет — эти могли идти только на повышение, в цари или императоры. В противном случае нерадивые и недальновидные правители доводили доставшуюся им страну до ручки и сами плохо кончали. Степень родства имела огромное значение при заключении союзов и сделок между государствами, но переставала иметь значение в случае конфликта интересов, примеров чему не счесть вплоть до XX века. Ничего личного, что называется, даже для монархов.

И не подлежит сомнению вот ещё что. Едва отказавшиеся от дремучих верований и кровожадных нравов язычества, недавно обращённые в свежую для себя и непривычную веру, только получившие оригинальную письменность и начавшие осваивать азы самостоятельного государственного и культурного строительства восточнославянские племена, славяно-русы, поставили на ноги и привели в божеский вид этот край. В силу численного перевеса и отчасти цивилизационного превосходства они потеснили обитавшие здесь до них и достаточно мирные племена белых хорватов — таких же восточных славян, о которых известно только то, что они если не продолжили растянувшуюся на века миграцию вслед за соплеменниками в поисках вечнозелёных земель Моравии/Муравии, то со временем обрусели, растворившись в пришельцах. Но свято место пусто не бывает, и в свою очередь пришельцы с востока вскоре испытали встречное и гораздо более интенсивное давление со стороны экспансивных западных соседей — ляхов или дунайских угров, пришедших из-за Урала и отвоевавших для себя место под солнцем в самом центре Европы. Те и другие крестились почти одновременно с Русью, но чуть раньше консолидировались и занялись государственным строительством по образцу собственных западных соседей, а после схизмы в 1054 году ощутили себя ещё и римокатоликами, со всеми вытекающими из этого обязательствами и последствиями для некаатолического населения, за исключением разве что крестовых походов «дранг нах остен». Удача была то на одной, то на другой стороне, донимали также с юга и севера воинственные кочевники и язычники — половцы и литвины, пока не образовалось могучее Галицко-Волынское русское княжество, равное по силе соседним королевствам, как минимум. К сожалению, его возвышение почти совпало с монголо-татарским нашествием на Русь, перед которым не устояло ни одно из северо-восточных, центральных и южных княжеств. Окраинные, более лесистые и северные княжества, где степь и лесостепь заканчивались, не разделили их судьбу только потому, что согласились стать данниками завоевателей, а те не управились до срока, когда начинается распутица и вскрываются реки. «Генерал мороз» в данном случае был на стороне привычных к злой стуже ордынцев, одетых в меха и оседлавших таких же косматых крутобоких лошадей, для которых разрывать снег копытами и мордой и питаться мёрзлой травой было привычным в степи делом. Свирепая конница прирождённых кочевников из недр Азии, словно вырвавшаяся из Тартара саранча, налетела на Поволжье, Русь и страны Центральной Европы. Полчища средневековых байкеров из улусов «Ангелов ада», какими они рисуются в киношных антиутопиях, устремились к «последнему морю» на западном краю Земли, потому что на востоке, прорвав Великую Китайскую стену, они дошли до него ещё при Чингисхане. Хотя, по заверениям историков, чингизиды всего лишь стремились создать рах mongolica в бескрайней степи от океана до океана, где они сами могли бы править

железной рукой. Но степь на западе закончилась раньше, чем ожидалось, а чингизиды поостыли вскоре, рассорились и растащили по частям Великую Орду, через пару веков сойдя с исторической арены. На пике своего могущества монголы контролировали территорию в полтора раза большую СССР и вдвое большую площади нынешней РФ. Обречённая попытка кочевых орд вобрать нечто несравненно большее в нечто меньшее мало чем отличалась, по существу, от деяний македонцев и римлян, крестоносцев и воинов ислама или Тамерлана, Османской и Британской империй и так далее. Всякий раз последствия бывали не совсем такими или совсем не такими, как мнилось завоевателям.

Созданное отцом Даниила Галицкого Галицко-Волынское княжество пострадало от нашествия меньше других и через десяток лет смогло восстановить ограниченный суверенитет, сделавшись данником и вынужденным союзником и вассалом Золотой Орды. Для этого Даниилу Галицкому пришлось съездить на поклон к Батюю в Сарай и получить от него ярлык на княжение в своих землях, пройдя через унижительную процедуру проскинезы. Ему была оказана честь пройти между двух костров в шатёр хана Батыги, склонить голову под «иго» — специально установленное для этого ярмо, — после чего пасть на колени, поклониться до земли, подползти к трону и поцеловать лапу, то есть ногу, а точнее — сапог своего господина. Эту дикарскую процедуру преклонения перед царями монголы переняли у покорённых ими персов. Когда Македонский, за полторы тысячи лет до них поставивший Персию на колени и, ошалевший от монументального великолепия восточных деспотий, попытался было ввести подобный церемониал при своём дворе, его земляки и свободнорождённые эллины категорически воспротивились, с чем Александру пришлось смириться. Но монголами и персами проскинеза почиталась проявлением высочайшей царской милости и особого расположения, и потому отказ от неё был возмутителен, оскорбителен и совершенно недопустим. Оттого, когда прибывший в ставку Бату-хана один из русских князей посмел отказаться от проскинезы, тот пришёл в неопишемую ярость, и князь вместе со свитой был немедленно изрублен стражей хана. Так что Данила Галицкий и Александр Невский знали, на что шли, отправляясь за ярлыками.

Хотя, по сути, ногу ли целовать, руку, перстень главного мафиозо или, господи прости, знамя или другой освящённый символ, — лишь градации одного неизменного испокон веков ритуала изъявления покорности, подчинения и преданности, отличающиеся только степенью персонификации и способностью к абстрагированию в процессе кумиротворчества. Что не отменяет безусловной ценности таких вещей, как клятва, присяга, верность слову и условиям договорённости, однако слишком часто оказывается непосильно для людей. Оттого так широко и вольно в человеческой истории трактуется феномен предательства, эта коварная ступенька на лестнице между рабством и свободой. Кого и что предали Савл, ставший Павлом, или разочаровавшийся в «десяти тысячах немецких профессоров» и в Вагнере Ницше, наши сменеховцы, или служивший в британском «министерстве правды» бывший интербригадовец Оруэлл, и предавали ли они вообще? Тогда как речь должна вестись не о ступеньке преткновения, но о личном выборе каждого и движении вверх по лестнице — восхождении, или вниз — нисхождении и падении с неё. Это критерий.

Историки любят сопоставлять-противопоставлять двух окраинных русских великих князей — галицко-киевского и новгородско-владимирского. Даниил присягнул на азиатском Востоке и короновался на европейском Западе, хотя и после этого вынужденно участвовал в военных походах ордынцев на своих соседей. Александр успешно отбивался на Западе и всеми способами предохранялся от нашествия с Востока — и выиграл время. Только вот сам прожил недолго и умер от отвращения, видимо, возвращаясь из очередной поездки в Золотую Орду, поскольку по природе своей был великим воином, не привыкшим к унижению. Хотя в итоге не устояли оба

княжества и пали с разницей в столетие с небольшим под натиском набравших силу соседей. Оба князя ездили на поклон в Орду и исправно платили дань, королевскую корону Рим предлагал обоим — да и всем, кто только ни пожелает и согласится, вплоть до литовских князей-язычников. Александр категорически отказался от короны, а Даниил принял в расчёте уравнивать свой статус с западными соседями и заручиться их поддержкой в противостоянии ордынцам, что имело далеко идущие последствия для всего края. Это стало тем, что Талейран впоследствии называл «ошибкой», которая хуже «преступления». Политик может переступить через преступление — что в политике дело обычное и даже заурядное — и двигаться дальше, тогда как ошибка непоправима, по убеждению этого самого прожжённого лиса наполеоновской эпохи, с чем легко согласились бы Макиавелли, Дизраэли и другие. И в данном случае определённый резон в этом есть.

Западный поход Батыя с Субэдэем был победоносен, но оказался недолг, как не достигший цели блицкриг. Русские и польские князья и венгерский король или предусмотрительно бежали, или были разгромлены и погибли, не сумев либо не успев объединить силы и получить поддержку соседей, в точности как то случилось на Руси. Их земли были опустошены, завоёваны и покорены, какие-то города взяты, их укрепления срыты, а избежавшее уничтожения население обложено данью. Дело однако не было доведено до конца из-за начавшихся в войсках разногласий и династических разборок в Орде, вынудивших уже через год с небольшим волну монгольского нашествия откатиться восвояси.

Что значило довести дело «до конца»? Персидский историк Рашид ад-Дин записал предание о споре полководцев Чингисхана: в чём состоит высшее наслаждение жизни? Один из них заявил, что для него — это скакать на лошади во весь опор по весенней степи с соколом на руке, то есть охота как мужское развлечение и состязание. Всех выслушав, Чингисхан осадил своих генералов, как взрослый подросток, напомнив о подлинных целях и смысле их движения вовне: «Высшее наслаждение человека состоит в победе: победить своих врагов, преследовать их, лишить их имущества, заставить любящих их рыдать, скакать на их конях, обнимать их дочерей и жён». Совсем как в песне моего киевского друга, родившегося в 1954 году на Колыме: «Клёво, клёво — вбыты гада, потоптаться в його мозгах. Тож не забудь, шо завтра — день свободного убывства...»

Трудное решение Даниила Галицкого принять королевский титул и корону от папы римского и передать их наследникам своей ветви династии Рюриковичей стало той фатально расходившейся трещиной, что в результате оторвала знать, — постепенно окатоличевшуюся, по примеру князей, и полонизированную, — от русского православного населения, лишившегося защиты и опоры в лице своей аристократии. Похожая история произошла и с чехами — *дефенстраторами* немецких бургомистров, попытавшими счастья в гуситских войнах и восстаниях, но потерпевшими поражение и превратившимися в угнетаемую мужицкую нацию.

Пастырями обезглавленного народа какое-то время оставались православные иерархи Галиции и Волыни, но и они спустя пару столетий пошли на сделку с римокатоликами, заключив Унию и сохранив от религии отцов только внешнюю её обрядовую часть. Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы ценой утраты конфессиональной определённости и самостоятельности отстоять самобытность своего народа, что было не так просто. Оценочные суждения задним числом совершенно неуместны, поскольку в бывших владениях князя Даниила Галицкого за несколько веков всё срослось, сделавшись из участи судьбой утратившего независимость народа, как и края в целом, со всеми вытекающими последствиями. На низовом уровне происходила не полонизация русинского населения — уния на какое-то время сгладила остроту противостояния, — а ползучая колонизация бывшей Червонной Руси, резко усилившаяся после восстановления оголодавшей польской

государственности, когда режим Пилсудского принялся одаривать землями своих военных ветеранов и тем самым сеять зубы дракона. Попытка украинизации галицких русинов в конце XIX века стараниями народнической интеллигенции при поддержке австрийской администрации в целом оказалась более успешной, чем стремление менее многочисленной русофильской части галичан и картпато-русов воссоединиться с братьями по вере, языку и историческим корням, трагически «зачищенной» в годы Первой мировой и позже.

Хотя даже в брежневское время встречались порой отголоски тех борений в самых глухих галицийских углах. В одном таком запомнился мне красномордый колхозный бригадир в галифе по фамилии Москва, лихо правивший подводой, словно тачанкой, широко расставив ноги и натягивая вожжи. Однако и «друкарня» бежавшего от московских переписчиков-«луддитов» во Львов первопечатника Ивана Фёдорова, и поддержанное Петром Первым Ставропигийское братство там же, и закрытый австрийцами после раздела Польши православный Манявский скит в Карпатах, и другие переподчинённые не раз монастыри и храмы, в последний раз по команде «всё вдруг» при советской власти и после неё, — это реликты прошлого, дела минувших дней, и остаётся перейти на григорианский календарь и латиницу, по примеру словаков, за чем дело не станет, чтобы круг замкнулся и над омутом тысячелетней истории края пошли круги по воде. Чему галичане отчаянно сопротивляются, пытаясь в очередной раз в истории натянуть меньшее на большее — переукраинить по-своему нэньку-Украину, из чего от силы может получиться разве что её перекроить.

Когда полтора-два десятилетия назад опоздавший к дележу исторического пирога этнос зашевелился, это не могло не привести в итоге к кровавым раздорам. Происходящее сегодня горячие головы в который уже раз называют «рождением нации», позаимствовав это красивое громкое название у немого фильма американского кино. Но ни дикарская, ни вычитанная из книжек «пассионарность» не способны компенсировать экономическую немощь и скудость человеческих ресурсов для исторических свершений подобного масштаба. Виной ли тому кислые подзолистые почвы, недостаток йода в рационе, пандемии передававшегося по наследству сифилиса, прокатывавшиеся по Карпатам и Прикарпаты даже в мирное время, распространённость олигофрении из-за близкородственных браков, плачевное состояние в сельской местности здравоохранения, гигиены и паническая боязнь сквозняков — или же багаж исторических травм, неизбежный результат без малого тысячелетней «ошибки», оторвавшей народ от питательных корней собственного прошлого и превратившей его в своеобразный этно-лингво-конфессиональный «бонсай», трудно и не нам судить, сами пускай разбираются. Не столько вина это, сколько беда многожды угнетённого и снова околпаченного народа, растрavляющего свои язвы, вместо того чтобы залечивать их.

Когда по возвращении из Карпат в конце семидесятых я как-то нехорошо пошутил — что те, у кого целы все пальцы на руках и оба глаза, давно спустились с гор и перебрались в райцентр, а если не дебилы или олигофрены, так и в областной город, — из глаз моей приятельницы-украинофилки потекли слёзы. Она и сама знала, что это правда.

Обременение памятью

Я не любил свою социалистическую родину. Она меня тоже, она вообще не любила людей. Её недреманное фасеточное око не различало их в розницу и по отдельности, только скопом. У моих родителей были все основания её любить и ценить неизмеримо больше моего, потому что они едва не потеряли её в войну, словно уцелевшие в неслыханной катастрофе дети, найденные, спасённые и возвращённые в родительскую семью — к своим, взрослым и сильным, победившим врага.

Мной же лет с двадцати до сорока социализм в том виде, который я только и знал, воспринимался как вывих, как не сросшийся перелом, как болезненный нарост на тысячелетнем теле русской истории. Забытые социальные эксперименты и канувшие государства крестоносцев на Святой Земле и ордена иезуитов в Парагвае просуществовали в несколько крат дольше советской власти в СССР. Но у меня не было ни другой родины, ни других родителей, и это была моя страна. Она одна была мне нужна, только без коммунизма и КПСС. Страны всегда долговечнее государств, и хоть они тоже не бессмертны, как всё на свете, это только придаёт особую красоту существованию каждой, единственной и неповторимой.

И почившему в бозе Советскому Союзу невозможно отказать ни в эстетическом своеобразии, ни в величии замысла, к месту и не к месту поминаемому с лёгкой руки Бродского. Величие замысла советского проекта состояло в ликвидации сословного и имущественного разделения со всеми вытекающими последствиями — то есть в освобождении человека, в конечном счёте. Так мой отец на станиславском колхозном рынке первое время шарахался как ошпаренный от непривычного ему обращения «пан»: «Какой я тебе пан?!» И это чувство равенства всех живущих и человеческого достоинства каждого из них явилось одним из самых драгоценных и не подлежащих пересмотру приобретений советского строя, не взирая на цену, которую пришлось за это заплатить. Кто ощутил вкус свободы и равноправия, об этом уже не забудет и не спутает ни с чем другим. Только холопы по собственному выбору и их новые паны могут на этот счёт заблуждаться.

Есть здесь одна ловушка — силлогизм про человека как часть общества («жить в обществе и быть свободным от общества» и т.д.), некогда блистательно опрокинутый Бердяевым, отделившим личность от индивида. Не человек является частью общества, а общество частью человека — той серьёзнейшей его частью, которая отвечает за принадлежность к социуму, но не распространяется на его внутреннюю свободу, совесть и право личного обращения к высшим силам, минуя всех посредников. Персонализмом зовётся такое направление мысли в философии и ценностная установка, над которыми немало потрудился и этот русский мыслитель родом из Киева, один из пассажиров «философского парохода», изгнанных из Советской России. Просто он не мог согласиться с догматом правоверных марксистов, что это бытие определяет сознание, а не наоборот, и высокопарно величавших такую постановку вопроса на засыпку «основным вопросом философии».

Веками ранее Паскаль назвал человека «мыслящим тростником», а его современник Лафонтен, соединив афоризм Паскаля с сюжетом Эзопа, сочинил свою лучшую басню «Дуб и тростник». Даже в виде нерифмованного подстрочника она производит сильнейшее впечатление и имеет некое отношение к тому, что происходило три столетия спустя в Восточной и Центральной Европе. Вот как передана в ней гибель Дуба: «...С края горизонта в ярости налетает самый грозный из детей севера, каких он только взрастил в своих чреслах. Дерево держится прямо; тростник гнётся. Ветер крепчает, и ему удаётся вырвать с корнем того, чья голова почти касалась неба, а ноги почти упирались в царство мёртвых». А вот речь тростника: «Ветры не так мне страшны, как вам: я сгибаюсь и потому не сломен. Вы же до сей поры выдерживали их яростный напор, не сгибаясь» (пер. М.Гаспарова).

Одной из таких тростинки был и я, чёрт возьми, когда «шумел камыш, деревья гнулись» и рушились вокруг казавшиеся незыблемыми государственные образования, к чему и я был каким-то образом сопричастен...

Утряска, усушка, утечка

Старость — это такая «епитимья» с веригами, не слишком тяжёлыми, пока она не сопряжена с телесными болями или душевным параличом. Жизнь мужчины представляется мне цельным куском с двадцати до пятидесяти лет примерно, после чего неограниченное поступление жизненных сил сокращается. Сперва улетучивается бодрость, и твоё тело по утрам больше не напоминает звенящий и подпрыгивающий надувной матрац. Мало-помалу во всех его клеточках начинает ощущаться что-то вроде «усталости металла», разнообразные немочи становятся всё более привычными. Тщетно уповать на возвращение бодрости и сердиться на изменения собственной комплекции и моторики, на стёршиеся суставы, расфокусировку внимания и зрения или тугоухость, когда включаются программы отключения от мира и самоуничтожения организма, исполнившего своё биологическое назначение. Это сопровождается обесцвечиванием волос и радужки глаз, и этим мы напоминаем тропических рыбок или дикарей, для которых цвет — боевая раскраска, а не свойство. Лица наших любимых актёров застывают и опухают, превращаясь из физиономий в маски, чтобы представление могло продолжаться.

О боже, сколько природных ресурсов идёт в топку для поддержания существования человека на белом свете! Как в стихике у Пригова — «целу курицу сгубила на меня страна». Поскромничал автор. За каждым из нас числятся сотни и тысячи погубленных куриных жизней, стада копытных и гектары посевов, роща, садик и пруд, железнодорожные цистерны горючего и вагон с прицепом всевозможных отходов, отбросов и выделений. Существует даже статистика этого добра, писание книжных рецензий для заработка очень расширяет кругозор.

Д.Леони, Р.Берте «Анатомия и физиология человека в цифрах», М.: КРОН-ПРЕСС, 1995.

Два весельчака из страны доктора Рабле написали эту разухабистую книжицу. Стоит только пренебречь фактором времени, и из каждого француза получится Гаргантюа: двадцать пять тонн слюны (по литру в день), десятки тонн провизии и питания и не меньшее количество выделений всех видов, четыре метра ногтей в течение жизни и по три напёрстка невидимых миру слёз ежедневно (иначе бы мы ослепли), не менее тринадцати литров спермы, которые каждый средний француз оставляет в конце прорытого им за жизнь в женщинах хода длиною в шесть тоннелей под Ла-Маншем. От статистических пирамид из голых человеческих особей, их частей и органов, кружится голова.

Наши жизни лепятся из ограниченной суммы биомассы и неорганики: выдали тебе тело в пользование, не забудь вернуть его в общий котёл. Полвека — как перевал, за которым для нас начинается спуск по теневой стороне горы к краю пропасти.

Господи, как же боялся я смерти на солнечном склоне горы. В четыре года, догадавшись, что умру, проорал благим матом весь световой день так, что невозможно было меня унять, — я так не договаривался! Школьником выбегал из дому на ночную улицу отдышаться под кронами деревьев. Студентом на сельхозработках представлял её в виде неутомимого бульдозера, движущегося со скоростью пешехода и запрограммированного настичь меня во сне, когда у смертельно усталого беглеца не останется сил, воли и надежды оторваться когда-нибудь от погони. Молодожёном прижимался всем телом к спине спящей рядом жены, чтобы унять бившую меня паническую дрожь. Бывало, валялся в городских парках в будни на траве или скамейках, не желая подниматься, никуда идти, ничего делать: «Мужчина, вам плохо?» — «Нет, всё хорошо. Спасибо». Или в одиночку отправлялся в горы, чтобы зарыться в сено под крышей сеновала, как мертвец, а ночью улечься на склоне под куполом звёздного неба до утренней росы, пробирающей до костей и дающей ощутить, что покуда жив, курилка. Когда твой ужас так долог и глубок, ты не можешь

не свыкнуться с ним и примириться — и тогда вдруг оказывается, что он и был твоим топливом, как у того долбаного бульдозера. Полжизни меня по-детски волновал грохот проносившихся где-то вдали ночных поездов, сегодня я его почти не различаю в шуме мегаполиса. То ли потому, что приехал, то ли потому, что и сам теперь такой поезд. Потому что, как выразился один косоглазый философ: «Твоя жизнь — это и есть ты».

Песни лузеров

Не в розницу, а оптом меняется труппа и начинается новое представление, продюсером которого является так называемый дух времени, ощущаемый всеми и неуловимый, как Протей. Поэтому смена эпох всегда начинается с расчистки площадки, под аккомпанемент стенаний и плача. Отыгравшие свои роли не желают покидать сцену безропотно — они ещё недополучили своё, и им есть что сказать на прощание. Совсем не исключено, что я и сам такой. Время покажет.

Смущает вот что. Победившая в каком-то конкурсе пэтэушница приезжает со съёмочной группой в свой, к примеру, Череповец, в тесной хрущёвке хватает давно оставленную куклу и со слезой в голосе начинает изображать грусть по милому «родовому гнезду», по ходу смутно припоминая похожую сцену из кинофильма «Гусарская баллада». Такое поколенческое караоке — все эти «Как молоды мы были, как искренно любили, как верили в судьбу!».

И вот досада, когда в оставленном мной полжизни назад Львове начинает происходить нечто подобное. Состарившееся поколение желает уйти со славой, отчего понимание, сочувствие и сострадание в моей груди борются с подкатывающей к горлу тошнотой. Столица советских хиппи, Святой сад с супергруппой «Вуйки», кофейня на Армянской — рассадник свободомыслия, сопротивления, поэзии и наркоты... Что там ещё? Да целый пантеон славы регионального значения. Замечательно, и пусть будет, но только без несносного местечкового пафоса в старинном большом городе, что в очередной раз из неоднозначного и многоцветного сумел сделаться настолько однотонным на протяжении жизни всего одного поколения. И мне хотелось бы не позволить ему кануть — ни бесславно, ни со славой, которая бывает хуже бесчестия, ни бесследно. Поскольку всякий город, как и человек, обязан чем-то оправдать своё существование перед Богом.

А иначе будет только так, как в заказанном мне когда-то снобистским глянцем и неопубликованном тексте из 72 слов зачем-то, после которого его «креативные» редакторы прекратили ко мне обращаться.

Считалка

Родился мальчик — два слова. Чёрт, начинаешь считать — их становится больше! Пошёл в школу, подружился, подрался, влюбился, сдал все экзамены: восемнадцать. Отучился в институте, женился, стал зарабатывать. Ребёнок подрос, появилась своя квартира, развёлся: около тридцати. Пожил один, сменил работу, женился повторно, куда-то переехал: сорок. Стал терять друзей и близких. Что-то повидал, построил дачу. Надел очки. Отучился на пенсии. Смесь чувства вины и выполненного долга. Прожил зачем-то столько лет, сколько здесь слов: 72.

Мозг как регулятор популяции

Маркс резонно утверждал, что идеи, овладевая массами, становятся материальной силой. То, что эта сила может быть разрушительной, нимало не смущало этого мыслителя и апологета революции, называвшего насилие «повивальной бабкой Истории». Однако, если попытаться жить по уму, если он у тебя есть, конечно, рано или поздно придётся заподозрить, что тебя дурачат. Кто и зачем? Хороший вопрос. Разум знает свои ограничения, а рассудок нет, и с упорством, достойным лучшего применения, уже много столетий выбивает из-под себя, с предсказуемым результатом, всякую опору, сочтя её преградой для своих безграничных познавательных возможностей, подобно упрямому идиоту. Принято называть такого рода активность рационализмом, а подобную её оценку обскурантизмом или мракобесием. Но брань на восток не виснет, и я предлагаю *порассуждать*.

Отчего так часто пресловутые идеи, овладевая массами, приводят к депопуляции? Это не хорошо или плохо, а просто так — хоть и очень жестоко по отношению к нам. Освободительный пафос и смысл эпох великих географических и научных открытий, Возрождения, Реформации, Великой французской революции и русских революций грандиозны и пересмотру не подлежат. Но почему такую цену жизнями и головами за них платят народы? Почему времена органического развития, традиционного и якобы «безыдейного» существования, со всеми их несомненными изъятиями и очевидной несправедливостью, но с верой в правоту и правду предков, ведут к устойчивому росту народонаселения и его относительному процветанию, а как только идеи овладевают массами, — ровно наоборот? В итоге сеется освежающий ветер, а пожинается слишком уж часто губительный шквал. И проблема состоит не в том, что устарел библейский завет «плодиться и размножаться», когда счёт пошёл на миллиарды, а в том, что уничтожать себе подобных неприемлемо для людей, если мы люди. С тем, чтобы побеждённых не есть и отказаться от ритуальных жертвоприношений, уже согласились. Кое-где не так уж давно. Впрочем, не везде и не все.

Расскажу историю. Как-то в общем разговоре в связи с нравами доколумбовой Америки я довольно резко заявил, что каннибализму и человеческим жертвоприношениям не должно быть места на свете. Дело было в начале нового тысячелетия в ознакомительной поездке по Скандинавии. Одна пишущая для российских глянцевого издания журналистка сходу возразила мне: «Но это же фашизм!» В ответ я доброжелательно улыбнулся: «В таком случае, могу только пожелать вам и вашему сынишке, для которого вы покупаете местные магнитики на холодильник, познакомиться с каннибалами поближе». — «Но я просто не стала бы ездить туда, где они!» — «Вам и не надо будет куда ездить для этого — они сами к вам придут, поднимутся на этаж, позвонят в дверь вашей московской квартиры». А гипотетическим каннибалам я бы рекомендовал начинать знакомство с этой походившей телосложением на курочку журналисткой с содержимого её головы, о чём чуть ниже. Возможно, я поспешил с прогнозом, но, как показывает время, не так уж сильно ошибся.

В дикой природе существует множество способов понизить давление на неё обгоревших биологических видов и привести их к равновесию. Не наш ли мозг принял на себя аналогичную функцию регулятора популяции, когда человеческие страсти, тысячелетиями порождавшие захватнические войны, перестали справляться с задачей депопуляции? Под знамёна самых радикальных массовых движений всегда собирались приверженцы обоснования моральными принципами рассудочных теорий превосходства, избранности и особой миссии, проектов очередных утопий или учреждения культа всеобщей справедливости, самого кровавого из всех. Австро-венгрия, албания, великобритания, германия, китаи, корея, куба, монголия,

россия, сша, турция, франция, украина, югославия, япония — букв алфавита не хватит для стран и народов, пострадавших от них. Спектр — от расизма и нацизма до прав человека и меньшинств. Всё бесполезно, но знайте — это сделал и продолжает делать с вами ваш мозг. Не имеет значения, идёт ли речь о крестовых походах, крестьянских восстаниях, национально-освободительных движениях или борьбе за права, главное для него — раскатать ситуацию, приведя общество в состояние турбулентности, остальное доделают сами люди. На растопку годятся первые ласточки назревших перемен и последние хранители устоев, а там, если ветер налетит, всё заполыхает, пока подчистую не выгорит место для свежей поросли, поднимающейся из прогретой, удобренной золой и политой кровью земли, что делает социальные потрясения так подозрительно похожими на лесные пожары. Моэм в автобиографии «Подводя итоги» приводит любопытный вердикт одного старика, немало повидавшего на своём веку в какой-то из бывших колоний, что сердце у всех людей, в общем-то, правильное, но вот голова — просто караул. А вот как Пушкин, обладавший редчайшим даром сочетать живой и глубокий ум с правдой сердца и милосердием, заступился в жестокой полемике за узурпатора Наполеона, который в погоне за величием и в цивилизаторском запале погубил миллионы жизней, доведя французов до ручки, а себя до заточения на скале в океане:

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...

После окончания наполеоновских войн (а фактически, одной из генеральных репетиций мировой войны) поголовье человеческих стад быстро восстановилось и резко возросло, а ярмо с гремушками и бич, по другому выражению Пушкина, остались прежними и даже усугубились.

Свойственная всемуживому внутривидовая агрессия, описанная Конрадом Лоренцем и другими этологами, архаичные межплеменные войны, клановые междоусобицы — всё это детский сад по сравнению с позднейшими инструментами цивилизации, служащими разжиганию и искусственному стимулированию вражды. Ключевым словом для понимания эпидемий умственного помешательства у людей было и остаётся *раздор* — понятие, с древнейших времён известное широкой публике из священных книг, античных и шекспировских трагедий, хроник и летописей, произведений таких мыслителей как Монтень, Паскаль и Макиавелли, не к ночи будь помянут, но никем и никогда не принимаемое на свой счёт — у «правого» всегда «неправый» виноват. Иначе говоря, это порождённая гневом смута в обществе и вражда этнического, сословного, конфессионального, богоборческого или любого другого идейного окраса в персональном и хоровом исполнении, приводящая к гибели хора, по справедливому замечанию Бродского (являющемуся, впрочем, поэтическим преувеличением). Нам нет равных в умении чередовать разбрасывание камней с их собиранием и сажать картошку утром, а вечером выкапывать и жаловаться, что плохо растёт, как в известном анекдоте. И, похоже, это программа. Чья и почему так — бог весть. «Твой удел — страдание», — ставили человека на место бессмертные олимпийские боги, наказывая за непослушание. В книге «Бытия» указана похожая причина — дело в голове, самоуправстве и незрелости человеческого рода. И поэтому за грандиозной карой всего живого и наведением потопа последовало частичное помилование, ибо «помышление сердца человеческого — зло от юности его». Коррекция программы.

Антитезис

Хотя нельзя исключить, что пропаганда миролюбия и умозаключение о роли мозга в поощрении раздоров и распрей продиктованы банальным жизнеотрицанием выбывшего из социальных игр усталого старика. Благодаря конфликтам и преемственности поколений, напоминающих этим устройство коленвала, осуществляется движение махины Истории; благодаря соперничеству и борьбе за существование и место под солнцем развивается живая природа, но одновременно отмирает и гибнет; незримыми силами действия и противодействия уравниваются в пространстве и времени доступные наблюдению и познанию части Вселенной; процессы хаотизации и гармонизации присущи всему сущему, по произведения искусства включительно. Это непререкаемый закон, программа, принцип, если угодно. Как там было у Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы...»; или у Ницше: «Рождение трагедии из духа музыки». Расположиться в катастрофическом мироздании с комфортом и убаюкать себя и других не получится ни у какого Баюна, придёт Буян — порвёт Баян.

Не для всех

Но, может, дело ещё хуже. И весь материальный мир — только сновидение покоящегося в невесомости, подобно Вишну, Творца, при погашенном в спальне свете, а всё мерцающее атомное, нейтринное, фотонное и фантомное устройство нашей Вселенной выполнено в манере пуантилизма, абстракционизма и реализма, и поскольку сон, видимо, тяжёлый, со вспышками за горизонтом событий «сверхновых», сполохи которых доходят до нас через миллиарды световых лет, «чёрными дырами» и шевелением «тёмной материи» под спудом. Говорят, межзвёздное пространство очень пыльное, изрядно замусорено и изобилует целым букетом неприятных запахов даже при абсолютном нуле в полной пустоте — чаще всего горелого металла, а кое-где аммиака или даже спирта. Не прибрался Господь после учинённого Большого Взрыва, должно быть. Зато созвездиям придал такой вид, что любо-дорого посмотреть — ювелирная работа. Повсеместно силу тяготения привёл в порядок и центробежные силы с центростремительными уравнировал, запустил галактики вращаться. Нашу Солнечную систему сформировал, согласно субординации небесных тел, упорядочил и настроил, всё рассчитал, вплоть до парада планет, целую неделю на обустройство Земли потратил, после чего завёл будильник и прилёг вздремнуть, укрывшись колючим звёздным покрывалом. Термоядерные процессы идут в его нейронах, генерируя сновидения о том, что было и что будет. В одном из таких реализуется сценарий колонизации дальнего космоса нашим изменившимся до полной неузнаваемости потомством, а в других — видения одно другого мрачнее и с плохим концом.

Не нравится такая помесь карикатур Жана Эффеля со сказками Станислава Лема? Не беда. Что бедной трёхмерной букашке, получившей в своё распоряжение миг времени, остаётся думать о самой себе и всём ЭТОМ? При том что совершенно несоизмеримый и непостижимым образом доставшийся нам мозг, в коре которого нейронов что звёзд на небе, самый наглядный и данный нам в ощущениях эквивалент космоса. Ничем не лучше наивные представления верующих об участии отлетевших душ после смерти, а тем более после воскресения во плоти, как и праздные вопросы наподобие тех, что задавались саддукеями и маловерами: чьей будет жена семерых братьев поочерёдно по ту сторону земного бытия? Даже замечательному во многих

отношениях философу и богослову Белибердяеву в конце жизни мечталось и любимых своих четвероногих питомцев вновь повстречать в Царстве Небесном и загробной жизни. Тогда как Чехов, будучи врачом, в неё не верил и признавался в письмах, что его не вдохновляет посмертное ангельское существование души без личности, без памяти — «без всего» вообще, по определению Шекспира. Борхесу, напротив, даже помыслить было противно оказаться снова Хорхе Луисом Борхесом в жизни вечной. Как и многим другим, пожелавшим развеять свой прах и уйти навсегда, не оставив по себе, помимо изжитых жизней, никакого следа, исчезнуть, почить. Мечта всякого индуся и буддиста.

Кое-кто из гуманитариев считает, что всеобъемлющего информационного эквивалента индивидуального бессмертия человеку должно быть вполне достаточно, а кому недостаточно, пусть уповает на гипотезу о ноосфере Вернадского. Соприкоснувшиеся с великими тайнами загадочного устройства мироздания и происхождения жизни учёные далеко не так категоричны. Но и перед ними, как и перед самыми великими поэтами, стена вечного молчания или очередная дверь с хитрым замком — и точка. Кто не хотел бы, чтобы и над ним тоже «вечно зеленая, тёмный дуб склонялся и шумел» (и бог даже с ним, со сладким голосом поющей о любви девы)? Всё минет, и единственная для человека нирвана возможна только в памяти его Создателя, в которой ничто не может потеряться, где у каждого даже «волосы на голове все сочтены». Иначе вся Вселенная — безмозглое животное, материя в конвульсиях бесконечного движения, являющегося формой её существования. Чего не может быть в силу явных признаков упорядоченности в ней и некоего замысла, непостижимого для нашего мозга, но приданного ему как данность — приданое, калым или неожиданное наследство в виде таких «довесков» к бытию как сознание и способность эволюционировать. Всё разрешит Страшный Суд, на который смертным не стоит терять надежды. А уж с какой целью Творец запустил катиться колесо пространства-времени, подхватывающее, возносящее, а затем сбрасывающее в свою колею и крушащее ободом всё созданное или приснившееся, можно только гадать. Затратный творческий эксперимент? Игра в кости с самим собой? Тогда зачем человек? Не нашего ума дело, но вспоминается ломоносовское — дураком и шутком не согласен быть «ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет». И нечто ровно противоположное из забытой советской научно-фантастической киноленты, где неотличимый от человека киборг подбирает выброшенную кем-то тряпичную куклу и носит с ней как с писаной торбой: «Она такая же, как я, только маленькая и очень примитивно устроенная!..»

По вере, моё место в самых нижних ярусах ада, где нет атеистов, где сами черти веруют и трепещут, и где, по крайней мере, не останется сомнений, что Бог есть и всё было не напрасно. Когда сделаешь почти всё, что мог, умирать станет не страшно. И, кажется, это главная в литературе и единственная тема, изобличающая величие замысла: отчего, несмотря на всё, умирать неохота? Особенно, в солнечный день, когда со двора через открытое окно доносятся безмятежные детские голоса и крики на площадке...

Наталья Салтанова

Два рассказа

Клён

Машины подъезжали волнами. Город, пульсируя светофорами, порционно поставлял покупателей. В паузах становилось сонно и тихо.

В тени остановки торговали тем, что выросло в садах. Возле двух пластиковых вёдер с яблоками сидел на корточках худой мужчина в рваных трениках и футболке. Лицо скрывал козырёк потрёпанной бейсболки, а седые волосы, собранные в хвост, лежали на спине серой паклей. Здесь его звали Клён. Подъехала тонированная большая машина, из неё мячиком выскочил крепкий парень в спортивном костюме, схватил Клёна двумя руками за шкирку и как мешок с картошкой закинул на заднее сиденье, прыгнул следом, и джип уехал.

Подросток, сосед Клёна по рынку, написал прутот в дорожной пыли номер машины. Бабка мальчика шаркнула ногой, стирая цифры, и придвинула к себе вёдра Клёна. Пришла новая волна покупателей — рынок разом загалдел.

Внутри джипа Клён низко наклонил голову и обхватил её руками, кто-то тронул его за плечо. С переднего сиденья ему улыбался крепенький сорокалетний мужичок в яркой рубашке.

— Я — Санёк.

Машина въехала во двор особняка. Санёк повёл Клёна к дому, горделиво показывая, где у него стоит беседка, где — баня и бассейн.

На веранде стоял празднично сервированный стол. Жена хозяина — Люба, пухленькая блондинка — подняла высоко брови и сдёрнула со стула белую подушку. Застёжка-липучка, на которой подушка крепилась, противно затрещала.

Салтанова Наталья Матвеевна родилась в деревне Красноярка Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета, курсы сценаристов ВГИК. Участник мастерских АСПИР. Автор книг для детей «Старик и Шарль», «Новогодняя история». Рассказы печатались в журнале «Урал» и коллективных сборниках. Пьесы для детей и взрослых ставятся в профессиональных и любительских театрах России. Преподаёт в Уральском федеральном государственном университете. Живёт в Екатеринбурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 11.

Клён снял бейсболку, высокий лоб с залысинами у него оказался белым, незагорелым, а ниже бровей лицо было тёмное от солнца, в глубоких морщинах.

— Ну, Клён, у тебя и ватерлиния! — засмеялся Санёк.

После обеда Клёна отправили в ванную. Он вымылся быстро, а потом рассматривал свою новую одежду. Долго мял в руках белоснежные трикотажные трусы, на резинке которых было вышито итальянское имя. Клёна побрили, постригли, волосы уложили феном, теперь на его голове красовалась седая ухоженная грива. И «ватерлиния» не так бросалась в глаза.

— Порода! — Санёк показал большой палец.

Он привёл Клёна в комнату и стал демонстрировать качество кровати, надавливая ладонями на матрас, словно делал искусственное дыхание.

Но Клён смотрел на стены, они были увешаны фотографиями в добротных деревянных рамках. Можно было проследить, как рос Санёк, как служил на флоте. Было много фотографий неулыбчивой женщины — матери Санька. Только на одном фото она улыбалась — юная и в брюках-клёш.

Клён рассматривал этот снимок внимательно. Подошёл Санёк:

— Завтра к ней на могилку съездим.

В комнату заглянул мальчик лет десяти.

— Сашка, именинник мой. — Санёк обнял его и, кивнув в сторону Клёна, сказал: — А это дед Саня!

Клён пожал ладошку Сашки.

— Ну, пошлите уже, — скомандовал Санёк. — Гости заждались. А тебя, Сашка, — твои подарки.

Во дворе Санёк зазвонил в рынду, собирая всех, затем жестом фокусника сдёрнул покрывало с непонятного сооружения, стоящего в беседке. Небольшая барабанная установка, электрогитара, электрическое пиано и микрофон сверкали праздником.

Санёк подошёл к микрофону:

— Дамы и господа, сейчас прозвучит любимая песня моей мамы.

Он негромко запел: «Там, где клён шумит...» Сашка сел к барабанной установке. Люба была у пианино. Все посмотрели на Клёна. Он вышел, снял электрогитару с подставки, покрутил колки и улыбнулся грифу.

Со строчки «говорили мы о любви с тобой» песня зазвучала.

Потом Клён играл Yesterday, Цоя, «Машину времени». Гости хором подпевали и топтались на «медляках», Люба танцевала по очереди то с сыном, то с мужем.

Гости стали разъезжаться, каждый попрощался с Клёном, а он в ответ только кивал седой головой. Ночью Клён дождался тишины; не включая свет, натянул футболку и старые штаны, сквозь мелкие дырки итальянские трусы мигали белизной.

В темноте фотографии на стенах казались узором обоев, когда он вышел из комнаты.

Клён бежал вдоль забора, как вдруг появился Санёк и побежал рядом.

— А я про тебя случайно узнал, — заговорил он, словно продолжая прерванный разговор. — Мама умерла, нашёл её дневник. Девичий,

как дембельский. Песни, аккорды, фотки твои наклеены. Фанатка была. Цветными карандашами писала, что в честь тебя сына назовёт.

Клён остановился, тяжело дыша, хватаясь за живот.

— Я проверил, ну не мог я быть твоим сыном, у тебя ходка за валюту как раз была, — говорил Санёк.

Клён резко наклонился, его вырвало. Санёк стоял рядом:

— А я-то уже привык думать, что ты мой отец.

Клён сделал несколько шагов вперёд, опять застонал и упал, тень забора его тут же проглотила.

Санёк поднял Клёна и понёс, держа перед собой, как ребёнка:

— Потом решил, раз мать моя так тебя любила, то какая разница.

Санёк шёл быстро, дыхание его сбилось:

— Зато у Сашки моего теперь есть дед. Есть что вспомнить. Естудей вместе пели.

Клён молчал. Санёк остановился, поправил свою ношу:

— Не привык ты к такой еде, вот и скрутило.

Во дворе Санёк устало сел на скамейку, поднял голову Клёна. Свет фонаря упал на лицо, оно было бледным, «ватерлиния» исчезла.

— Люба!— заорал Санёк. — «Скорую»! Бате плохо!

Етишкин богомыш

Лето. Море. Пансионат. Мне — одиннадцать, сестре Лене — шесть. В этот раз мы отдыхали с папой, у мамы — дела на работе.

Папа недавно стал вегетарианцем. На эту новость наша бабушка только и сказала: «Етишкин богомыш». Теперь папа ел салаты в столовой, а на берегу моря — чурчелу. По утрам он встречал солнце и делал асаны. И нас будил, чтобы мы с ним шли на пляж «заряжаться энергией Вселенной». В ответ я говорила заклинание, которое работало: «Свобода выбора!» А Лена, захватив плед, шла и досматривала сны на лежаке.

Ещё у нас появилась новая фамилия, благодаря нашей соседке по этажу. Кругленькая, важно вышагивающая, похожая на голубя, она водила на поводке кривоногую лупоглазую собачку. «Чи вы?» — наклонив по-птичьи голову набок, спросила она. Мы с сестрой хором ответили: «Папины». Вскоре за нашими спинами мы услышали: «Эти девочки — Нина и Лена Папины».

Ещё был «ничейный мальчик» — загорелый подросток. В него любопытная соседка тоже ткнула пальцем-коготком, он набегу прокричал ей: «Ничей». Действительно, никто не знал его родителей, в каком номере он жил.

Ленка влюбилась в «ничейного». Он подмигнул ей однажды. И всё! Получил фанатку. Она бегала за ним повсюду. Вечером, обняв меня за шею, тараторила: какой он загадочный, не иначе как «сын принца неизведанной страны».

В одно моё ухо папа говорил, как здорово есть здоровую пищу, в другое — сестра трещала о том, как «сын принца» здорово играет в настольный теннис и плавает. Порой мне хотелось попрыгать сначала на одной ноге, потом на другой, чтобы вытряхнуть, как воду из ушей, их бесконечные «здорово».

Но тут в пансионат заселился полным составом симфонический оркестр. С инструментами. Скрипки, альты, виолончели. Контрабасы, флейты, гобои, кларнеты. Фаготы, валторны, трубы, тромбоны и тубы. Кроме того — кастаньеты, трещотки, маракасы, тамтам и барабаны — большой и малый. Также — литавры, тарелки, треугольник, ксилофон, виброфон, колокольчик. Фортепиано и арфа. Все звучали разом с раннего утра до позднего вечера. Для меня наступил етишкин богомыш.

Оставаться в одиночестве и тишине, хотя бы ненадолго и изредка, мне физически необходимо, иначе внутри меня — что-то важное и сияющее — начинает угасать. Вот бабушка меня понимала. Когда я гостила у неё, то часто уходила в дальний угол сада, а она говорила вслед: «Сходи-сходи сама с собою».

Теперь по утрам я шла не к морю вниз по лестнице «встречать солнце» с папой и Леной, а брела в парк, вверх по горе. Там, забравшись на сосну, благоухающую смолой, постелив на толстую ветку туристический коврик, я сидела сама с собою. Слушала просыпающихся птиц и наблюдала, как меняется от восходящего солнца всё вокруг. Ещё на сосне я мечтала: вот бы папа увёл всех музыкантов оркестра на берег моря. И они в чёрных фраках и вечерних платьях делали бы асаны. Молча.

Кто-то близко крикнул «Тимур!», и я посмотрела вниз. Тайна «сына принца неизведанной страны» была раскрыта. «Ничейный мальчик» мёл дорожку, и его окликнул отец, дядя Серёжа, завхоз пансионата. Они меня тоже увидели и приветливо помахали. Я раскрыла книгу «Золотой телёнок» и спряталась за обложкой.

— Хорошая книга!

Тимур легко, будто сам ничего не весил, подтянулся на ветке, сел рядом. Мальчик, который читал Ильфа и Петрова? Я выглянула из-за книги.

— Здорово они там всех победили. Правда? — продолжил «сын принца неизведанной страны».

— Не знаю, я ещё не дочитала.

— Пойдёшь сегодня на концерт? — улыбнулся как ни в чём не бывало Тимур.

— Да, с Леной.

— Она такая смешная.

— Она — не смешная, — сухо ответила я.

Никто и никогда не смеет называть мою сестру смешной, кроме меня.

— Тогда смешная — ты!

Он спрыгнул с дерева и дёрнул коврик, на котором я сидела. Книга — в одну сторону, а я полетела в другую.

Тимур как-то сумел меня поймать в воздухе, и теперь я, перегнувшись, висела у него на плече. Живот ныл, словно в него попал волейбольный мяч, попка торчала вверх, голова болталась на уровне поясницы «сына принца».

Тут впервые в жизни у меня рассоединились тело, мозг и душа. Душе было спокойно и весело, как в детской игре «чик-чик — я в домике». Тело моё знало, что подростку, на плече которого оно висело длинным полотенцем, я давно нравлюсь. Ещё телу было приятно, особенно моей груди, чувствовать через ткань футболок спину Тимура. А мой мозг в эти же самые мгновения успел рассмотреть иголки сосны и решил, что они — маленькие шпаги.

Когда я стала очень медленно, или мне так показалось, сползать вдоль Тимура на землю, то увидела совсем близко его ухо. Крепкое, загорелое и красивое. Смотреть — не насмотреться. Говорила в таких случаях бабушка.

Как только мои ноги встали на землю, всё во мне разом соединилось: мозг-тело-душа. Я оттолкнула Тимура, отскочила сама и завопила:

— Ты — псих ненормальный?

Тимур стоял столбом, уши у него были тёмно-малиновые.

Я побежала к морю, к сестре и папе. Но увидев сверху, как плотно и быстро, словно в тетрисе, пляж заполняется людьми, повернула к пансионату, уже звучащему на все лады инструментами симфонического оркестра.

Возле наших дверей лежали книга и коврик. Фыркнув на них, словно они в чём-то виноваты, я втащила их в комнату и рухнула на кровать. Я лежала и думала, что же мне делать со своим телом, которому так хорошо рядом с Тимуром.

Ленка ещё дня два жужжала мне о «ничейном мальчике», и что на концерте он сел совсем-совсем рядом с ней. Потом она перевлюбилась в дирижёра.

Завхоз дядя Серёжа стал гулять под ручку с пухленькой соседкой и водить на поводке её мопса. А соседка перестала спрашивать «чей?» каждого ребёнка.

Папа всё-таки увёл симфонический оркестр на пирс, и они сыграли восходящему солнцу «Оду к радости» Бетховена.

Вышла статья в местной газете, где было одно предложение и о нашем папе. «Энтузиаст Папин сумел убедить всех, что самое прекрасное на свете — это звучащая во время восхода солнца классическая музыка». Папа смеялся, обмахивался газетой и говорил, что теперь для собственной славы ему надо сменить фамилию.

Наконец приехала мама. Мы вечером пошли в ресторан, папа вместе с нами ел шашлык. Из кабачка и сладкого перца. В ресторане все вокруг смотрели только на мою, в красном платье, белокурую маму. Музыканты по очереди играли романсы в её честь, особенно старался дирижёр, мама мелодично смеялась, а папа улыбался всё шире и шире.

Несмотря на южную ночь, между балясинами веранды я разглядела лицо Тимура. Когда Лена начала есть мороженое, я незаметно спустилась вниз и в темноте сразу уткнулась носом в его плечо.

— Что уставился?

— Ты когда уезжаешь? — моего вопроса он не заметил.

— Через неделю.

— А я завтра! — Он словно хвастался. — Обратно, к маме.

«Етишкин богомышь!» — чуть не закричала я.

Тимур взял мою руку, положил туда что-то завёрнутое в бумагу и сжал мои пальцы. Потом мягко притянул к себе и обнял. Слова его звучали уверенно и громко, словно он шептал не в моё ухо, а сразу говорил в мой мозг, для долгой памяти.

— Вырасту — найду тебя.

Недавно мы с сестрой вспоминали то лето. Музыкантов, которые репетировали в каждом закоулке пансионата. Папу на восходе солнца у моря и нашу незагорелую, белую, как сметана, маму. Лена даже соседку с мопсом вспомнила. А вот «ничейного мальчика» — нет.

Зато я, когда видела сосну пинии, всегда вспоминала Тимура. Шишку сосны, завернув в листок школьной тетради, он вложил мне тогда в руку.

За эти годы наше государство изменило свои очертания, возникали и затихали известные и неизвестные войны, появились социальные сети.

«Сын принца неизведанной страны» искал меня всюду. Я в этом уверена.

Он искал меня под фамилией — Папина.

Маленьким карандашом

Багдат Тумалаев

В тени бога

Миниатюры

Отвёртка надо?

Махачкалинский рынок на проспекте Ирчи Казака — это бесконечные ряды ржавых сырых контейнеров. В них с утра до вечера сидят бедолаги и продают всякий хлам.

— Отвёртка надо?!

Рынку этому около тридцати лет. Иногда я гуляю по нему, и это меня успокаивает.

— Эй, брат, купи!

В потоке людей не чувствуешь одиночества. Иногда встречаются странные люди.

— Отвёртка надо?

Это кричит один из бродячих торговцев. Он явно сумасшедший. С утра до вечера ходит по Ирчи и орёт: «Отвёртка надо?» Никто не обращает на него внимания. А он знай размахивает своими отвёртками. Продал ли он в жизни хоть одну? Но без его звонкого крика, кажется, и рынка этого быть не может. А может, он — шпион иностранных спецслужб или какой-то инопланетной цивилизации? Или же закладчик, маскирующийся таким экстравагантным способом? Руки чешутся позвонить и сообщить про этого типа, чтоб его проверили. Да у него всё схвачено, наверное, есть договорённость с участковым. Зачем годами бродить по рынку? С гораздо большим успехом он мог бы идти по прямой — уже обогнул бы земной шар.

А вдруг этот человек просто понял смысл жизни? Дзен постиг. Открыл счастье в себе. Бродит по рынку целый день и кайфует от этого. Свежий воздух, некое подобие работы. Это ли не счастье? Может, мне тоже стать таким? Бродить по рынку и продавать что-то случайное, например, зажигалки или пинцеты?

— Пинцет надо? Надо пинцет?

Тумалаев Багдат Низамутдинович — прозаик. Родился в Махачкале в 1982 году. Учился в Дагестанском государственном университете. Участник Пятигорской и Дербентской резиденций АСПИР. Печатался в журналах «Дагестан», «Дарьял» и различных сборниках молодой прозы Северного Кавказа. Работает научным сотрудником в Национальном музее Республики Дагестан. Живёт в Махачкале.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Человек пропал

Он жил неподалёку от меня. Мужчина лет сорока пяти.

Несколько лет я водил к нему путешественников. Он их размещал на ночлег у себя. Добродушный открытый человек. У него было приятно. Но странно, что он всегда был дома.

Я не задавал ему никаких вопросов, он ничего не рассказывал.

Пару раз заходил ко мне в гости.

Говорили, пили чай. Меня поражало, как сильно мы с ним похожи во вкусах и пристрастиях.

А потом он исчез. Телефон не отвечал.

Я написал ему сообщение. Без ответа. Пошёл к нему домой. Звонил и стучал, но никто не открыл. На стук вышел сосед и сказал: «Он исчез».

— Как исчез?

— Просто исчез. Насовсем.

Мне стало очень странно — показалось, что я тоже исчез.

— Как жаль, — сказал я, растерянно разводя в пустоте руками.

Беременные

Это было давно, я был юн и несчастен. В юности всегда все несчастны.

В жаркий июльский полдень стоял на Калинина, у канала, и не знал, что мне делать.

Вдруг появилась беременная женщина. Прошла мимо. Потом вторая. Потом ещё одна, и ещё. Десятки беременных женщин.

Бесконечный поток. У меня даже закружилась голова. Присел на бордюр.

Или это июльская жара так на меня подействовала, не знаю.

Подумал, что это — знак. Битый час здесь — и одни беременные. А может, это чудо — намёк Бога, чтобы я, наконец, понял что-то? Я стал как будто просыпаться.

С трудом нашёл в себе силы подняться и зайти в маленький парк, что неподалёку. Появилась какая-то женщина вдали. Я с волнением ждал её приближения — не беременная ли? Наконец-то — не беременная! И я словно бы вышел из-под тени Бога.

И мужик прошёл мимо — первый мужчина за целую вечность.

Казалось, что-то незримое решилось — и меня отпустило, — стало вдруг легко и ясно.

Потом я забыл про этот случай. А недавно ехал на маршрутке и узнал это самое место. «Остановка “Женская консультация”», — крикнул водила и подмигнул мне.

Алёна Тимофеева

Театральные перекрёстки Алматы

Когда-то мы были городом-садом. Байки про то, что одно яблоко алматинского апорта было величиной с два мужских кулака, передаются из поколения в поколение, хотя уже далеко не каждый алматинец знает этот терпкий запах теплой розовой кожуры. Сейчас на карте Алматы больших зеленых пятен всего несколько. Парк имени Первого Президента, Ботанический сад, скверики возле Старой и Новой площадей, но самый любимый, конечно, — парк Горького. В детстве арка на его входе была краем географии, за ней реальный город как будто заканчивался и начинался праздник. Бог весть сколько детей обманывались так же за последние 170 лет — ведь парк всего на несколько лет младше самого города.

Улица Гоголя начинается от входа в парк и кажется бесконечной. Стоит пройти по ней минут десять — и снова окажешься в зелени. Парк 28-и гвардейцев-панфиловцев напоминает то самое сказочное перепутье. Налево пойдешь — окажешься в кафедральном соборе, построенном еще при царе и позже так смачно описанном Домбровским. Направо пойдешь — упрешься в грандиозный монумент тем самым гвардейцам. Прямо пойдешь — голову потеряешь: «Театр культурного шока» — красуется большая желтая вывеска перед входом в здание. Это раньше «АРТиШОК» был подвальным авангардным театром, первым из независимых и независимым из первых. Сейчас же это огромное двухэтажное здание с просторным фойе. Когда меня как театрального обозревателя спрашивают, куда обязательно сходить в городе, чтобы лучше с ним познакомиться, всех посылаю туда.

И здесь вовсе ни при чем мои личные симпатии или долгий почти закулисный роман. Это самое алматинское место: театр со своей кофейней посреди парка. Алматинцы — жуткие любители кофе и прогулок. Театра, к счастью, тоже. В «АРТиШОКе» никогда не знаешь, кого встретишь: коллегу с сыном, институтского профессора по политэкономии или бабушкину соседку с третьего этажа. Вероятно, что всех сразу. Причиной тому и репертуар, и наличие двух сцен. И если большую в самом сердце сквера не заметить сложно, то в поисках малой придется побродить.

Алёна Тимофеева — прозаик, публицист, театральный обозреватель, публикуется в различных казахстанских СМИ. Родилась и живёт в Алматы. Участница Международной писательской программы при Университете Айовы и семинара литературных переводчиков в рамках Almaty Writing Residency. Участница Форума молодых писателей России, Казахстана и Кыргызстана (2021). Главный редактор блога о казахстанской литературе The Alma Review. Печаталась в журналах «Дактиль», «Формаслов» и других.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Алматинский Арбат уже давно облюбовали подростки. Здесь бурно цветет культура косплея, так что нечего удивляться, если во время променада тебя собьет эльф или панда на самокате. Не протолкнуться тут вне зависимости от времени суток. И оттого еще более странно, что один из знаковых театральных подвалов находится не посреди бульвара, а глубоко во дворах. Арбат, он же улица Жибек Жолы (то есть Шёлковый путь, который по преданиям в этом самом месте и проходил), упирается в торговый дом «Пассаж». Кажется, когда исчезнет барахолка, не станет и самого Алматы: иначе объяснить, почему этот формат торговли до сих пор не вымер, невозможно. Однако это первый звоночек, что совсем рядом Зелёный базар — главная торговая точка в городе, где от запахов и красок крутом идет голова. Уйти голодным невозможно — как в физическом, так и в духовном смысле.

В этом районе концентрация театров бьет рекорды. Тут и кочевая «Трансформа» с огромным багажом гостевых и гастрольных постановок; и Interius — коллектив, лучше всего чувствующий свою целевую аудиторию: женщины возраста с пометкой «плюс». Чуть дальше — два островка детства: казахский ТЮЗ имени Мусрепова и государственный театр кукол, оба то и дело выстреливают добротными взрослыми постановками. Поэтому, если и направляться на поиски типичной алматинской семьи, то именно в эту часть города. Хотя что в ней уж такого типичного? Едва ли она отличается от любой другой семьи на постсоветском пространстве. Разве что вопрошающему по-казахски ребенку родители с абсолютной естественностью отвечают по-русски, стоя на пересечении улиц Пушкина и Макатаева.

Пожалуй, лучшее, что придумали градостроители Верного — впоследствии Алма-Аты, — это проложить улицы в шахматном порядке. Так в принципе легче ориентироваться, а в нашем случае еще и разбить город на условные театральные ячейки. Все их алматинские адреса идут по перекрещивающимся улицам Абая — Жарокова и Достык — Райымбек-батыра (хотя для многих последние все еще Ленина и Ташкентская). Эти четыре улицы, идущие в разные концы города, пересекаясь, образуют довольно большой прямоугольник, в площадь которого вписывается основная масса театров. Есть, конечно, досадные исключения вроде талантливой и самобытной немецкого театра, который из самого сердца города выселили почти в пригород. Если спросить опоздавшего алматинца, где его черти носили все то время, что вы его прождали, наверняка ответит: ехал с первой Алматы. Алматы-1 и Алматы-2 — два вокзала, и если второй еще сравнительно недалеко от центра, то первый прилично удален. Если же спросить у очень культурного алматинца про тех же чертей, скажет: ехал из немецкого театра. Даром, что ли, по расстоянию он как раз между вокзалами.

Есть и удивительные артефакты на другом конце города — вроде ТЮЗа имени Сац, обитающего в старом дворце культуры, раньше принадлежавшем Алма-атинскому хлопчатобумажному комбинату. Удивительный, потому что на фасаде детского театра висит табличка: «Осторожно, падает облицовка». Висит она там, кажется, еще со времен моего детства — хоть что-то в этом городе остается неизменным.

Но вернемся в центр. Если задаться целью и запастись таблетками от давления, пройти его можно за день. Алматинцы неубиваемы: нас не берут ни закопченный воздух, ни плавающая асфальт летняя жара. Перепады давления нам тоже не страшны — мы вольный, хоть и ленивый горный народ. Приезжие здесь вычисляются сразу — даже не по анекдотичным уже «тэнге» вместо «тенге», а по осололевшим глазам: попробуй без подготовки погулять почти по километру над уровнем моря! Еще эти смешные люди называют наше главное место обитания «верандами» и «террасами», хотя всем известно, что они — летники.

На летниках здесь не сидят только зимой. Стоит чуть проклюнуться мартовскому солнцу — и первые отважные носы высовываются ему навстречу из клетчатых пледов. И так до последних дней ноября, пока посиневшие от холода официанты попросту не перестают обслуживать сидящих снаружи.

Самые пафосные летники со всех сторон окружают оперный театр. Раньше он носил почти непронизимую аббревиатуру ГАТОБа, сейчас превратившуюся в еще менее выговариваемую КазНТОБ. Позолоченные барельефы из-под крыши театра с укором смотрят на то, как барышни в модных платьях проплывают мимо распахнутых дверей театра. Их манят инстаграмные фото еды и шикарные коктейли. Какой уж тут балет, когда рядом и историческая «Карлыгаш», и осовремененная «Театралка», и модные — и неоправданно дорогие — заведения. Жизнь в них начинается с приходом сумерек, когда фонтаны перед театром словно разбрызгивают неоновую подсветку. Это — сердце алматинского «Золотого квадрата», самого престижного и дорогого района города. КазНТОБ возвышается эдаким пантеоном, отсекающим «иноверцев»: они сразу сворачивают на тянущуюся от театра пешеходную улицу Панфилова, предпочитая оперным дивам поющих под цоеву гитару фриковатых подростков.

Но Панфилова рано или поздно упрется в Арбат, так что мы свернем в противоположную сторону. Когда за границей, по привычке, говоришь «пойдем вверх», ловишь непонимающие взгляды местных. У нас же все, что вверх, — то в сторону гор. Наклон улиц замечен невооруженным глазом, не говоря уже о напряжении в коленях. Город словно катится вниз от шпиля телевышки Кок-Тобе и вечно стремящихся вперед каменных конькобежцев на катке Медео. И вместе с уклоном меняется настроение.

Короткий скверовый перешеек между КазНТОБом и русским драмтеатром — будто переход в другую страну. Тут театр Лермонтова вместо кафешек окружают библиотека и несколько университетов. Контингент здесь тоже свой, наработанный десятилетиями. Солидные женщины в цветастых кофтах с пайетками и их скучающие спутники. Когда проходишь по аллее Куляш Байсеитовой мимо театра, так и тянет приосаниться, остепениться, что ли. Еще и Михаил Юрьевич бордовым барельефом хитро поглядывает сквозь еловые ветки на памятник отцовскому тезке — актеру Померанцеву. Бронзовый ЮрБор, как его ласково называли коллеги, сторожит здесь тишину и как будто консервирует время.

Само старое название города — Алма-Ата — словно говорит, что у нас всего по два. Тех же театров: два ТЮЗа — казахский и русский; два кукольных — государственный театр кукол и независимый Тотальный театр; даже оперных два — старый КазНТОБ и новый Almaty Theater. В последнем чуждо все: и западное название, и расположение на вечно стоящей в деловой пробке Аль-Фараби, и помпезная архитектурная форма, напоминающая свадебный торт. Он венчает череду сказочно дорогих ресторанов и бутиков, маяча белоснежной униформой капельдинеров, как бельмо на алматинском глазу. Но ему всего несколько лет — глядишь, и приживется. А проверенных временем драмтеатров, конечно, тоже два, так что от Лермонтовки мы устремляемся ко второму прямо по Абая, одному из самых длинных и широких проспектов в городе.

Не заметить казахский драматический театр имени Ауэзова почти невозможно: это большая бетонная коробка, возвышающаяся на пустой площади. Прямо перед входом сидит виновник названия — скучающий Мухтар Ауэзов. Выросшие в 90-х ласково прозвали памятник Prodigy¹: уж больно прическа литературного классика

¹ The Prodigy (англ. «чудо», «дарование») — британский музыкальный коллектив, возникший в 1990 году и ориентированный на электронную музыку. Упомянутый далее Кит Флинт — британский музыкант, участник группы The Prodigy с момента её основания и до конца жизни (2019).

сбоку напоминает рожки Кита Флинта. И ох уж эта тоска в глазах, с которой он, подперев голову рукой, смотрит на раскинувшийся напротив комплекс цирка и парка аттракционов. Сейчас бы рвануть на американские горки, а тут опять толпа пенсионеров... Публика здесь памятнику под стать. Молодежь в этих краях либо сопровождает тяжело поднимающихся по ступенькам аташек и апашек (так здесь ласково кличут дедушек и бабушек), либо просто перепутала выходы из метро. Хотя, конечно, тема стариков и общественного транспорта — это одна из характерных черт Алматы. Здесь невозможно представить, чтобы не уступили место или не донесли сумки. Причем отнюдь не показушно: это генетический код, уходящий корнями глубоко в века и в землю.

А она здесь настолько благодатная, что даже бомбоубежище начинает цвести. Если смотреть по карте, то находящийся неподалеку «Бункер» — самое сердце Алматы. Лежащий у подножья скученных хрущевок возле Никольской церкви, он просто обязан внести в эту историческую идиллию немного хаоса. Сюда не приходят за высоким искусством. Здесь въевшийся в стены и бронированные двери тяжелый запах сырости. Выступают полулюбительские коллективы, тусуется молодежь. Это андерграунд в своем классическом словарном толковании. Возможно, это единственный в мире театр в бомбоубежище. Это не делает его более безопасным: по ночам в тех дворах все равно страшно ходить. Акимат — наша мэрия — никак не решит проблему с освещением, а знаменитые алматинские деревья так и норовят за густыми ветками спрятать что-нибудь жуткое.

Но стоит пройти под этими же ветками днем — и упрешься либо в Уйгурский, либо в Корейский республиканский театр. Оба живут своей жизнью, но принадлежность к диаспоре диктует правила. В этом смысле Алматы похож на большое лоскутное одеяло: не столько из-за своей шахматной топографической логичности, сколько из-за пестроты и космополитизма. Ландшафт тут меняется каждый квартал, а вместе с ним — цена на кофе и одежда тех, кто его пьет. И тот, кто в это одеяло укутывается впервые, небыстро, но постепенно перенимает наши привычки.

Это стало особенно заметно в последние несколько лет, когда на театральной карте города появились «2act» и «Керемет» — проекты, запущенные релокантами, но уже ставшие полноправными культурными объектами города. И местный зритель потянулся к ним, привнося свои обычаи. Ведь в Алматы смиренно выстоять километровую пробку и опоздать на спектакль на полчаса потому, что негде было припарковать машину, — нормально. А забегаю в зал, глянуть на потолок: шансы, что тряхнет так сильно, что с него посыплется штукатурка, очень малы, но жизнь в сейсмозоне рождает свои подходы. У нас нет тревожных чемоданчиков: всю тревогу мы носим с собой, чтобы в случае чего быстро превратить ее в бескорыстную заботу о ближнем.

Здесь можно в самом красивом из платьев рвануть домой на самокате, по пути со скидкой купив ящик терпких абрикосов — из того, что за день не разобрали. Главное — прочно его установить, ведь на дороге обязательно подрежут: эти областные, блин, ездить не умеют! Ведь даже ночью этот город не спит: все время едет, стремится куда-то, перемигиваясь неоновыми лампами вывесок. Да и пусть, ведь он совсем молодой — столько зеленых светофоров и красных яблок еще впереди.

Нина Орлова-Маркграф

На всхожем солнце

Этнографическая повесть. Избранные главы

Мои чалдоны, или «Азм есмь...»

Я родилась на Алтае, у реки Кулунды. Река течёт по Кулундинской степи меж лентами сосновых боров. Лето коротко. Июль жаркий, полон солнцем, а август уже умывается предосенним дождиком.

Зимой занесёт нас большими снегами, великой снежной стеной наглухо отделит от всего мира. До сих пор снится мне сон. Уютная умиротворённая тишина в комнате. Метель перестала выть, трясти рамы, сквозить во все щели. За окном сугробы слились в один белый горный хребет. «Надо идти мать окапывать», — говорит отец. Мы идём во двор, отец вытаскивает из пригона лопату. Идём вдоль реки, которая с берегами укрыта снегом, к избе бабушки. А была ли изба? Стоит некий снежный стог. Отец начинает рыть в снегу ход к предполагаемой двери, откапывает, откапывает, вот уже просвечивает дощатое полотно двери, обмёрзшая щеколда на ней. «Открывай!» — кричит отец. Сейчас приоткроется дверь, и из неё покажется баба Маруся, я так по ней соскучилась. Но нет, каждый раз на этом сон смешивается в чёрно-белый дым и обрывается.

«В нашей деревне всякой твари по паре», — шутили мои родители. Так оно было по всей Сибири. Издавна и долгое время населялась она пришлым, беглым или насильно переселённым людом из разных мест российского государства. Тут и поморы, и новгородцы, витебские, воронежские, вятские люди, рязанцы и москали. Конечно, казаки всех мастей, раскольники, староверы, кержаки, мордва. В начале двадцатого века привалило много народу из Центральной России, их сибиряки так и прозвали — «расейские», селились они рядышком друг с другом. Во многих деревнях и посёлках у нас была своя «Расея», околоток из двух-трёх улиц. А в Великую Отечественную Алтай, да и вся Сибирь, пополнилась ещё одной этнической группой. Сюда переселили полмиллиона русских немцев из Поволжья. Сибирь приросла и этим народом. Но об этом чуть позже.

Орлова-Маркграф Нина Густавовна — писатель, поэт, переводчик. Автор сборников стихов «Царь-сердце» (1991), «Утешение» (2007), «Птицы-летицы» (2016), «Жили-былный период» (2023), рассказов и повестей «Простить Феликса» (2021), «Заступница» (2022) и других книг.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 8.

У нас проживали и аборигены, представители коренных сибирских народов: зыряне, остяки и другие. Некоторые мои односельчане относили к ним по неведению и чалдонов. На самом же деле чалдоны что ни на есть русские люди. Они пришли сюда небольшой группой из Древней Руси ещё до монгольского нашествия. Тогда в этом краю слухом не слыхивали о русских. Поразительно: чалдоны, на протяжении многих веков живя среди аборигенов, людей иных рас, в большинстве сохранили славянскую внешность и свой уклад жизни. Смешение чалдонов с коренными народами происходило, но не так интенсивно.

Маленькой я дружила с семьёй чалдонов по фамилии Тоушевы, во главе с дедом, звали его Путята Горевич. Подозреваю, что Горевич — это видоизменённое Игоревич. Все Тоушевы: старший сын Путяты Горевича Сила, его жена и младшие дети — Василька, Володюшка, Ярик, Манечка и Ольга были светлокжими, голубоглазыми, с чисто славянскими чертами лица. Сам же Путята немного плосколиц, узкоглаз по-степному, дублёная солнцем и каляными ветрами кожа была с желтизной, как у китайца. Роста был выше среднего, телом сух и крепок. Говорили, что в молодости он не был таким «татаром», но к старости аборигенская кровь проступила заметно.

Собравшись у колхозной конторы, мужики, бывало, подшучивали над Путятой, обзывая его «татаром». Намёк на нерусское происхождение волновал Путяту. Он сердился, лицо собиралось в морщинистый жёлтый комок, как мятая карта. Дед гневно тряс на мужиков сухим жёлтым кулаком и кричал:

— Мы коренные русские сибиряки, мы от Древней Руси, это вы монголами четырёхста лет ё....е!

— Было дело, — без обиды отвечал заводила компании Иван Мотыгин по прозвищу Балабол, — а всё ж мы не желтопупые.

— Желтопупый?

Дед задирал исподнее — и о чудо! — посреди его впалого живота торчал пеньком абсолютно белый пуп.

Мужики хохотали.

— Доказал, Путята Горич, доказал, — с нарочитой уважительностью говорил Иван. — Пуп — это самое главное в человеке. От пупа он начинается.

Надо было видеть семью Тоушевых, всех вместе сидящих за самоваром, мужчин — в длинных светлых рубахах, подпоясанных крайками, женщин и девочек — в сарафанных платьях. На столе у Тоушевых — пышные, цвета яичного желтка калачи. Как мне ни внушали дома не ходить к чалдонам, когда они семейно трапезничают, я бежала к ним каждое воскресенье. Дома скучно, детская душа рвалась на простор и к людям. Цепных псов у нас в деревне не водилось, заборов не было, лишь пряслица, отгораживающие двор от улицы. Я бежала напрямик в избу к Тоушевым. Заходила и, по чалдонски кланяясь, говорила:

— Доброго здоровечка!

— И вам здоровыми быть, — серьёзно отвечал дедушка Путята, — милости прошу, проходите.

И приказывал невестке, молодой хозяйке:

— Любушка, порушь калач.

Это означало «нарежь».

Меня усаживали на высокий табурет работы деда Путяты, наливали чая, подавали кусок калача.

— Приятных аппетитов, — говорила я важно.

— Без аппетита всё летит, — всегда одно и то же отвечала Любушка, невестка недавно женившегося старшего сына. Толстая коса её тряслась от смеха вместе с плечами и грудью. Вслед за ней смеялись все.

Я благоговейно, как всё чалдонское семейство, приступала к калачу, прихлёбывала чай. Дома мама пекла такие же калачи, может, ещё посдобнее, но здесь, в окружении большой семьи, всё казалось вкуснее.

Тоушевы держали двух гнедых лошадей, которые паслись на лугу за Кулундой, а наша изба стояла недалеко от берега. Путята Горевич ходил присматривать за лошадьми вместе с внуками. Когда они шли мимо нас, мы с братом увязывались за ними. Друг за дружкой переходили по узким дощатым лавам через реку на Настасьин луг. Радость обдавала сердце от этого зелена-луга, хотелось бегать и скакать по нему на манер жеребят, зачастую мы так и делали. Дедушка Путята, стреножив своих гнедых, легко, невесомо присаживался на берёзовое бревно, до того изнутри усохшее, что кора болталась вокруг него, как кожа у вконец исхудавшего человека.

Тоушевы ребятишки кричали:

— Ребя, давай карагод (хоровод) водить!

Мы с братом вставали «карагодить», но песен чалдонских толком не знали. И только чуть подпевали. Потом я их запомнила.

Мы на луге были,
Мы венки вили,
Ой гаю, гаю,
Зелёному маю!

Или:

Пойду ль я, молода,
Пойду ль я, молода,
На Днипр, быстру реку.
Кину ль я, брошу ль я
Свой берёзовый веноч.
Тонет ли, тонет ли
Мой берёзовый веноч?
Тужит ли, тужит ли
по мне мой дружок?

Что это за Днипр, нам было неизвестно, но «корогодная» от этого делалась только шире, разливицей, и в ней была тайна.

Тоушевские дети — Манечка и Ольга — в своих чалдонских сарафанах, которые сами они называли русскими, а мальчишки — в белых рубашках с поясками, в хороводе смотрелись красивее нас, и я просила мать сшить мне сарафан, а брату длинную рубаху с пояском. После хоровода начинались догоняшки, мы носились прямо у ног лошадей, тогда дедушка Путята грозил нам жёлтым кулаком и звал к себе.

Сам Путята Горевич и все чалдоны говорили вместо «кони» — «комони», я сразу приняла это слово. «Комони» было приятно вкусным для детского языка и полностью совпадало с видом густогривых гнедых, играющих друг с другом на Настасьином лугу, несущихся по его зелени так, что из-под копыт брызгал сок молодой травы. Много позже, в университетские годы, читая в «Слове о полке Игореве»: «А сядем братие на свои бързья комони да поищем синегу Дону», — я словно бы снова встретила с гнедыми конями чалдона Путяты Горевича. «“Комони” — ныне не употребляемое слово», — прочла я в комментариях к одной исследовательской работе. А мы с малого детства его употребляли. Так же, как и глагол «рече», который часто встречается

в древнерусской литературе и духовных текстах на церковно-славянском. «Рече безумен в сердце своем: несть Бог» (52-й Псалом). Точно так и наши чалдоны вместо «сказал», «говорю», употребляли «рече», «реку», а бывало, и просто «ре». Мы с братом усвоили от них много лексики, говорили «еслиф», «надыть», говорили пойдём на «вулицу», чем смешили наших родителей. А мне и теперь эта «вулица» очень нравится. Уютное слово. Летом прямо посреди «вулицы», затянутой песком, играли мы, сидя в нём по пояс, просеивали в горстях, разглядывая полупрозрачный шёлк шелестящей песчаной струи, готовили из него кашу, когда играли в «дом», зло кидались горстями друг в друга во время ссоры. Шибко обогатили мы свою речь, пока водились с чалдонами. Как-то я забралась на крышу сеней. Разгуливая и напевая, забылась и ступила за край. Свалившись в середину двора, сильно ударила руку о поилку для куриц. Лежала и вопила:

— Руку умертвила! Руку убила!

Отец как раз строил баню за двором. Прибежал, поднял меня.

— Умертвила? Што ли рука твоя мёртвая? Тогда давай похороним, чалдонка ты моя. Не умертвила, а ушибла.

На само деле «умертвила руку» — очень точное выражение. Я так и чувствовала её: мертвой, бездейственной. Оборот речи очень точный, и не сомневаюсь, что наши чалдоны тоже принесли с собой из русской древности.

Есть разные версии, кто такие чалдоны и почему их так называют. Долго бытовала простая, возможно, связанная с совпадением звуков: чалдоны — это те, кто «чалили» с Дона, то есть пришли с Дона, с юга России. Или что это казаки, населявшие местность между рекой Чалкой и Доном. Считаю, что никакого основания так думать о чалдонах нет, во всяком случае, мои чалдоны точно не оттуда.

Другая гипотеза: племя чалдонское — коренное сибирское, из монголоидов. Ну а как же их русский быт, традиции, обычаи и славянские зачастую черты лица? В словаре В.И.Даля поясняется, что чалдон — заимствование из монгольского языка и означает у них: бродяга, беженец, варнак. Коренные народы прозвали так пришлое племя чалдонами. Есть ещё мнение учёных, что в слове чалдоны наличествует видоизменённое «чело», то есть человек, голова.

Играя на Настасьином лугу, мы иногда начинали спорить, спор переходил в яростную ругань, каждый отстаивал своё: «Я первый осалил! Нет я! Я быстрее прибежал! Брешешь!» — и тому подобное. Но однажды (на лугу, кроме нас и чалдонов, было много детей с Бурлака), все мы жестоко перессорились, толкались, делали рожи, кидались колючками, плевались и орали друг другу: «Чтоб у тебя ячмень вскочил! А у тебя кила завелась! Чтоб ты провалилась! Чтоб ты сдох и матка твоя тоже!» И прочие добрые пожелания. Тут Путята вскочил со своего седалища и гаркнул: «Молчати!» Построил нас, как солдат в шеренгу, и стал объяснять, как страшно впадать в бешенство («впускати беси»), как опасно желать что-то плохое, губительное: «бо слово может воплотити стати», то есть воплотиться, сбыться. Он рассказал нам про тётку Алёну Чусову. «Алёна сиде у окна и строчила на машинке себе платье из хорошего штапеля. Пришла Шура, её матка, скандальная дюже, и стали они грызтися. И та плохое говорит, и другая то ж. И вот мать, впусти в душу беси, завизжала: «Чтоб ты громом прибило, тварь таку!» Плюнула и убежала. Алёна дальше осталась у окна шити. Началась гроза, гром, молонья. Алёна строчит, ниче не замечат. Окошко настезь. Ну вот и убила молонья Алёну. Теперь Шура волосы на голове рвёт, бо убила она дитя своё — своим же поганым словом». Меня эта история с Алёной потрясла. Я рассказывала её много раз за жизнь — подругам, коллегам по работе, своим детям, недавно был повод рассказать это моему старшему внуку Елисею.

Новинские зыряне

Очень хорошо запомнила я одну из семей зырян по фамилии Куркины, они жили на Средних Новинках. Новинок в деревне было три: Верхняя, Средняя, Нижняя. Новинки не потому, что эти улицы новые. Новью, новинкой называли у нас поле, расчищенное от кустарниковых дебрей, леса. Расчищали, осваивали целик под посадку, неподалёку ставили избы, — так возникали улицы. В моё время Средние Новинки были длинной улицей, уходящей в край деревни к сопкам. По низу сопки оборками росла сибирская вишня — гибрид черёмухи и вишни, склон покрывали заросли ежевики. Кое-где самосевом рос боярышник с крупной оранжевой, полной мякоти, бояркой, совсем не такой, как в среднерусской полосе. Нашу боярку парили с сахаром в печи, сушили на зиму, делали лепёшки. Зыряне пекли особо сладкие лепёшки, мне они напоминали по вкусу соты с мёдом.

Интересные эти зыряне. Фамилии имена-то русские, а сами не совсем. Вроде похожи на русских, а вроде другие. Глаза у многих светлые, но чуть косоного разреза, носы маленькие, приплюснутые. В семье у Куркиных было пятеро детей. Матушка их, зырянниха Анна, была красивой, белокожей, с румянцем на нежных скулах, и глаза голубые крупные и тоже с некоторой раскосинкой. Все женщины наши завидовали её густым чёрным волосам. «Богатый у Анны волос!»

Приветливые, неконфликтные, зыряне всё же жили немного особняком, как-то по-своему. Хорошо работали в колхозе и дома, умели плотничать, огородничать, всё толком. Зимой отец и старший сын охотничали. Ребята зырянские — все, кроме двухлетнего младшего, были зимой в заячьих шапках, а старший в лисьей. Я примерно с девяти лет ходила на лыжах не только в ближние колки, но и в дальний глубокий лес. Однажды сильно далеко ушла, поняла, что заблудилась. Пробираясь в одном месте сквозь дебри, вышла на заячью тропу. Заяц зимой всегда прокладывает себе на глубоком снегу тропу к кустам и деревьям, — оголодавши, глодают кору. У ближнего дерева я увидела переброшенную через ветвь жердь с верёвочной петлёй на конце. Это была «заячья петля», охотничье приспособление. Жердь здесь вроде короткого рычага. Она приподнимается над тропой при помощи вбитого колышка. А чтобы жердь не подняла петли раньше времени, верёвку у начала закрепляют за сучок, только крепить надо так, чтоб при движении зацепа враз соскочила. Проходя сквозь петлю, заяц дёргает её вперёд, тут зацепа соскакивает, конец жерди взлетает вверх, и петля затягивается на животном. Такие петли ставили у нас только зыряне. Я обошла тропу, продолжая искать дорогу назад, к деревне, и, чуть пройдя, наткнулась на лыжню. Среди белых снегов увидела почти призрачную фигуру и сразу догадалась, что это Сашка-зырян. Я крикнула ему. Но он не услышал. Я припустила вперёд, уже не боясь остаться навеки в зимнем лесу с волками и лисами.

Хорошим охотником был отец Сашки, Иван Стефанович. Он даже умел выманивать и уносить от норы лисят, дело, говорят, трудное и дюже опасное. Иван Стефанович растил лисят в клетках, как кроликов или нутрию. Вначале они похожи на серовато-бурых волчат, но концы хвостов у всех беленькие! Колька, мой ровесник, совал им в рот палец и вскрикивал, вроде как от укуса. Скорее притворялся, что больно. Лисята были не так смышлёны, как собачьи щенки, пугливы и недоверчивы. Все хотели спрятаться от нас. И вскоре мы потеряли к ним интерес.

Зная русский язык, дома зыряне — дед Стефан, Иван Стефанович и Анна, бывало, говорили на зырянском. Прибегая поиграть с Колькой, я была свидетелем

этих разговоров. Язык был чем-то похож на птичью перебранку, особенно когда говорила зырянниха. Я любила их слушать, по частому вкраплению русских слов пытаюсь понять, о чём идёт речь. Однажды возвращалась я с Новинок домой от своей родни мимо зырянского дома. И слышу какое-то вытьё во дворе. «Домового ли хоронят? Ведьму замуж выдают?» Я в калитку. Вижу, сидит дед Стефан, подшивает драгвой валенки (а дело было летом) и не то воеет, не то стонет протяжно. Спрашиваю:

— Дедко, чего ты воешь?

А он отвечает.

— Дуроска, Дусик. То я песню пою зырянскую.

— А про что она?

— А про всё, Дусик.

В этот же год зимой возил меня отец к деду Стефану. Морозный вечер. Снежно на земле, звёздно на высоком алтайском небе. Я сижу в деревянных саях, закутанная шалью с головы до пят. Реву, охаю, хнычу, сильно болит зуб. Отец везёт меня на заговор. Зырян наш умеет заговаривать не только зубы, а и килу, грыжу лечит по-зырянски разными снадобьями. Для ран готовит древесную золу, сваренную на рыбьем жире, для желудка — медвежья желчь, от немощи — порошок оленьей крови и Бог знает что ещё.

Мы заходим в зырянскую избу. Зуб в тепле разболевался ещё сильнее, разрывает голову, кажется, что он корнями сверлит мне челюсть. Я визжу поросёнком и в прямом смысле лезу на стенку. Отец железной рукой усаживает меня на лавку. Дед Стефан, бородатый, космобровый, с большими круглыми ноздрями круглого носа склоняется надо мной. Его длинная борода свисает до груди. Смотрит на меня лешачьим прищуром, как мне блазнится. Потом садится на лавку, водит согнутым шершавым пальцем круги по моей щеке и что-то причитывает. До меня доносятся лишь отдельные слова: «Раба божия... алатырь... исцели... заberi...» Я слушаю, слушаю шершавый его шёпот, постепенно переходящий в ласковое поплёвывание, дуновение, и задрёмываю. Очнувшись, забываю про больной зуб. Только наболевшая щека чуть ноет. На обратной дороге я даже пробую петь «Называют меня некрасивою...». Но отец кричит: «Застудишь зуб! С закрытым ртом езжай!» Еду в саях по зимней ночи молча и кажется, будто дед Стефан рядом, и надо мной он, и в моём зубе.

Зыряне, рассеянно живущие у нас на Алтае и по всей Западной Сибири, некогда переселились сюда из Коми. Другое название этой народности — «коми» или «коми-зыряне». Жили они на северных реках, по которым получили свои этнографические названия: вычегодцы, вишерцы, вымичи, ижемцы, печорцы и другие. Из каких были наши зыряне? Слышала, что к нам в деревню они прибыли после революции, в двадцатые годы, с Нижней Оби, с Зауралья. Согласно сведениям этнографов на Алтай переселялись в основном зыряне ижемские. Почему они вынуждены были уйти с Нижнеобья к нам на Кулунду? Если они были такие же работающие, сообразительные и поворотливые, как наши Куркины, то жили, несомненно, зажиточно.

Мне маленькой нравилось это звонкое слово «зыряне», но сами наши зыряне, и особенно молодое поколение, как будто смущались, что их так называют.

Многие зыряне ушли из Коми-земли в Сибирь при завоевании её Ермаком. Вместе с прибывшими сюда русскими они были в числе строителей, а потом и жителей Тюмени, первого построенного здесь города. В начале XVII века жили в Тюмени, согласно историческим запискам того времени, «стрелец Семейка Зырян, посадский Федоска Иванов Вычегжанин, крестьяне Васька Иванов Зырянин». В Тобольске,

ставшем столицей Сибирского края, в год основания появилась улица Зырянская. По всей Сибири — на Алтае, в Омской, Иркутской, Кемеровской, Тюменской областях — до сих пор есть сёла и реки с названиями Зыряновка, Зырянка, Зырянское.

Зыряне первыми из северных народностей приняли православие. При крещении давали им, как положено, имена по святым. Потому и мои Куркины носили русские имена и фамилии. Помнил ли их род своё первоначальное имя, не знаю. Человеком, который пришёл в коми-землю к зырянам, проповедовал и крестил их, был епископ Стефан Пермский. Проповедь бесстрашного человека была начата в селении зырян около устья Вычегды. В Коми-Вымской летописи о проповеди Стефана под 1379 годом пишется: «...Приде Стефан на место, глаголеное Усть-Вымь, и тамо водворился, а бысть то место ему во всем по обычаю паче иных мест тогда бысть лесно и нача жить при древес и келью и дом молитвенный устрой себе...»

Какие только тяготы не перенёс Стефан, а всё продолжал своё дело. Стефан Пермский создал для зырян азбуку, научил грамоте. Многие зыряне с большим желанием учились чтению и письму, и сами потом переписывали духовные тексты — желание и способность усваивать новое, учиться, стремиться быть успешными, кажется, вообще в характере этого народа. Такими были и мои зыряне.

Со мной учился Колька, младший из детей Куркиных, лёгкий, беспроblemный паренёк. Но мне запомнился старший, Александр. Про него в деревне говорили: «Сашка уж до того обходительный парень!» Или: «Шибко баской у зырян старший сынок! Ха-ро-о-ший». И правда хороший. Обаятельный. Теперь бы сказали харизматичный. Не было случая, чтоб он прошёл мимо меня, малышки, и не поздоровался, не присел передо мной на корточки, ласково улыбаясь. Спрашивал, куда я ходила, что подделывала. Как мои мамка и папка — все ли здоровы?

В отличие от других детей Александр в большой степени перенял черты лица великорусские, и чем старше становился, тем больше делался во всём русским. Не думаю, что он дорожил своим зырянским происхождением. Мы все хотели быть русскими. Александр прилежно учился, закончил десятилетку в районе. После школы поехал в Камень-на-Оби, поступил в техникум. Получил профессию и женился на девушке, которую высмотрел и полюбил ещё в школе. Чудесная Лидочка была из семьи немцев-переселенцев. Они уехали в Казахстан. Семья у Александра и Лиды получилась крепкой. В девяностые раздراйные годы жизнь в Казахстане стала невыносимой. Притесняли, не давали работы, жизни не давали. И по настоянию Александра семья с двумя детьми переселилась в Германию. Помню, как Лида, жена Александра, этническая немка, говорила: «Мне бы и в голову не пришло — в Германию собраться. В чужую страну! Это всё Саша». Зырянин Александр Куркин, потомки которого когда-то ушли из Коми в Сибирь, совершил новое переселение. Его потомки станут немцами.

Вогул Петрович

Лет до двенадцати я думала, что Вогул — это имя. Все звали его Вогул, Вогулка. Иногда Петрович. По имени-отчеству получалось Вогул Петрович.

Однажды (я училась тогда в пятом классе) мы готовились на День Советской Армии поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. Читая список ветеранов, среди других прочла я незнакомое имя: Ефим Петрович Пронин. Как так вышло, что я такого не знаю? Оказалось, это Вогул.

Я часто бегала к Вогулу за серкой — так называли у нас жвачку, варёную из берёзовой коры. Серку можно было обменять на яичко или купить за пять копеек. Свежие аппетитные комочки серки лежали у Вогула в чугулке, залитые холодной водой. Я обожала жевать тягучую, чуть смолянистую серку. На вкус приятную, сладкую — в том значении, в каком называем мы сладкой колодезную воду.

Однажды, мне тогда только исполнилось пять лет, заскучав дома, я побежала к ближней берёзовой роще, где любила играть, и увидела там Вогула. Шишковатыми, изработанными пальцами он обдирал кору — бережно, не сплошняком, чтобы не погубить дерево.

— Вогулка, кору дерёшь?

Вогул повернулся ко мне.

— Деру, дефка.

Лицо Вогула было рябым от светотеней, круглые пятнышки света покрывали рукава старенького висящего на нём пиджака и коричневые кисти рук, он весь был пятнистый, как рысь, и зеленовато-карие глаза из узких прорезей смотрели по-рысьи. Только голос был простым и мягким.

Я принялась помогать ему. Вогул улыбался, кидая бересту в мешок, и когда мешок наполнился, сказал:

— Пошли, Дусик, посмотришь, как я серку варганю.

Мы пришли во двор Вогуловой избы. В ограде стоял круглый шалаш, крытый берестой, по сути, летняя юрта. В юрте стояла лавка, застеленная старым стёганым одеялом, второе, байковое, лежало на полу, должно быть, вместо ковра. В левом углу полусобрана в кружок посуда: стакан, металлическая кружка, закопчённый чайник. Вогул вытащил из юрты два больших чугуна и понёс к верстаку, приделанному к стенке сарайки. Мы вытряхнули из мешка бересту, Вогул укладывал её на верстак и резал на куски. Я вертелась рядом.

— Научисся, сама буш серку варганить, — весело говорил Вогул, закладывая кору в чугун с дырявым дном. Он понёс его к середине двора, где была прикрыта металлической крышкой яма для костра. Яма была неширокой, но довольно глубокой. В ней стоял заранее приготовленный чугун с холодной водой. Вогул водрузил на него чугунок с берестой и сказал мне:

— Теперь, дефка, тащи щепу.

Я понеслась в сарайку, где в углу лежала щепка. С азартом хватала и таскала щепу, так усердствовала, что сильно занозила палец. (Помню, как потом дома мама выковыривала мне злосчастную занозу булавкой.) Мы обложили чугунок щепками. Вогул поджёг, разгорелся костёр, объявший светло-оранжевыми языками бока чугулка. Время от времени Вогул снимал крышку, глядел, как идёт дело. Поначалу светлая береста скрутилась от жара, потом, томясь на огне, покоричневела и, наконец, сделалась жидкостью, тёмной, как смола, какой смолят лодки. Она стала быстро загустевать. Через дырявое дно коричневые сгустки падали в чугун с холодной водой.

— Дусик! — услышала я крик тётки Марины, соседки Вогула. — Тебя мать обыскалась. Домой зовёт.

Я притаилась.

— Иди, дефка, — сказал Вогул. — Я тебе серку принесу, как остынет.

Вечером он принёс мне серку в большой алюминиевой кружке — целых пять комочков. Они лежали под водой в светлом обрамлении.

Мать усадила Вогула Петровича за стол, отрезала пирога с капустой, налила молока.

— Поешь, поешь.

Он уселся, ел аккуратно, медленно, ни одной крошечки не упало на стол.

Вогул жил в избе родителей один, семью не завёл. Близких друзей тоже. Река да лес были его друзьями.

Он ловил на Кулунде рыбу, ставил мордушки. Возвращаясь с реки мимо нашего дома, заходил, по-детски хвастался, показывая улов.

— Наловил сёдня рыбицы, наловил!

Обязательно оставлял матери рыбицы на жарёху, а она потом отправляла меня к Вогулу с пирогом или сырниками или с баночкой варенца.

Всё лето я помогала Вогулу заготавливать берёзовую кору, хвостиком бегала за ним.

Относился он ко мне уважительно. Говорил:

— Ушлая ты дефка, Дусик.

Однажды я спросила, почему он совсем один. Где его мамка и папка и жена с ребятишками.

— Были и матка и тятя. А как же! Братка был и четыре сестрицы, да все умерли.

И он рассказал мне. В 1931 году в Сибири начался голод, не осталось вообще никаких продуктов, ни картофелины даже, ни редьки, ничего съестного, про хлеб и говорить нечего. Как Вогул мне ни объяснял, я так и не поняла, куда ж девалась вся еда: картошка, например, она же гектарами у нас растёт, по двадцати штук на кусту; репка, горох, фасоль и огурцы. Куда они подевались? А помидоры? Они, правда, не успевали созреть, их снимали почти зелёными, сыпали на подоконники дозревать, а мы с братом клали их для этого в валенки. Почему не было молока, куда подевались двухвёдерные коровы? Поросята, курицы?

— Не было ничего, — отвечал Вогул.

Когда наступила зима, семья Вогулова совсем оголодала. Отец и мать всю скудную добычу отдавали детям, сами не ели и, истощившись, умерли. Потом умерли старшие дети, по примеру родителей отдавая всё младшим. И так младшие — пятилетняя Таня и десятилетний Фима — выжили. Голод затух, Фима с одиннадцати лет стал работать в колхозе и вырастил сестрёнку. В 1942 году ушёл на фронт. Вернулся в июле 1945-го. Он остался жив на войне, а сестра в войну померла.

В студенческие годы, будучи далеко от своей деревни, я очень скучала по ней. Вспоминая моего Вогула, Ефима Петровича Пронина, стала искать информацию, что это такое — вогул, и нашла. Вогулы — народность, почти исчезнувшая. По своему этнографическому типу они относились к древним угорским племенам. Я прочла, что вогулы были первым народческим племенем, с которым русские столкнулись при своём движении на восток к великой Перми. Племя сильное и воинственное. Тут я представила нашего вогула: небольшого роста, худого, узенького, как подросток, в старой ветхой одежде, всегда ему просторной, с голосом мягким и кротким. Только рысьи глаза гордые, зоркие, словно выслеживающие что-то, могли служить доказательством, что предки его были стойкими воинами. Вогулы долго были полуоседлым племенем. Сильные звероловы. Но ещё их обзывали «брусничниками»: никто не заготавливал столько ягоды, как они, умея хранить её весь год.

В пятнадцатом веке — вогулы всё ещё язычники, страшные враги зырян, уже обращённых в христианство, беспокойные, коварные соседи первых русских поселенцев на Урале.

Противостояние их было долгим и упорным. Даже после покорения Сибири Ермаком вогулы продолжали бунтовать. Стрела с изображением злых духов —

обычный призыв к восстанию, — не раз облетала вогульския стойбища. В конце концов их, конечно, укротили. Один автор второй половины девятнадцатого века пишет, что недостаток характера вогулов — леность и неряшливость. Я же думаю, это была не лень, а наступившее в результате поражения в долгой борьбе безразличие, общая депрессия народа. В некоторых местностях вогулы обрусели, потеряли свой племенной тип. Они были обращены в христианство, но и после Святого крещения многие оставались тайными язычниками, прятали идолов где-нибудь в глухой лесной чаще и приносили им жертвы. Вера вогульская в чём-то была по-детски наивной. Принося жертву, вогул не только рассчитывал на взаимную услугу своего божка, но торговался с ним: «Если убью трёх соболей, тебе, божок, одного». В случае неудачи, разозлившись, охотник мог наказать идола за плохую службу и выкинуть вон.

В избушке моего Ефима Петровича Пронина видела я на полочке над топчаном деревянную фигурку идола, он был похож на спелёнутое дитя, но с ликом старика — грозного, с длинной бородой. Дерево, из которого его выстругали, покрылось тёмной коркой и копотью. Кто знает, сколько веков из рода в род вогулы передавали её. Не думаю, что мой вогул принимал идола за бога, скорее держал его как память о своих предках.

Мордва

Вся наша деревня была поделена на, так сказать, этнографические околотки, каждый имел своё название: Чалдонка, Зырянка, Самара (где жили «рассейские»), Мордва. Однажды в нашей больнице, точнее, деревенском медпункте, видела я, как фельдшерица обследовала тётку Фиону Бортневу с Мордвы, мы звали её Фиёна. Та жаловалась, что у неё в правом боку «овца жуёт».

— Жуёт? — переспросила фельдшерица.

— Жуёт, дочка, — горестно отвечала Феона.

Фельдшерица ощупала бок, а там комок, опухоль с гусиное яйцо, сдавливающая, сжимающая органы. Такое даёт ужасную боль. И эту боль мученица Фиона терпела всё лето, пока не посадила огород, не прополола три раза и не собрала урожай.

— Да как же вы терпели? Почему в районную больницу не съездили? — в полном недоумении вскрикнула фельдшерица и даже за сердце взялась.

— Неужто огород было бросить? — с ещё большим недоумением отвечала Феона.

Раз уж вспомнила я об этой мордовке, расскажу об околотке, который у нас назывался Мордва. Живо представляю себе его улицы. Муравчатые луга около каждого дома, кувшины и стеклянные банки сушатся на тыне, большие тополя-самосевы, тень которых ложится на развилку просёлочной дороги: одна вилка ведёт на Баево, другая на Тюменцево. Из-за тына слышится мордовская речь, сильно разбавленная русскими словами. Это женщины не то ссорятся, не то жалуются друг другу на что-то. Их перебивает плач маленьких детей, их унимают тонкие баюкающие голоса девочек-нянек, и, наконец, всё утихает.

В детстве мы, деревенские дети, любили ходить в Пасхальный день на кладбище. Степенно неторопливо течёт ручей деревенского народа к воротам, затем в ограде расходится на множество маленьких. Направляются к своим. Поправят могилку, посидят около своего покойничка, поговорят с ним, поплачут. Попрощаются. Женщины с платяными сумками, корзинками, чашками ходят по кладбищу, подают поминанье.

Насобирав конфет, печенек, пряников, домашних пирожков-ватрушек, мы обязательно шли всей шайкой к старинной могиле эрзянина-хозяина. С виду это был обычный старый холмик, осыпанный к Пасхе свежим песочком. Рядом с прогнившим и упавшим на земь крестом — новый, сосновый, с вырезанной фигурой в крестовине. Мы знали, что здесь захоронен старинный предок мордвин Кривошеиных. Эрзянин-хозяин. Предки этой семьи пришли в нашу деревню первыми. В деревне рассказывали, что своего первого умершего здесь родственника они похоронили стоя и с посохом в руках. Так уж у них положено. Чтобы дух первого покойника их рода на новой земле стал отцом всех схороненных здесь, покровителем их погоста, теперь уже порядком разросшегося.

Мордовские семьи переселились сюда из Бийского Приобья в сороковых годах восемнадцатого века, так они сами считали. За ними пришли другие семьи, поселились кучно. Наше село образовалось в 1726 году. Когда я жила в деревне в шестидесятых годах двадцатого века, мордва уже не так резко отличалась от остального населения, усвоив многое от местных: язык, привычки, элементы быта. Но обычаи их не ушли, а в старшем поколении были крепки. Мордовская диаспора делилась между собой: одни были мокши, другие эрзи. Говорили немножко по-разному, и сами отличались друг от друга. Мокши были чернявые, порой с волнистыми волосами, и почти все небольшие, дробненькие, а эрзи светлые, рослые и, так скажем, больше славяно-арийской внешности. Таким был эрзя Красный, настоящее имя — Геннадий Маркович Кривошеин. Высокий, массивный, он был светловолос, светлоглаз, кожа на ветру и солнце у него не загорала, но краснела до ярко красного, за это и получил он прозвище Эрзя, или Гена Красный. Однажды, сидя за ужином у моей бабушки Юли, я вдруг отметила, что Гена Красный похож на нашего дедушку (этнического немца), чем всех очень рассмешила. А недавно учёные открыли, что современные популяции эрзян имеют общих предков с теми популяциями, которые ныне расселены значительно западнее России, в том числе и популяциями востока Германии. В нашем Гене Красном это точно прослеживалось. Смеётся тот, кто смеётся последним. Дорогие мои бабушка, дедушка, тётя и дяди, сидевшие за столом в тот незабвенный вечер, моими детскими устами говорила истина!

Семья Геннадия Марковича Кривошеина была, пожалуй, самой консервативной. Жена эрзи Красного Марина Михайловна, Марийка, носила на голове высокую повязку, название которой для русского уха звучало комично — правельтявка, и деревенские, смеясь беззлобно, говорили: «Марийка опять свою тязку надела». В уши на праздник продёргивала мордовские серьги: провололочные кольца с подвешенным к ним пучком пуха. Её дочка Галя рыже-золотистые свои волосы заплетала в косички-сюрот, то есть «колоски». Они заплетались ото лба и протягивались по обе стороны, связываясь за спиной в единую косу. Марийка вкусно делала кулагу — пареную калину, и все от неё научились. Мордовское блюдо — кулага — готовится из калины и ржаной муки. Процесс приготовления начинается с отварки калины и пропускания её через сито для удаления косточек и кожуры. После чего в воду с мякотью калины добавляется мука. Её нужно перемешать до однородной массы без комочков. Она была сытной, нежно-сладкой, меж тем ни ложки сахара Марина в неё не добавляла.

Эрзя Красный работал в колхозе на лошади: летом возил доярок на дойку, за село мимо нашего дома. Зимой возил солому на свинарник, сено в коровники, работал куда пошлют. А ещё Гена занимался бортничеством — добывал дикий мед. Бортню называется старое дерево, в дупле которого живут дикие пчёлы. На таком дереве

эрзя ставил тешкс — знак собственности, хотя никто и так не посягал на его бортъ. Эрзя Красный говорил, что мёд диких пчёл лучше, полезней и, главное, он даёт мужчине силу для продолжения рода. Эрзя Красный забирался к дуплу дерева по зарубкам, привязав себя ремнём к стволу.

В те годы у нас в деревне ещё мало пили, на гулянке порой всего одна бутылка водки на всех была. Самогона не гнали. Но все были простодушно весёлыми, бодрыми духом. Иначе как жить, как работать? Веселили себя песнями, шутками, смешными побасками... Обстановка стала меняться в семидесятых. То ли достатка стало больше, то ли разочарований. Процесс этот продолжился в восьмидесятых, а уж о девяностых и говорить нечего. Спросит мама моя в письме к сестре своей Амалии, как тамтакой-то? Она отвечает: «Спрашивала ты про Шурку Роут. Пьёт, как в бездонную кадку льёт». Спрашивает мама в следующем письме: «Как там сосед наш Митька Мариков?» Отвечает: «А сосед ваш попивает». Пьёт или попивает — и так, считай, про кого ни спросишь. Вослед Шукшину могу повторить: «Я в своей жизни застал два русских народа: первым был народ войны и послевоенных лет, тот народ, который поднял страну, — это был великий потрясающий народ сделавший невозможное. А второй — это нынешний российский народ, опустившийся на карачки».

В конце семидесятых, когда я как раз заканчивала институт, из письма тёти Амалии мы узнали страшную новость: допившийся до белой горячки муж Гали, любимой дочки эрзи Красного, вскочил прямо во время обеда из-за стола и вонзил в неё нож. Геннадий Маркович подбежал, вынул из тела дочери нож. Но Галя умерла сразу. Тогда он схватил со стены ружьё, которое всегда висело у них на гвоздочке в прихожей, и всадил в зятя заряд. По милости Божьей тогда уже не было в живых Марийки, матери Гали и жены эрзи Красного, славной мастерицы кулаги. Геннадию Марковичу дали срок, не очень большой, и он отбывал его в исправительной колонии под Бийском, откуда его семья когда-то и переселилась в наше село.

Ви гейт эс?¹

Дядя моего отца, Афанасий, в шестидесятые годы был колхозным бригадиром. Летом он управлял несколькими полеводческими бригадами. Такой важной персоне полагался колхозный транспорт — телега, запряжённая послушной средних лет лошастью. Дядя Афоня, красивый лицом мужчина, сидел на телеге ровно, в нём чувствовалась природная стать и военная выправка. Зачастую перед работой он раным-рано заезжал к нам домой, стучался в дверь, здоровался по-немецки и по-русски. А дальше начинался разговор.

— Ви гейт эс? — с обаятельной улыбкой спрашивал дядя Афоня.

— Как дела, ещё не родила! — отвечал отец не особо приветливо, даже с некоторой досадой. Будто сидит в нём какая-то обида на дядю.

Дядя Афоня, игнорируя его грубый ответ, продолжал улыбаться и говорил, мешая русские слова с немецкими:

— Седня поедешь за рещка пфлюген². — Дядя Афоня неплохо говорил по-русски, только вместо «ч» произносил «ш».

— Командовать будешь? — сразу вскипал отец. — Сам пфлюгай.

¹ Как дела? Как оно всё у вас? (нем.)

² Сегодня поедешь за речкой пахать.

— Я бригадир, а ты тракторист, назначаю тебя.

— Я всю войну пахал, пока ты в плену отсиживался на бауэрских харчах.

— Отсиживался? Я хлеба щетыре года не видал. Один кусочек весь день жевал.

— А я, думаешь, хлеб видал? Или твоя родня видела? Мы зимой очистки картофельные ели, и то не всегда.

— Чего вы балобоните? Я корову доила, в пригоне вас услышала, — увещевала их мама, входя с улицы в прихожую.

— Он думает, я харщи бауэра лопал, — психовал дядя Афоня.

Начинался спор, градус которого повышался с каждой минутой. В конце они уже орали друг на друга. Наконец, дядя Афоня, вскочив с табуретки, шёл к двери, всей гордой фигурой показывая: «Я был в этом доме в последний раз!»

— Хлеба они не видели, — в сердцах говорила мама. — Как будто все другие его в войну видели.

Проходило несколько дней, и в дверь опять раздавался стук дяди Афони. Он тянулся к своему племяннику, родной косточке, сыну старшего брата, погибшего в войну. Здесь, в деревне, жили его сёстры, но что они понимали в мужских делах и разборках? Иногда разговор мог пойти по мирному руслу — о довоенном прошлом, о малой родине на Волге, но чаще о запчастях, «железках», как говорила мама. Оба были природные технари. Отец сам собирал мотоциклы, варил для них люльки, а дядя Афоня пошёл дальше — потихоньку собирал машину-инвалидку, где-то добыв от неё корпус. Шел торг, а точнее, обмен:

— У меня есть двучилиндровики, тебе могу один отдать. Цилиндр по середке чуть погнут, но выправить можно, — предлагал мой отец.

— А я тебе кардан фон (для) мотоцикл ангебен (отдам), совсем новый.

После кардана дядя Афоня ещё минут сорок перечислял, что у него ещё есть, всё своё железное богатство.

Бригадиром дядя Афоня был усердным, но человеком горячим, можно даже сказать, психованным. Если видел какой непорядок, безобразие в колхозе, из человека приветливого, обаятельного, превращался в бешеного лося. Эта психованность появилась у него после немецкого плена. Хотя он по национальности и сам был немцем. Тут непростая и очень забористая история.

Осенью 1940 года дядя Афоня, тогда совсем юный, был взят на действительную военную службу из своего села, находившегося в немецкой Поволжской Республике. Этнические, или как их ещё называют, русские немцы проживали в Поволжье с восемнадцатого века. В двадцатом веке, как и все, пережили Октябрьскую Социалистическую революцию. В 1923 году была образована Советская Республика немцев Поволжья. Поволжские немцы разделили все испытания, выпавшие нашим народам: раскулачивание, коллективизацию, репрессии.

В 1941 году дядя Афоня проходил второй год службы в Советской армии. Тут началась война с фашистской Германией, его часть попала на фронт. В конце августа был издан Указ Президиума Верховного Совета «О переселении немцев Поволжья» в Сибирь. Немецкую Республику ликвидировали, а население депортировали в Сибирь и Северный Казахстан. Жена дяди Афони с ребёнком, как и большинство их родни, попала в далёкую деревню лесостепного Алтая. Ему успели сообщить об этом. Дядя Афоня воевал. В бою с фашистами под Невелем его ранило в голову. Его подобрали и поместили в передвижной госпиталь, который находился поблизости в лесу. Вся местность окружена фашистами. Командование госпиталя приняло решение прорываться к своим. Раненых погрузили на машины, выехали на Витебское

шоссе и... Никто не знал, что за леском укрывались вражеские танки. Фашисты обстреляли колонну. Многие были убиты. Снаряд попал и в машину дяди Афони, он выпал из кузова на землю, пополз через кювет в лес, но фашисты схватили его... Взяли и других, кто остался жив. Сначала отправили в Полоцк, лагерь для военнопленных, а затем в польский лагерь Сувалки. Лагерь располагался на ровной открытой местности. Стоял декабрь. Чтобы укрыться от дождей, ветров, снега, пленные выкапывали в земле ямы, прячась в них. Надежды остаться в живых было всё меньше. Дядя Афоня задумал побег. И вдруг его с группой пленных в одночасье гонят из Сувалки, перебрасывают на территорию Восточной Германии в лагерь под Кёнигсбергом. Вся Германия тогда переживала нехватку рабочих рук, ведь большая часть мужского населения была мобилизована. Дядю Афоню с товарищами ежедневно водили на работы к бауэру (богатому фермеру, по-нашему). Дядя Афоня рассказывал отцу (а я любила подслушивать взрослые разговоры), как к ним в лагерь приходили вербовщики во власовскую армию. Ходили по лагерю не только немецкие агитаторы, но и русские. Предлагали принять немецкое гражданство, обещали уйму привилегий, даже женитьбу на немецких женщинах, — мол, возьмёте их фамилии и будете жить-поживать. Дядю Афоню, молодого, работающего, да ещё, как выяснилось, язык немецкий знающего, приглядела одна женщина. Готова была принять к себе. Но все мысли дяди Афони были о доме, родине, всё время тревожился о жене и ребёнке. Он так скучал по ним, что плакал ночами. Побег не удался, охрана была очень плотной и в лагере, и за пределами его. Он пробыл в плену три года.

Февральской ночью 1945 года их вывели из лагеря и погнали вглубь Германии к порту Пиллау, затем через Данциг на Лауэнбург. Вот здесь, в районе Лауэнбурга, наш дядя Афоня, наконец, смог сбежать. Подробностей не знаю. Добирался до дома долго, тяжело. Шёл ночами, иногда, спрятавшись, сидел по несколько дней, а то и неделю в каком-то укрытии, без еды. Когда перешёл границу и оказался на советской территории, потерял сознание от волнения. До далёкой алтайской деревни дошёл в конце июня 1945 года. Нашёл своих родных и был огушён известием: дочку его растит дед (отец дяди Афони). Жену его забрали в 1942 году в Трудовую армию. Она осталась жива, но сошлась с каким-то мужчиной, от которого к тому времени тоже родила дочку.

Ночь была бессонной и страшной, а утром в деревню приехали двое военных и забрали дядю Афоню. Допрос шёл несколько дней. И всё же его отпустили.

Дядя Афоня стал работать в колхозе, женился, у них с тётёй Катей родилось двое детей. Со временем он построил дом — небольшой, аккуратный, уютный и снаружи, и внутри. Во дворе поставил летнюю кухню — хорошенький такой флигелёк. Покрасил в изумрудный цвет и окошко в наличнике с вырезанными солнышками по нему. Всё по уму. Насадил сад-огород. Потом ещё взял земли и посадил арбузы. Сначала деревенские поражались, какие у нас арбузы? А потом многие стали сажать. Конечно, арбузы вырастали небольшие, некоторые даже совсем маленькие, чуть больше репки. До конца не вызревали, мякоть была светло-розовой, но мы других не знали. Ели, да ещё как! И на зиму целую бочку солили.

В общем, трудился для семьи своей, дети росли, с женой жил дружно. Но пережитое — не старый башмак, не выкинешь на помойку. Саднило и болело оно в нём, делило человека на двух: на обходительно-обаятельного и психованно-сентиментального. Чуть выпьет, начинается спор, крик, в грудь себя колотит, что-то доказывает. А потом умолкнет и заплачет.

В конце шестидесятых дядя Афоня взял и переехал с семьёй в городок на нижней Волге, — край потеплее и поближе к его малой родине. Тогда ведь уже и паспорта колхозникам стали выдавать. Жизнь здесь была сытней и комфортней, чем на Алтае. Он купил и перестроил по своему вкусу дом — аккуратный, уютный, похожий на тот, что раньше строил, но побольше. И летнюю кухню устроил, славный такой домик, крашенный в изумруд, на окошке наличник с солнышками. Насадил яблонь, вишень, абрикосов, виноградник. На бахчах снова выращивал арбузы. Тут-то в тёплом климате на песчаниках арбузы здоровенные, сахарные. Время шло. Дети выросли и завели свои семьи. Дядя Афоня вышел на пенсию. Так бы и жил он, трудясь на своём клочке земли. И отдалялось бы, отдалялось прошлое.

Но грянули девяностые, развал страны и повсеместная разруха. Закрылись предприятия, благодаря которым жил небольшой волжский город. Сыновья дяди Афоня потеряли работу, жена старшего сына заболела раком. Помочь бы, а чем? Деньги, что копили годами на сберкнижке, все в один день обесценились, сгорели. Пенсии стало не хватать, а потом и вовсе им с женой её давать перестали. А тут Германия стала принимать к себе русских немцев. Старший сын в отчаянье уговаривал родителей подать заявление на отъезд в Германию. Старики колебались. Но в конце концов решились. Женщина-переводчица, которая заполняла на немецком языке Антраг (заявление на выезд), рекомендовала скрыть, что он воевал и был в плену как солдат советской армии. Дядя Афоня покачал седой усталой головой. «То здесь всю жизнь надо было скрывать, что был в плену, а теперь вот от немцев буду скрывать. Но ничего. Всё выдержали, выдержим и это последнее». Солдат, бежавший из немецкого плена, теперь добровольно ехал в Германию.

* * *

В 2001 году я впервые в жизни попала в Германию, земля Баден-Винтербург. В одном из городков этой области жил дядя Афоня. Тут его называли Фердинанд. В свободный день я поехала их навестить. Жили они с тётёй Катей хорошо, ни в чём не нуждались, дети их работали, внуки учились, невестка лечилась от рака. Правда, тётя Катя, всегда слабая здоровьем, прибалывала. Дядя Афоня был всё ещё крепок, бодр и быстр в движениях, только стал плохо слышать и поэтому в основном молчал.

— Ви гейт эс? — спросила я его, вспомнив, как он когда-то каждое утро задавал этот вопрос моему отцу.

Он понимающе улыбнулся:

— Эс гейт.

После обеда он повёл меня на свою «дачу» — небольшой участок неподалёку от дома. Он так скучал по земле, что попросил себе у местной власти во временное пользование участок, который никто не обрабатывал. И ему его дали. Теперь здесь было посажено всё, что он сажал на родине. Немцы приходили смотреть на его помидоры, весившие полкило, а то и семьсот граммов, пробовали его душистые дыни. Родня говорила: «Зачем? Всё купить можно». А он не мог без земли и работы на ней.

Что меня особенно поразило на даче, так это летний домик, копия тех, что строил он на родине, в России. И покрашен он был тоже в изумруд, и окошко было с наличником из вырезанных по нему солнышек. У меня сжалось сердце. Я посмотрела на дядю, и мы друг друга поняли.

Дядя Афоня умер в Германии в девяносто два года.

Александр Васькин

«Санта-Барбара» 90-х

Беглые заметки о духовной жизни общества

«А вот новость московская. Для меня, по крайней мере, новость. Театр Станиславского на Тверской по ночам, после 23-х часов, превращается в ночной клуб. Там, говорят, всё надлежащим образом оборудовано, сделан ремонт, мебель, всё в порядке. Официанты, охранники, привратники-негры. И во главе всего этого могучий босс, хозяин, владелец, и это не кто иной как Серёжа К.», — отметил сценарист Анатолий Гребнев в дневнике от 15 ноября 1994 года¹. Ещё Виссарион Белинский сказал когда-то, что театр есть «истинный храм искусства». Превращение театра в место утех новых русских, надо полагать, не укладывалось в голове умудрённого Гребнева. Но для лихих девяностых это было нормально. Днём — театр, вечером тоже театр, но специфический, со стриптизом. Кстати, сам Анатолий Гребнев по трагическому стечению обстоятельств попадёт под колёса автомобиля возле Дома ветеранов кино «Матвеевское» в 2002 году, где он поселится на исходе жизни. Всю жизнь писал для кино (сценарии фильмов «Июльский дождь», «Мне двадцать лет», «Прохиндиада, или Бег на месте», «Петербургские тайны», «Дикая собака Динго», «Старые стены», «Утренний обход», «Частная жизнь», «Успех» и т.д.), и умер рядом с ним.

8 декабря 1994 года поражённый Гребнев вновь упомянет новый московский ночной клуб: «Заведение называется “Станиславский”, — это элитный клуб с членством за доллары (как гольф-клуб), там свой избранный круг, ночная жизнь, и на эти средства содержится бедный театр Станиславского, играющий сейчас два раза в неделю». Действительно, был такой ночной клуб на Тверской улице, так и назывался — «Станиславский». Что бы сказал сам Константин Сергеевич на это? Ещё не факт что возмутился. Он ведь по первому призванию был предпринимателем, сам ценил возможность отдохнуть в кабаре «Летучая мышь» в Гнездниках, куда впоследствии продавали билеты для всех желающих посидеть за столиком в компании известных артистов. Продавали потому, что от самих артистов дохода было немного. Какой с них прок, вечно голодных? Как всё похоже, не правда ли?

Васькин Александр Анатольевич — писатель, культуролог, историк. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московский государственный университет печати. Автор множества публикаций и книг. Печатался в журналах «Новый мир», «Нева», «Урал» и др. Лауреат ряда литературных премий и конкурсов. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2024, № 5.

Ночной клуб «Станиславский» открылся в 1994 году в здании одноимённого — Московского драматического театра имени К.С.Станиславского. Завсегдатаи клуба запомнили его «именитых посетителей», коими на тот момент были актёры Евдокия Германова, Эммануил Виторган, Алла Балтер: «За три месяца работы клуб приобрёл репутацию богемного, рассчитанного на толстые кошельки. Представители художественного сословия обладают почётными членскими карточками, они в некотором роде декорируют отдых людей, чей доход исчисляется шестизначными цифрами». Как мягко написано — «декорируют»...

Представители московской актёрской братии проводили в «Станиславском» поздневечернее и ночное время вместе с банкирами, продавцами дорогой недвижимости, водочными королями. Билет в ночной клуб можно было купить и за 25 долларов, и за 80, в зависимости от содержания культурной программы. Членская карта VIP Gold обходилась её владельцу в три тысячи «зелёных», что давало право беспрепятственного и привилегированного «культурного обслуживания». Показы западной и современной российской моды, демонстрация уже не моды, а оголённых частей тела (надеюсь, что не артистов театра, хотя чего уж тут мелочиться), а также выступление «звёзд», таких, например, как Любовь Успенская. Такое было культурное меню ночного клуба «Станиславский». А вот от казино владельцы отказались, «считая, что в казино ходят исключительно подозрительные личности и что подобная акция подорвёт их имидж элегантного и спокойного клуба»². Хозяин — барин...

Чтобы выжить и кое-как содержать труппу, театр и устроил ночной клуб. В погоне за зрителем «бедный» театр старался не отставать от бытия. А точнее — от повседневной жизни тех лет. Разве «Чайкой» или «Тремя сёстрами» в классической трактовке кого-нибудь заманишь? Вот если бы «Чайка» была не птицей, а персональным автомобилем членов Политбюро, который можно поставить на сцене... Такой сюжет можно закрутить! А «Три сестры»? Зачем им любить своих мужчин, пусть любят друг друга, и тоже на сцене. Вот тогда зритель пойдёт... Потому и ставили такие спектакли как «Мужской род, единственное число» — про американского офицера-трансвестита, роль которого исполнил Владимир Коренев, хорошо известный ещё с советских времён по фильму «Человек-амфибия». Постановка стала хитом, как тогда выражались. Премьера «пикантной французской комедии положений» на сцене театра имени Станиславского прошла в 1996 году, снискав успех. Герой Владимира Коренева также был амфибией, но несколько в ином плане... И потому спектакль задержался в репертуаре аж лет на десять, что уже было хорошим экономическим показателем, учитывая специфику эпохи. О художественных достоинствах речь не шла.

На какие только ухищрения не шли, чтобы наполнить театральную кассу. Кому, например, интересен спектакль про Пушкина, кроме школьников, организованно посещающих театр на каникулах? С детских спектаклей выручка небольшая. А вот если завернуть что-нибудь этакое... И позвать даже не Пушкина, а... Петра Мамонова, с восьмидесятых годов известного благодаря рок-группе «Звуки Му»? Выбор был неожиданным, но в точку. Ибо, как подчёркивали музыкальные критики, творчество Мамонова, его песни есть ни что иное, как «своеобразный спектакль, герой которого — личность, стоящая на обочине жизни, вдали от привилегий нуворишей политики и искусства. Сценический образ Мамонова — это юродивый, “городской сумасшедший”, жестикуляцией, телодвижениями и приплясываниями напоминающий шута»³. Более того, «Мамонов демонстрирует обществу изнанку человеческой жизни». Так это же то что надо!

Петра Мамонова с полным основанием можно назвать лицом девяностых и в жизни, и в театре, и в кино. И не случайность вытолкнула его на сцену, а сама повседневность. Наиболее известный его киногерой — это саксофонист-алкаш в киноленте Павла Лунгина «Такси-блюз» 1990 года, тогда же отмеченной за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Странно, что не наградили самого актёра. Но ещё большее разнообразных образов создал Мамонов на театральной сцене. Вернее, играл-то он всегда себя самого, но под разными именами. В 1992 году в театре Станиславского вышел спектакль «Лысый брюнет», затем «Полковнику никто не пишет» по Габриэлю Гарсиа Маркесу, потом — «Есть ли жизнь на Марсе?». Пересказывать сюжет последнего я не буду — можно посмотреть запись и сегодня. Но нам интересно другое: как это всё воспринималось не только публикой, охотно несущей свои рубрики в кассу, но и критиками.

«Спектакль “Есть ли жизнь на Марсе?”», показанный в Драматическом театре имени Станиславского, вызвал во мне не просто восторг и восхищение, но некое экстатическое состояние, которое последний раз я испытывал в 1977 году на “Гамлете” в постановке Тарковского. Если соединить воедино трагикомедию, гротеск, стебало, сарказм, фантазмагорию, пантомиму, мюзикл и блестящую актёрскую игру — это и будет “Есть ли жизнь на Марсе?”, а сотворил этот антрепризный моноспектакль всего один человек — Пётр Мамонов. Здесь он выступает в роли драматурга, режиссёра-постановщика, сценографа, автора музыки и единственного исполнителя. Об уникальном актёрском таланте Мамонова писали много, но, пожалуй, именно в этой постановке он проявился во всей полноте. То было лицедейство в высшем смысле этого слова, где сочетались неповторимые мамоновские мимика, жесты, пластика, пение и драматическая игра; причём всё — с полной отдачей, без каких-либо поблажек самому себе (в отличие от многих наших театральных актёров, играющих “вполноги”). Режиссура — безупречная, действие развивается динамично, упруго, без занудства; скучно не становится ни на секунду. Пётр Мамонов, постоянно перевоплощаясь, заставляет зрителей то содрогаться от хохота, то застывать в изумлении, то призадумываться, узнавая в сценических образах самих себя. Пьеса, сочинённая Мамоновым, представляет собой экзистенциальную версию чеховского “Предложения” с добавлением отдельных сюжетных линий в виде зарисовок из российской жизни, а также фактов биографии Антона Павловича, представленных в саркастическом ключе... А осенью Пётр Николаевич Мамонов, если всё будет в порядке, порадует всех нас своей новой постановкой, чего мы ему искренне желаем», — восхищался Александр Осипов⁴.

В процитированной рецензии есть два важных момента. Во-первых, параллель с Андреем Тарковским и его спектаклем «Гамлет», в 1977 году поставленным в Театре имени Ленинского комсомола (ныне Ленком). В том давнем и не понятном зрителями спектакле играли Анатолий Солоницын, Инна Чурикова, Маргарита Терехова, Николай Караченцов. А не поняли потому, что «Гамлет» Тарковского «опередил своё время». Так успокаивают друг друга биографы Тарковского. О каком «опережённом времени» идёт речь? Видимо, о девяностых, когда можно было всё. Но что-то закрадываются сомнения в прибыльности спектакля: три с половиной часа, пускай даже с Чуриковой и Тереховой на сцене, выдерживали немногие. Потому Марк Захаров и снял его спустя несколько месяцев. Во-вторых, автор рецензии называет лучшие черты спектакля Петра Мамонова: «...Без занудства; скучно не становится ни на одну секунду». Вот оно, оказывается, как! Да если подходить с такими критериями ко всем спектаклям, то добрую половину можно сразу снимать с репертуара.

В лихие девяностые Пётр Мамонов пережил жестокую депрессию. «У меня был полный крах жизни. Я упёрся рогом в сорок пять лет, когда и бабки были, и слава, и дети, и жена хорошая. А жить мне стало незачем», — делился он в интервью. Разочарование в жизни заставило его в 1995 году переехать на постоянное жительство в подмосковную деревню, недалеко от Вереи, где он «стал думать, для чего вообще жить, для чего мне эти отпущенные семьдесят — или сколько там — лет жизни. А прапрадед мой был протоиереем собора Василия Блаженного. Дай, думаю, куплю молитвословчик, посмотрю, о чём они там молятся»⁵. Выход из депрессии он нашёл не только в православии, но и в театре.

Судя по количеству новых песен и спектаклей, вдохновение к Мамонову вернулось. Творческим итогом лихих девяностых для него стал не только диск «Шоколадный Пушкин», но и одноимённый спектакль, премьера которого в Московском драматическом театре им.К.С.Станиславского пришлась аккурат на 11 сентября 2001 года, в тот самый день, когда по телевизору в прямом эфире самолёты врезались в американские небоскрёбы. Спектакль вышел забавным: «Мамонов показывает как, треща от внутреннего напряжения и осыпаясь на ходу, мысль складывается в корявое, безобразное, разрушающее форму, но точно соответствующее своей внутренней сути слово. Временами сил не хватает, и вместо речи рождается вой — герой корчится, пытаясь высказать невыразимое, но Слово не приходит», — отзывались «Известия»⁶. А сюрреализм происходящего был подчёркнут трагическими сентябрьскими событиями 2001 года.

На спектаклях Мамонова выросло поколение его преданных поклонников. Они готовы были скупать билеты, уверовав, что «Мамонов — настоящий и ни на кого не похож. А ради такого можно хоть на край света пойти. Как бы спектакль ни назывался, суть будет одна: на сцену выйдет Пётр Николаевич Мамонов и сыграет самого себя. В новом спектакле, название которого, как всегда, не имеет никакого отношения к происходящему, всё по-прежнему. В застиранной защитного цвета футболке, серых брюках и с гитарой за спиной музыкант прочтёт свой странный, неритмичный рэп о подворотнях и закрытых пивных ларьках»⁷. А когда-то на сцену театра Станиславского выходили Михаил Яншин, Андрей Попов, Евгений Леонов.

Иногда мне говорят:
А ведь у вас есть друзья —
Я говорю,
Какие друзья —
Те, кто пил, бросил и помер, а других нет... —

произносил Мамонов со сцены... Его самобытность и подкупала зрителя, причём самого разного. Некоторые почитатели мамоновского таланта уверены, что в память о театральных свершениях их кумира переулочек у театра переименовали в Мамоновский. И хотя это не так, не будем их разочаровывать.

Ну а тех, кто не желал провести культурный досуг в ночном клубе «Станиславский», мог пожаловать в «Ленком», где был свой клуб «2х2», и также для богемы. Актёры — тоже люди, к тому же «в наше смутное время не слишком избалованные материальным благополучием, поэтому их желание немного подзаработать вряд ли осквернит чистоту Мельпомены». Так это трактовалось тогда. Да и само слово «досуг» обрело новый смысл. Многочисленные газетные объявления в одной бывшей комсомольской газете предлагали «провести досуг» в самых разных районах Москвы и в обществе «симпатичных девушек». Поэтому даже не сомневаюсь, что кто-то из памятливых

читателей, встретив это выражение, задастся вопросом: «Это о каком же досуге речь?» Да о культуре я, о культуре...

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Валентин Плучек долго жил в престижном «цековском» доме № 2/6 на Большой Бронной. В лихие девяностые всё это стало называться элитной недвижимостью. Стоимость квадратного метра в таких домах взлетела в разы, в том числе и по причине наличия «приличных соседей». А соседей представлять не надо: Юрий Никулин, Святослав Рихтер... И те самые обладатели золотых членских карт ночного клуба готовы были отдать любые деньги, чтобы поселиться бок о бок с народными любимцами, актёрами и режиссёрами (да в тех же сталинских высотках). Так сказать, из грязи в князи. Любимцы старели, болели, нуждаясь в средствах, и готовы были продать свои метры. То есть происходил интересный для социологии процесс «обмена недвижимостью в природе». Раньше, в «сытые семидесятые», чтобы получить такую квартиру, нужны были особые заслуги. Людей случайных консьержка на порог бы не пустила.

Короче говоря, выбравшись как-то из своего дома, Валентин Плучек, увидев кучи грязи и мусора, давно скучавшего по метле московского дворника, а ещё копающихся в помойке плохо одетых людей, был озарён: пора ставить Оскара Уайльда! Это ведь именно английский писатель сказал: «Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звёзды». Сточная канава лихих девяностых тоже рождала если не шедевры, то театральные удачи.

В 1991 году театр Сатиры представил зрителям премьеру — «Идеальный муж» Оскара Уайльда в постановке Валентина Плучека. Комедия о коррупции, воровстве и шантаже как-то очень уместно укладывалась в репертуар и общую атмосферу повседневной жизни.

Популярный некогда театр Сатиры, где в прежние годы блистали Андрей Миронов и Анатолий Папанов, привлекал зрителей самыми разными спектаклями. Среди них были и те, что не забылись по сей день: «Привет от Цюрупы!», «Секретарши», «Счастливых-Несчастливых», «Восемь любящих женщин», «Поле битвы после победы принадлежит мародёрам», «Как пришить старушку»... Последний, кстати, с Ольгой Аросевой в главной роли снискал завидный успех — шёл долго и неутомимо.

В Советском Союзе нередко бывало, что уже поставленный спектакль снимали с репертуара спустя несколько показов. Например, спектакли «Василий Тёркин» и «Доходное место», поставленные в театре Сатиры в 1960-е годы, запретила министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Эти спектакли были опасны и полны аналогий. Теперь же, в девяностые, никто ничего не запрещал. Отсутствие Главлита, каких-либо сдерживающих административных рамок открывало огромные возможности перед деятелями искусства в воплощении давно задуманных замыслов. Только вот средств не всегда хватало, потому искали повсюду спонсоров — в основном крупные банки с деньгами неизвестного происхождения (та же «Чара»). Реклама спонсора, перед которым театр вынужден был расшаркиваться, украшала театральную программку и фойе театра. Большую прибыль стал приносить и театральный буфет: коньяк, водку, виски наливали здесь без меры.

Но если деньги находили, то вот со вкусом были очевидные проблемы. Где его взять, если Бог не дал? Взгляды на такие диаметрально противоположные понятия как художественный вкус и пошлость порою разделяли театральную труппу, как та трещина, что прошла под палаткой папанинцев. Показательна история

Московского академического театра имени Евгения Вахтангова, репертуар которого в девяностые обогатился такими спектаклями Романа Виктюка как «Дама без камелий», «Соборяне», «Я тебя больше не знаю, милый». Ставил и Пётр Фоменко — «Без вины виноватые», «Пиковая дама», и Адольф Шапиро — «Милый лжец», и Владимир Мирзоев — «Амфитрион» Мольера. Но, пожалуй, самым популярным стал спектакль «За двумя зайцами».

Интересной находкой Петра Фоменко стало использование театрального буфета как сценической площадки. Фраза «мы артисты, наше место в буфете» получила практическое воплощение в спектакле по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые». Барная стойка превратилась в подмостки, а большой буфет в элемент декорации, на фоне которой играли Юрий Яковлев, Юлия Борисова, Михаил Ульянов, Юрий Волынцев, Людмила Максакова, Вячеслав Шалевич. В буфете спектакль шёл долгое время. И ведь оказался сверхактуальным: культуру превратили в сферу обслуживания! Что и подтверждало необычное режиссёрское решение. Недавно (спустя столько лет!) ректор «Щуки» Евгений Князев, перебирая свои бывшие спектакли, назвал лишь несколько шедевров, заслуживающих, по его мнению, внимания. Два из них — это «Без вины виноватые» и «Пиковая дама». И с Евгением Князевым хочется согласиться. А ведь сколько времени прошло, сколько спектаклей выпустил Вахтанговский театр с тех пор за три десятка лет! Остались лишь постановки Петра Фоменко. А ещё говорят, что был сплошной упадок культуры. Видимо, не сплошной.

В те годы у руля Вахтанговского театра стоял Михаил Ульянов: «Ульянову в этом смысле не повезло, потому что это были самые страшные времена, когда он руководил театром. И встал вопрос вообще о существовании театра. И тогда были допущены невероятные ошибки: приглашение Виктюка, приглашение Мирзоева — это была катастрофа для театра, потому что это был удар по вкусу театра. По тому, что составляло специфику театра. И целый ряд других допусков. Например, когда наши педагоги начали ставить на сцене театра имени Вахтангова и театр стал филиалом училища! Это же сущая глупость! А Ульянов был уже болен, он уже многого не понимал. Три года я положил на то, чтобы выгнать Виктюка из театра Вахтангова. Мы Ульянова окружили и за горло взяли. Он шёл на поводу у этих ребят. Это уже был такой период разрушения глобального не только нашего театра — всех театров. Единственный театр, который устоял и не сдвинулся, и не пошёл на компромиссы со своим вкусом и совестью, — это Малый театр. И я говорил Ульянову: “Миша, посмотри рядом театр — в эти тяжелейшие времена он не стал оголять задницы своим актрисам, он не стал приглашать дерьмо, а ставил классику и не допускал никакого компромисса с точки зрения драматургии и режиссуры”. Я ему очень много раз это говорил. А он отвечал: “Надо выжить, надо выжить”. Надо выжить, но не такими потерями!», — так считал Василий Лановой. И такие споры можно было услышать почти в любом академическом театре Москвы.

Малый театр превратился в бастион русской классики. В лихие девяностые на его сцене были поставлены «Дядюшкин сон», «Горячее сердце», «Дядя Ваня», «Царь Борис», «Волки и овцы», «Пир победителей», «Смерть Иоанна Грозного», «Таланты и поклонники», «Свои люди — сочтёмся!», «Свадьба Кречинского», «Лес», «Бешеные деньги». Особую актуальность приобрели пьесы Александра Островского, герои которых хотя и жили сто лет назад, но по своей сути словно пришли на сцену из повседневной жизни лихих девяностых — взяточники-городничие, жуликоватые судьи, алчные купцы-предприниматели, готовые продать мать родную. Большую роль

в сохранении Малого театра сыграл Юрий Соломин, его художественный руководитель в 1988—2024 годах: «В 1990-х годах Юрий Соломин и тогдашний директор Виктор Коршунов защитили Малый театр, который предлагалось разделить. Из него хотели сделать некий “музей, как не надо играть”. Очень много было тогда таких предложений. Как не надо играть, “потому что несовременно, потому что обнажёнки мало на сцене”. “Это неправильно, это старьё, а вот сделаем Малый театр музеем, и пусть играют, как в XIX веке”, — приходилось нам слышать. Эти люди были успешно посланы Юрием Мефодьевичем и Виктором Ивановичем, и Малый театр остался. Они вдвоём сохранили, без преувеличения, русский драматический театр», — убеждён актёр Александр Клюквин⁸.

А главным событием девяностых в истории Малого театра так и останется визит английской королевы Елизаветы II в 1994 году. В самом деле, стоило сохранить его хотя бы для этого, — памятное фото до сих пор украшает одну из стен кабинета руководителя Малого театра.

Приезд королевской четы в непривычно солнечном и тёплом октябре 1994 года стал громким культурным событием девяностых, хотя ему было придано и политическое значение. Борис Ельцин тогда высказался в том духе, дескать, визит в Россию стал высшим признанием того, что страна находится на пути к демократии (имелась, конечно, в виду Российская Федерация, а не Великобритания). Центр Москвы вылизали и очистили от бомжей — чтобы Елизавета II через большие, почти панорамные, стёкла своего «Роллс-Ройса» смогла рассмотреть столицу. На несколько дней разогнали торгашей с Театральной площади и Охотного ряда. Одного не предусмотрели — такого количества фраков, в которые следовало нарядиться тем, кто должен участвовать с российской стороны во встрече королевы и её супруга. И потому «многим представителям российской власти, приглашённым на приём, пришлось ехать в театры и на Мосфильм, чтобы взять напрокат смокинги. В соответствии с королевским протоколом форма одежды для мужчин была Black tie. Хорошо ещё, что женщинам разрешалось быть без шляпок», — вспоминает Владимир Шумейко, в ту пору председатель Совета Федерации, третье лицо в государственной иерархии⁹. Бабочки найти оказалось проще.

В итоге всё прошло по протоколу — а это главное для английской королевы! Ведь даже попытка любезно помочь ей снять пальто со стороны президента могла быть истолкована как недопустимая. Борис Ельцин с супругой встретили королевскую чету в Кремле: «Здравствуйте, Ваше Величество, раздевайтесь, пожалуйста, здесь не холодно!» Никогда ранее ни один британский монарх на русскую землю не ступал, так что визит стал историческим. Поселили гостей в Кремле. Два дня пребывания в столице предусматривали почти полсотни мероприятий, но пролетели для королевской семьи незаметно: осмотр достопримечательностей, встреча с патриархом Московским Алексием II, открытие музея «Старый английский двор» на Варварке, осмотр икон в Третьяковской галерее, посещение спецшколы с углублённым изучением английского языка (ну без этого-то никак!). А ещё прогулка по Красной площади, с которой куда-то подевались люди. Зато нашёлся у храма Василия Блаженного мэр Москвы Юрий Лужков, улыбающийся, но почему-то без кепки. Частью культурной программы Елизаветы II и принца Филиппа стало совместное посещение (с Борисом и Наиной Ельциными) Большого театра, где давали балет «Жизель». В Грановитой палате Кремля был дан официальный приём в честь королевы: «Мы с вами большую часть нашей жизни верили, что этот вечер никогда не состоится. Я надеюсь, что вы так же, как и я, рады, что вам доказали нашу неправоту», — поблагодарила королева.

Это был первый и последний её визит в Россию — два раза королева в одну страну не приезжает, по протоколу.

Культура лихих девяностых тем и отличается от культуры эпохи застоя или оттепели, что её очень сложно структурировать. Она как бутерброд, как ирландское рагу, в котором что только не намешано. Повседневная жизнь была частью этой культуры. Взять хотя бы кинематограф. Кинотеатры Москвы опустели, популярным стал домашний просмотр кинофильмов на видеоплеерах. Видеопрокатов в столице расплодилось достаточно. Можно было взять кассету и на день, и на два. А там, где когда-то стояли очереди в кассу, теперь стали торговать автомашинами. В частности знаменитый кинотеатр «Ударник», открытый в 1931 году как самый большой в СССР звуковой кинотеатр с залом на 1500 мест и задуманный для просмотров под открытым небом (крыша должна была раздвигаться). Долгое время «Ударник» считался главным кинотеатром Советского Союза. В девяностые в фойе кинотеатра устроили вещевой рынок, затем автосалон компании «ЛогоВАЗ». Здесь же можно было прикупить по случаю элитное авто — Мерседес 600, Вольво и т.д. Вспоминается и совершенно пустой зал на дневном показе кинофильма «Сибирский цирюльник» в кинотеатре «Зарядье» в 1996 году. Сегодня такого кинотеатра уже нет.

Но кино все равно смотрели, пусть и дома. Много было т.н. чернухи — откровенных сцен с насилием и порнографией. Далеко не все народные артисты готовы были пойти на компромисс с собственной творческой совестью и участвовать в кинохалтуре: «Сейчас в фильмах много грязи, после них хочется либо запить, либо повеситься», — говорил в телеинтервью Владимир Ивашов. Но другие снимались, и весьма активно. Главное было найти финансирование и снять то, что соответствовало бы представлению спонсора о кино как способе зарабатывания денег. Кинопрокат и его главную цель — получение прибыли — ещё никто не отменял. Вложенные средства необходимо было вернуть. Это ведь вам не советское время, когда снимали «Андрей Рублёв», «Листопад», «Цвет граната» и подобные образцы киноискусства, не рассчитанные на массового зрителя.

Составим примерный список фильмов, которые смотрели в девяностые: «Такси-блюз», «Луна-парк», «Утомлённые солнцем», «Особенности национальной охоты», «Ширли-Мырли», «Сны», «Брат», «Небеса обетованные», «Окраина», «Про уродов и людей», «Ворошиловский стрелок», «Импотент», «Бабник», «Американский дедушка». Какие разные по уровню картины! Но ведь все они находили своего зрителя. Здесь и комедии, и фарс, и нуар, и просто чепуха. А насколько лихо изменилось отечественное кино... Советские зрители в лицо знали Алексея Баталова, Иннокентия Смоктуновского, Олега Стриженова, Олега Даля. Каждый из них по-своему характеризовал эпоху, будь то оттепель или застой. Вот и девяностые в кино так же имеют свои ярко выраженные лица: Виктор Сухоруков, Алексей Булдаков, Пётр Мамонов, Сергей Бодров, Михаил Кокшенов. Трудно представить их вместе, но придётся.

Свобода в кино, иными кинематографистами порицаемая как полный беспредел, а другими воспеваемая, приводила не только к деградации искусства, но и к смелым экспериментам, благодаря чему российское кино было широко представлено на престижных фестивалях в США и Европе. Даже в Советском Союзе не удалось достичь столь весомого результата, как, например, в истории с премией «Оскар». В общем и целом кинофильмы Советского Союза девять раз входили в шорт-лист премии, а три удостоились «Оскара»: «Война и мир» (1967), «Дерсу Узала» (1975)

и «Москва слезам не верит» (1980). А российские фильмы с 1992 по 1999 годы четыре раза попадали в шорт-лист, из них победы удостоился фильм «Утомлённые солнцем» в 1995 году. С тех пор «Оскар» за художественное кино у нас больше не было.

И хотя фильм Н. Михалкова рассказывает о событиях 1930-х годов, актуальность его была отмечена культурологами: «В подспудной атмосфере страха, скрытой за дачной идиллией, угадывается ужас позднесоветского поколения, привыкшего к стабильности и домашнему уюту, перед наступающим правовым беспределом, произволом силовых структур и разгулом бандитизма»¹⁰. Мало того, один из актёров фильма уже позже непосредственно принимал участие в бандитских разборках¹¹.

Атмосфера краха прошлой жизни весьма точно соответствовала настроением в обществе. И самое главное, что крах этот был неминуем и предreshён. Так же, как и многие белые командиры, изменившие присяге в 1917-м и перешедшие на сторону большевиков, были обречены на гибель в 1937-м. Так и те, кто усердно расшатывал — вольно или невольно — основы советского строя, не понимая этого, в конце концов погибли под обломками некогда несокрушимой империи. Комдива было так же жалко, как и журналиста, пристреленного киллером. И неслучайно, что роль комдива сыграл сам кинорежиссёр — Н. Михалков. Это также было ответом на веяние времени. Прежде он очень выразительно выступал в ролях совсем иных героев: хамоватый проводник-спекулянт из фильма «Вокзал для двоих», беспределщик-директор автосервиса в фильме «Инспектор ГАИ», атаман бандитов из своего же фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». И всё это люди, умеющие жить, прежде всего по своим законам, им удобным и понятным. То есть — по понятиям, что и является основной морально-нравственной характеристикой происходящего.

Кинокритики, пытавшиеся найти секрет успеха оscarоносного фильма, утверждали, что «по форме “Утомлённые солнцем” следуют традиции “брежневского кино со знаком качества”: интимный психологизм и живописная красивость в первой половине сменяются во второй реанимацией большого эпического стиля, — унесённого ветром истории и вызывающего ностальгическую боль. Что касается содержания, то это и есть наши “Унесённые ветром” — консервативный кинороман с любовной интригой, спроецированной на плоскость истории»¹². В девяностые эта плоскость оказалась заметно изъедена бесконечными попытками переписать историю заново, что в итоге не удалось. Советская история таковой и осталась.

Советский кинематограф отличался уникальной способностью к конъюнктуре. Когда нужно было славить Сталина — снимали кино про любимого вождя. Потом эти же режиссёры принялись разоблачать культ личности уже в новых своих фильмах. Нужно было отправлять народ на целину — снимали про Ивана Бровкина и т.д., и т.п. Так вышло и в девяностые: возник в обществе запрос на справедливость, немедля удовлетворённый кинематографистами. «Мой лучший фильм — “Ворошиловский стрелок”. Я сам представитель власти, но и я оправдываю старика, решившегося на месть. Это даже не месть, а возмездие, которое должно было совершить государство. Если возмездие не настигает преступников, люди начинают жить по законам джунглей», — с гордостью говорил Станислав Говорухин, в честь которого ныне в Москве названа набережная.

Ничего нового в этом фильме не прозвучало. Тема самосуда — любимая для мирового кино. Да взять хотя бы фильм «Героин» с Жаном Габеном 1970 года совместного производства Италии, Франции и ФРГ. В каждой стране он выходил в прокат под разными названиями: «Беспощадный» в Германии, «Клан жестоких людей»

в Италии, «Правосудие без слов» в Испании, а в СССР — самое нейтральное — «Тайна фермы Мессе». Главный герой живёт во французской глубинке в конце 1960-х годов. Старый фермер — хозяин своей земли — сам вершит суд и в своей семье, и за её пределами. Эта роль словно специально написана для любящего помолчать Жана Габена (лучшее качество актёра!). Вооружась винтовкой, он расправляется со всеми своими обидчиками. Компетентные органы не способны его остановить и осудить. Домой из полиции он возвращается героем. Сюжет хрестоматийный. В СССР фильм критиковали за образ главного персонажа, идеализирующий мелких буржуа (как основу капиталистического строя), но пришло время эту критику отбросить. Идеализация потребовалась не буржуа, а простым гражданам — пенсионерам, рабочим и крестьянам, ищущим справедливости и защиты. Михаил Ульянов ранее играл положительных персонажей — председателя колхоза, маршала, большого начальника. В фильме «Ворошиловский стрелок» 1997 года он — честный простой человек, измученный жизнью и беспределом, поднимается в полный рост, словно из окопа, и идёт на врагов — новых русских, хулиганов, бандитов. Убедительное исполнение роли пенсионера Ивана Фёдоровича не только принесло актёру многие кинонаграды, вновь сделав его популярным, но и отозвалось в сердцах бывших советских зрителей. Ульянову поверили — значит, и нам так можно!

Так же, как когда-то вслед за Иваном Бровкиным ехали на целину, так и теперь люди по примеру «ворошиловского стрелка» взялись за оружие. Романтизация мести и самосуда, превращение словосочетания «ворошиловский стрелок» в нарицательное — это лишь теоретические последствия кинопроката этого фильма, а практически стало появление реальных народных мстителей. Только конец у них был печальный — суд и тюремное заключение. Не как в кино. Вот один из примеров: «Пасечник Александр Таран из села Александровского страшно отомстил за своих погибших детей. Сам вынес приговор и сам стал палачом. Два года выслеживал тех, кого считал виновными. Тайно, не оставляя следов, их убивал. Трёх он застрелил, четвёртого тяжело ранил, оставив инвалидом. Двое из его жертв были милиционерами. Шокирующее дело расследовали сотрудники Ставропольского управления Следственного комитета при прокуратуре РФ. Сначала сыщики считали, что террор в селе устроили местные бандиты. Но мстителем оказался 57-летний пасечник. Раскрыли его преступления спустя четыре года после последнего убийства», — поделилась новостью «Российская газета». И заключала: «Страшно то, что образ “ворошиловского стрелка” находит одобрение. Возможно, мысль о самосуде возникает как ответная реакция на устойчивое убеждение, что справедливого суда не дождёшься, что преступники откупятся от милиции, что богатые всегда уйдут от уголовной статьи. Так нередко люди становятся палачами — и себе, и окружающим»¹³. А вот и реакция Станислава Говорухина: «Честно говоря, я уже устал комментировать все эти случаи, обсуждать последователей “ворошиловского стрелка”». Он устал. А люди-то поверили. И верят до сих пор, считая самосуд последней возможностью найти справедливость.

Этой же мыслью пропитан и фильм «Брат» Алексея Балабанова, вышедший на экран в 1997 году. И если пенсионер-стрелок Иван Фёдорович уже старенький и перестрелять всех бандитов-паразитов просто не успеет, то на смену ему придёт не менее надёжный и меткий Данила Багров, годящийся ему во внуки. Его роль исполнил Сергей Бодров-младший. По сценарию ему едва за двадцать, но пороку уже понюхал: он участник Первой чеченской войны, хорошо дерётся, знает минно-взрывное дело и тактику боя в городских условиях, короче — наш Рэмбо или Робин Гуд. А ещё прост, скромн, морально устойчив и непримирим к любой несправедливости, готов помочь

первому встречному. Любит слушать Nautilus Pompilius и «ДДТ». Единомышленник Данилы — говорухинский пенсионер — такую музыку не знает, он предпочитает «Одинокую гармонь» Бориса Мокроусова, но это неважно. Вместе они — сила.

Образ Данилы Багрова давно уже стал жить отдельно от фильма «Брат» и его продолжения «Брат-2». Попытки найти истоки образа Данилы в русском фольклоре выглядят смешными и неубедительными. И ведь что только ни пишут, размышляя об «аллюзиях». Дескать, это наш русский народный герой — «благородный разбойник». У нас в былинах был один такой разбойник — Соловей (да ещё и пушкинский Дубровский). Но лучше их не приплетать. А боролся с ним как раз наш Илья Муромец, богатырь былинный. Но с Данилой у него мало общего, ибо Илья спал на печке тридцать лет и три года, ему уже и лет-то сколько! Да и служил он князю Владимиру. А Данила Багров — это ни что иное как порождение лихих девяностых, и никому он не служил, а сам по себе.

Мстя за обиженных, Данила-философ ищет ответ на свой вопрос: «В чём сила, брат?» Но мы-то, русские люди, давно это знаем: «Не в силе Бог, а в правде». Слова эти приписывают Александру Невскому. И Данила тоже так считает: «Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильнее». Это, конечно, верно. Но именно девяностые — сама повседневная жизнь — дали наиболее верный ответ: у кого сила, тот и прав. И не зря Данила ходит по городу с обрезом. И правильно делает. Так безопаснее.

А вот и ещё одни искатели правды — хуторяне с Урала, у которых новые русские отняли родную и святую землю. Это герои фильма Петра Луцика и Алексея Саморядова «Окраина» 1998 года. И поднимаются люди — «старые русские» — на смертный бой, прямо как в кантате Сергея Прокофьева к фильму «Александр Невский». Любой ценой они хотят восстановить справедливость: мучают, пытаются, убивают врагов и предателей. Даже дитя малое сажают на раскалённую печку — ради правды. А работника обкома партии просто загрызли: «Терпеть не могу обкомовцев. Даже мёртвых», — говорит колхозник Колька Полуянов в исполнении Николая Олялина. Но куда они идут искать правды? В Москву, туда, где в небоскрёбе, как Кашей, чахнет над золотом нефтяной олигарх. И край ему приходит полный. И Москве тоже — её поджигают. А земля в итоге вновь у колхозников. Пашут они и сеют. Конец.

«Окраина» очень не понравилась — и теленачалству девяностых, и той части культурной общественности, что не скрывала своего негативного отношения к колхозно-советскому периоду нашей истории, назвав фильм «маргинальной лентой о маргиналах». Премьера прошла по-тихому на второразрядном телеканале. Оно и понятно — персонажи-правдорубы обряжены в одежду времён Гражданской войны. Окраина — это вся Россия, центром которой является Москва. Ассоциации нехорошие какие-то напрашиваются. Не кино, а «натуральный кинематографический теракт», как резко выразился один из критиков. А заслуженный киновед Майя Туровская озвучила следующий приговор: «С высоким соц-артистизмом фильм демонстрирует, что могло бы быть, если бы герои историко-революционного мифа стали действующими лицами конца века. Горит нефтяная высотка, заволакивается дымом рисованный кремль...»¹⁴ Иными словами — что было бы, если б в октябре 1993 года история повернула вспять. Тогда деятели российской культуры обратились к Борису Ельцину с открытым письмом, требуя принятия жестоких мер в отношении тех, кто засел в т.н. Белом доме. Письмо это подписали сорок два известных человека, оно в народе получило название «Раздавите гадину!». Те же, кто не подписал,

присоединились позже. Так, писателю Василию Аксёнову приписывают слова: «Этих сволочей надо было стрелять. Если бы я был в Москве, то тоже подписал бы это письмо в “Известиях”»¹⁵. Ещё бы! Бунт-то русский, он бессмысленный и беспощадный...

«Окраина» не дала в прокате больших сборов, что дезориентировало противников фильма. Они не уяснили, что главной аудиторией этой «маргинальной ленты» и была творческая интеллигенция. Напуганная культурная общественность принялась камуфлировать простую в общем-то суть фильма о кровной мести всякого рода размышлениями: «В фильме персонажи живут по законам фольклорного эпоса, отсюда симбиоз людей и земли, на которой они родились, и утрата которой равносильна смерти», или «Луцик стилизовал стереотипы обобщенной исторической образности в киногоенических традициях самой этой образности, которая у Луцика не исчерпывается ни законами соцреализма, ни соцарта. Лубочный монументализм и эпическая жестокость “Окраины” нивелируются гротесковой абсурдностью». Вот как.

Хотя всё предельно ясно: правда — хорошо, а счастье лучше. А счастье для русского человека в справедливости состоит. Но чтобы справедливости добиться, нужно много испытать и преодолеть, как в сказке: «Смерть Кощеева на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кошей как свой глаз бережёт». А дерево-то в Москве стоит. Не зря и Данила Багров, и уральские пахари идут в Москву разбираться... Вот и получается, что кинематограф девяностых воплотил вековую мечту русского человека о справедливости, которую ни в 1917-м, ни в 1991-м осуществить не удалось. И удастся ли когда — не знаю...

Борющиеся за справедливость персонажи «Ворошиловского стрелка», «Брата», «Окраины» утверждали своё право жить по понятиям. Если уж те, кто их обидел, так живут, то почему они не могут? Только понятия бывают разные и от законов, по которым живёт нормальное общество, отличаются тем, что границ не имеют. Потому вся правда — в силе, а не наоборот. А разве сейчас не так?

Фильмы в девяностые выпускались один за одним, лепились как пельмени. Некий режиссёр даже хвалился, что снимает свои одноклеточные комедии всего за три дня. Качество было соответствующим. А народные артисты были вынуждены соглашаться даже на такие роли, в которых их лет двадцать назад и представить было невозможно. Например, в комедии «Американский дедушка» 1993 года Народный артист СССР Евгений Леонов снимался и вовсе без штанов. Эта роль оказалась для него последней.

Репертуар московских кинотеатров всегда можно было узнать из уличных стендов, стоявших около автобусных остановок. Здесь же и аршинными буквами печатали название очередной премьеры. В девяностые в Россию хлынул поток японских фильмов не первой свежести. Например, «Империя чувств» 1976 года. Фильм про двух извращенцев был настолько откровенным, что его запретили к широкому прокату не только в Европе, но и в Америке. Иными словами, самая настоящая порнография, но отмеченная на Каннском фестивале. Само собой, что вот эту самую «Империю чувств» кинопрокатчики посчитали нужным привезти в Москву в 1990 году. Но пока была советская власть, прокатное удостоверение не выдавали, его удалось получить лишь после августа 1991 года. И пошла гулять по экранам Москвы и России эта «империя», по сию пору входящая в число самых шокирующих кинофильмов XX века. Пересказывать содержанию не буду — даже не возьмусь указать возрастное ограничение, по-моему, 75+.

Воры и бандиты, наркоманы и проститутки — это всё герои фильмов девяностых, занявшие место комбайнёров и сталеваров, передовиков производства и ударников коммунистического труда. И это было объяснимо: заводы развалены, колхозы распушены. Теперь ударно можно было трудиться на вещевом рынке и в бригаде рэкетиров, в палатке у метро и с тряпкой на шоссе. И потому мэтры советского кино снимали уже иные фильмы, например, «Небеса обетованные» и «Старые клячи» о жизни обнищавшей московской интеллигенции. Но подняться до прежнего уровня мастерства не удавалось. И потому зарубежный кинематограф брал верх: в видеопрокатах Москвы в девяностые наибольшим спросом пользовались «Один дома», «Бойцовский клуб», «Зелёная миля», «Побег из Шоушенка», «Титаник», «Леон», «Форрест Гамп», «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Маска», «Люди в чёрном», «Молчание ягнят», «Основной инстинкт» и многие другие фильмы.

Телевидение девяностых также зеркально отражало повседневную жизнь. Если при советской власти телецензура требовала показывать зрителю лишь то, что не противоречило официальной идеологии, то теперь голубой экран превратился в огромную стиральную машину, куда тащили всё что ни попадя. Число телеканалов выросло в разы. Раньше их можно было пересчитать по пальцам, теперь же кнопок на пульте не хватало. Помимо первого, называвшегося тогда ОРТ (Общественное российское телевидение), появились РТР на второй кнопке, затем НТВ, СТС, ТВ6, РЕН-ТВ, «Культура» и другие. И каждый канал формировал своё лицо и свою зрительскую аудиторию.

Но некоторые традиции всё же остались. Например, в т.н. период застоя в программе «Время» немалую долю хронометража занимали новости про генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Согласно установке, эта информация всегда шла первой: с кем встретился «дорогой Леонид Ильич», чем его наградили, кого наградил он и т.д. Посему в народе советское телевидение шутливо прозвали «И это всё о нём» (о Брежневе).

Казалось бы, при отсутствии Гостелерадио СССР телевизионщики сами вольны были выбирать, когда и сколько минут показывать главу независимой России. Но не тут-то было: на всём протяжении девяностых Борис Ельцин буквально не слезал с экрана. Он был главным ньюсмейкером. Вот и опять мы вспомнили словечко эпохи, ею порожденное. Ньюсмейкер — это человек-источник, владеющий необходимой по глубине и уровню доверия информацией. В буквальном переводе с английского — «тот, кто делает новости». Ньюсмейкеры разделяются на должностных (чиновников, политиков, бизнесменов), харизматических (благодаря своим ярким личным качествам) и ненамеренным (случайные очевидцы произошедшего).

Борис Николаевич сочетал в себе и первое, и второе. Харизма — ещё одно словечко девяностых — была у него ещё та! Ну а должность сама по себе обязывала быть в гуще событий. Началось все ещё в 1990 году, а в августе 1991-го он особо отличился, храбро забравшись на танк. И так всё его президентство. Кульминацией присутствия Бориса Ельцина на телеэкране можно считать концерт в прямом эфире 31 августа 1994 года на торжественной церемонии, посвящённой выводу российских войск из Германии. Центром церемонии стал Трептов-парк, где возвышается знаменитая скульптура советского воина-освободителя со спасённой немецкой девочкой на руках.

Уже многие позабыли повод, по которому Борис Ельцин оказался в Берлине, а вот это представление помнят до сих пор и ещё долго-долго будут вспоминать. Глава России, быть может, впервые выступил в роли не зрителя, а артиста, дирижёра. После употребления спиртного его сильно разморило на ярком солнце: «Никакого умения

у Бориса Николаевича не было, но это не помешало ему выхватить у обалдевшего дирижёра палочку и обосноваться за пультом. Ельцин размахивал руками так эмоционально и убедительно, что вполне мог сойти за автора исполняемого музыкального произведения. И зрители, и корреспонденты, и музыканты тоже сильно развеселились. Ничего подобного они нигде и никогда не наблюдали, да и вряд ли ещё увидят. А президент принял улюлюканья и вопли за восторженное признание своего дирижерского таланта. Рядом со мной за “концертом провинциальной филармонии” наблюдал Владимир Шумейко — в то время председатель Совета Федерации. Он держал меня за руку и утешал: “Александр Васильевич, я тебя прошу, успокойся. Подожди... Ничего страшного пока не произошло...”

Намахавшись палочкой, Ельцин решил пропеть несколько куплетов из “Калинки-малинки”. Всех слов он не знал, зато отдельные фразы тянул с чувством, зычным громким голосом. Обычно исполнение “Калинки” сопровождалось игрой на ложках. Но их, к счастью, сегодня под рукой не оказалось. Позднее моя жена рассказала, что в те дни НТВ бесконечно повторяло кадры “показательных” выступлений Ельцина. И она плакала от стыда за нашу страну, чувствовала, как мне мучительно в Германии управляться с “дирижёром”. Исполнив полтора куплета “Калинки-малинки”, президент не без помощи Кузнецова снова оказался в автобусе, — свидетельствовал Александр Коржаков¹⁶.

В этом эпизоде очень много сошлось с точки зрения культуры лихих девяностых. Во-первых, дирижирование. Во-вторых, исполнение русских народных песен. В-третьих, телевидение. Сразу три разных вида искусства! А ещё говорят, что в ту эпоху много было на экране «чернухи». Но ведь это как посмотреть... Важным и для самого героя этих «Новостей культуры», и для всех остальных оказалось не то, что пагубная привычка уже сама по себе позорит главу любого государства, а совсем иное: телевизионная картинка. Если бы он дирижировал у себя дома, это не произвело бы столь сильного и печального впечатления. Об этом, собственно, пишет и Борис Немцов:

«Я зашёл в президентские апартаменты. Ельцин сидит на диване не в очень хорошей форме и злобно смотрит.

— Зачем вы пришли?

— Борис Николаевич, у всей нашей делегации сложилось мнение, что как-то нехорошо получилось с оркестром. Надо скорректировать программу, в том числе и выпивку, поскольку предстоит ещё огромный приём в нашем посольстве от вашего имени. Коль придёт много других известных политиков, надо чтобы всё было достойно.

— А что, я плохо поступил с оркестром?

— Плохо — не то слово.

— Откуда вы знаете?

— Все телеканалы показывают.

— Ну, включите телевизор.

Я включил телевизор. По всем телеканалам показывали картинку, как Ельцин дирижирует оркестром. Я переключаю кнопки пульта, а картинка не меняется: это было похоже на то, как в Советском Союзе по всем каналам показывали «Лебединое озеро», когда в стране объявляли траур.

— Это же ужас какой-то. Неужели я так выгляжу? — спросил Ельцин.

Договорились, что на сегодня с выпивкой хватит»¹⁷.

То есть плохо не то, что человек пьёт как лошадь, а то, что это показывают по телевидению. Весьма характерный штрих для иллюстрации эпохи. И опять же о «лихости»: всё перевернулось вверх ногами, президент дирижирует! Хорошо ещё, что какому-то дирижёру не пришло в голову выдвинуться в президенты.

«Нехорошее выступление с оркестром» не помешало Борису Николаевичу и дальше представлять нашу культуру на самых разных сценах. Во время избирательной компании 1996 года Ельцин выступил уже в другом жанре — танцевальном. Это было в Ростове-на-Дону. Он вышел на сцену, сплясав под аккомпанемент вокально-инструментального оркестра. А фотография танцующего президента обошла весь мир, её автор журналист Александр Земляниченко удостоился престижной Пулитцеровской премии... Перед теми выборами все автобусные остановки Москвы были заклеены плакатом «Выбирай сердцем», на котором был изображён Борис Ельцин, стоящий спиной к дереву с заведёнными за спину (!) руками. Глубокомысленный посыл, что выбирать главу государства следует не головой, а другими органами — мыслящими, — на удивление оправдался.

Не смотря на то, что сразу после выборов 1996 года Ельцин объявил о своей болезни, а затем и серьёзно снизил свою «культурную» активность, поводов для появления на телевидении он давал немало. Только теперь уже по иной причине: то и дело президент России попадал на больничную койку. Тележурналисты стали употреблять новое выражение: «Борис Николаевич работает с документами» или «у президента крепкое рукопожатие». Самого Ельцина показывали реже, а вот ворота ЦКБ — Центральной клинической больницы — запомнились многим. У них и собирались телеоператоры и корреспонденты, чтобы показать хоть какую-то картинку. Выходя на некоторое время из больницы, Борис Николаевич ненадолго вновь появлялся на телеэкранах. Говорил он мало, но ёмко: «Вот такая вот загогулина получается». Или: «Вот мы и сделали такую рокировку сильную. И тут поставили на место, и тут — на место». А вот самое лаконичное: «Не так сели!»

Во второй половине девяностых телевизионная жизнь начиналась с понедельника. Почему-то именно в этот день Борис Ельцин принимал кадровые решения: то одного снимет, то другого назначит. Потом народу объяснили — оказывается, президент преемника себе искал. Потому и следил, чтобы «так сели». И самое важное, что лихие девяностые так же закончились — по телевизору. 31 декабря 1999 года Борис Ельцин подал в отставку, обратившись к народу с телеэкрана, и даже повинившись за несбывшиеся мечты.

Отсутствие Бориса Ельцина на телеэкранах в период его болезней с лихвой компенсировала его большая ростовая кукла. Была такая весьма популярная юмористически-политическая программа «Куклы», выходившая с 1994 года на канале НТВ. Даже анекдот родился: «Плохо, когда президент в программе “Куклы” выглядит лучше, чем в программе “Вести”». А в 1998 году на том же телеканале кукла президента поздравляла Россию с Новым годом, точнее «дорогих россиян». Это выражение у Сергея Безрукова, озвучивавшего многих персонажей-кукол, получалось особенно точно, по-ельцински. С авторами программы пробовали судиться, пробовали её закрыть, но ничего не выходило: она стала частью повседневной жизни. В итоге с ней просто смирились.

Рейтинг многих российских политиков определялся присутствием их кукол в этой десятиминутной программе. «В тяжёлые 90-е годы при Борисе Ельцине неплохим громоотводом служила сатирическая программа НТВ “Куклы”. Кусачими были и аналитические программы. Деньги обесценились, заводы и нефтепромыслы

прикармливали олигархи. Страна залезла в долги. Но в качестве моральной компенсации можно было вволю посмеяться над Ельциным, Хасбулатовым, Гайдаром, Коржаковым, Грачёвым, Березовским...» — считает бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Вячеслав Костиков¹⁸. Примечательно, что даже старт этой телепередачи произошёл в духе лихих девяностых — в декабре 1994 года несколько кукол были украдены.

Выпуски «Кукол» не всегда были одинаково смешными, ибо не каждый день политики давали повод остроумно над ними шутить. Но некоторые программы с интересом смотрятся и сегодня — как источник объективных сведений о повседневности. Забавными вышли выпуски, посвященные выборам 1996 года, когда возникла т.н. семибанкирщина — неформальное объединение олигархов, поддержавших Бориса Ельцина. «Чуть позже проступила Семибанкирщина, напрямую сговорившаяся контролировать высшую власть над Россией. (Почти 50% экономики страны — уже в их руках, а будет и больше. По самым новейшим данным — 15 крупнейших компаний и банков контролируют 70% экономики страны», — писал Александр Солженицын¹⁹. Куклу писателя так же показывали в передаче.

На советском телевидении была одна юмористическая программа — «Вокруг смеха». На российском их стало много. Каждый телеканал пытался предложить зрителю что-то своё в зависимости от уровня аудитории, будь то юмор «ниже плинтуса» или шутки, претендующие на остроумие. Выбор был огромным: «Городок» и «Каламбур», «Аншлаг» и «Белый попугай», «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу», «О.С.П.-студия» и «Сам себе режиссёр», «Оба-на» и «Смехопанорама». В передаче «Осторожно, модерн!» начинал свой трудовой путь Дмитрий Нагиев, игравший массу ролей, но его творческой вершиной стал придурковатый прапорщик Задов. Подумать только. Кто бы мог тогда предполагать... Короче говоря, смотри — не хочу. Остался с советского времени и КВН, превратившийся из вполне себе студенческого конкурса самодеятельности в прибыльную медиа-империю.

Но именно программы «Городок» (специфический персонаж Модест в исполнении Юрия Стоянова) и «Осторожно, модерн!» сыграли основную роль в легитимизации маргинала как «героя нашего времени». Отчасти эту же функцию выполнил и фильм «Окраина», где о серьёзных вещах говорили с едва заметной ухмылкой. Что же касается передач юмористических, то там уже ничего не скрывалось, исходя из принципа «в каждой шутке есть доля правды».

Развитие получили и телесериалы. Прежде они назывались долго и тягуче — «многосерийный телевизионный художественный фильм» (в 1970-е годы снимались они в основном по произведениям советских писателей о жизни колхозников и рабочего класса). Теперь же возникло короткое и ясное название — мыло, т.е. мыльные оперы. Главной стала «Санта-Барбара» — самый длинный американский сериал, транслировавшийся в России, из жизни обитателей калифорнийского города Санта-Барбара. Показывать его на канале РТР начали с 217 серии 2 января 1992 года. Сериал крутили на протяжении лихих девяностых, немного захватив и сытые двухтысячные, — по апрель 2002 года.

Просмотр «Санты-Барбары» стал частью повседневной жизни, три дня в неделю — в среду, четверг и пятницу (а затем и чаще) — после новостей спешили москвичи к телевизору, дабы узнать о буднях-праздниках богатого и разветвлённого клана Кэпвеллов. Глава семьи Си Си, его супруга Джина, а также другие родственники — Мэйсон, Келли, Иден, Тед и другие персонажи — стали родными для телезрителей. А ещё там были семьи Локриджей, Андраде и Перкинсов. Необычным казалось то,

что актёры периодически менялись. Например, роль Си Си за десять лет исполнило аж шесть актёров. Но постепенно привыкли и к этому. О популярности сериала свидетельствует тот факт, что уже показанные накануне серии к радости его поклонников повторяли на следующий день по утрам. Многие смотрели дважды, пересказывая друг другу содержание.

Появились анекдоты про Санту-Барбару. Жена говорит мужу: «Я уеду жить в Санту-Барбару!» — «Да ты же языком не владеешь! Как ты там будешь?» — «Зато я там всех знаю!» Или такой: «После того, как врач осмотрел Си Си в коме, Джина спрашивает у врача: “Доктор, скажите, каково состояние моего мужа? У меня хотя бы есть надежда?” — “Это зависит от того, на что вы надеетесь”». Откроем дневники и воспоминания о девяностых, чтобы оценить, какую огромную роль в ту эпоху играл этот сериал и какое важное место занимал в повседневной жизни людей:

«Дочка услышала фамилию в “Санта-Барбаре” Чумаков, и теперь всех обзывает, все игрушки — шенок, котик резиновый, — “Чумаков”. И ещё рука-чесалка — тоже “чумаков”. Сначала и себя тоже так же величала. Спрашиваем: “Яна, как твоя фамилия?” “Чумаков”. Господи! — думаю, откуда такая фамилия? Оказывается, из “Санта-Барбары”, там кто-то озвучивает под этой фамилией. Хотя дочь знает прекрасно и свою собственную».

«Начал подсчёты числа общих видов для пар комплексов приабона. Думал и над текстом статьи, написал кусочки о Египте. Решил не ехать завтра с бабушками, чтобы подготовиться к послезавтрашней поездке с “гаванцами”, купить еду и т.д. (по будним вечерам не успеваешь это сделать, так как с работы летишь домой к семи часам на “Санта-Барбару”»).

«Вечер был ясный (в отличие от вчерашнего, дождливого) день, я колебался, ехать домой смотреть “Санта-Барбару” или в Филёвский парк. Победила “Санта-Барбара”, но потом решил всё-таки поехать в парк в восемь часов, после фильма».

«Общался с Александрой Ивановной, проводил её домой, у неё смотрели “Санта-Барбару”, было уютно».

«Я, как обычно, дежурил с 11 до часу, немного после обеда и с 6.30 до 9 (после “Санта-Барбары”). Народу было мало. Единственная радость: на выборах Ельцин победил Зюганова, наши голоса не пропали».

«Вечером смотрел очередную серию “Санта-Барбары”, чуть более светлую, чем вчерашняя, но ещё более нервную. После неё я решил позвонить Вере Алексеевне убедиться, что с ней не случился инфаркт. Кажется, всё в порядке».

«Сегодня отменили “Санта-Барбару” и другие развлекательные передачи: объявили день траура из-за землетрясения в Нефтегорске на Сахалине, разрушившего этот город (жертв больше тысячи)».

«Когда бабушка пошла смотреть “Санта-Барбару”, я сшила хорошенький мешочек, в котором Барби может носить игрушечную собачку. Одним словом, делала что надо».

«США в девяностые стали другом России. В массовой культуре, информационном пространстве, образовании — везде продвигался позитивный образ этой страны. В новостях Ельцин и Клинтон в обнимку хохотали на встречах и пресс-конференциях. Западные ценности казались идеалом. И просмотр “Санта-Барбары” убеждал нас в этом ещё сильнее. Атмосфера в девяностые была какой-то серой. Часто отключали воду и электричество. Помню, мы часами стояли в очередях за продуктами.

Одевались плохо. Но вечерами в эту рутину врывается «Санта-Барбара», и жизнь становилась ярче. Любовь, дружба, предательство, интриги — вот и все проблемы главных героев. Они не стояли, как мы, в очередях за хлебом и маслом. И это притягивало. Под влиянием сериала я начала изучать английский язык».

«Я вырос в детском доме. К просмотру сериала мы готовились с самого утра. Девочки выбирали места поближе к телевизору, мальчики стеснялись, но тоже смотрели. Герои «Санта-Барбары» казались нам волшебными. Они необычно одевались, ели непонятную пищу. Мы хотели походить на них».

Я специально не называю даты, имена современников, их возраст, образование и профессию — а зачем? Настолько одинаково восторженной выглядит их реакция: всё побоку, даже выборы и здоровье тёти Маши. Упитанные жители Санта-Барбары явно не стояли в очередях за куриными окорочками и даже не знали, как их готовить. Они в глаза не видели талонов на сахар и водку. Они не давились за билетами «МММ». Но именно поэтому все эти загорелые женщины и поджарые мужчины, одетые с иголочки (и главное — сытые!) для многих телезрителей превратились в образец для подражания. «Дорогие россияне» жили не своими, а их выдуманными проблемами, надеясь, что когда-то станут такими же. Это была своеобразная психотерапия для населения, отвлекающая от суровой реальности. Но если психотерапия имеет свой итог, то реальность никуда не девается — вот она, в подъезде, где кто-то из жильцов выкрутил лампочку.

Причём речь не шла даже о художественности сериала. К этому претензий не было, ибо мыло — оно и есть мыло. Странно другое: бывшие советские люди, воспитанные на фильмах Михаила Ромма, Михаила Калатозова, Андрея Тарковского готовы были переживать целыми днями «Санту-Барбару». А когда внезапно трансляция сериала прерывалась, москвичи выходили с плакатами к телецентру Останкино: «Реальная жизнь рушится. Не трогайте сериальную!» или «Не нужно ножек Буша, верните Круза-дорогушу!»²⁰ Некоторые оппозиционно настроенные граждане, не желавшие поддаваться тлетворному влиянию американской киноиндустрии, пришли к выводу, что «Санта-Барбара» есть ни что иное как идеологическая диверсия, ставящая своей целью отвлечь народ от политической активности и борьбы с «антинародным режимом Ельцина». Ещё бы: попробуй выгони людей на улицу с плакатами, когда очередная серия идёт! Они выходили, но только когда сериал отключали. Именно в эти годы впервые и стало употребляться выражение «останкинская телеигла».

Феномен «Санта-Барбары» стал предметом научных и творческих исследований. В особенном недоумении были иностранцы, пытавшиеся понять загадочную русскую душу через призму американской мыльной оперы: «В начале 1992 года, всего через несколько недель после распада Советского Союза, Россию охватило явление, которое по интенсивности могло сравниться разве что со страшно холодной зимой. По всей огромной стране, перед лицом нарастающего хаоса преступности и хаоса в политике, миллионы и миллионы граждан каждую неделю часами смотрели и переживали по поводу событий в американской мыльной опере «Санта-Барбара». В честь сериала называли города. Отели и бары имитировали архитектуру Санта-Барбары. Люди давали своим собакам и кошкам клички в честь главных героев (Иден, Мейсон, Круз). В обиход даже вошла фраза: «Ну что за Санта-Барбара», — то есть «Ну что за мелодрама»», — пишет издание The Telegraph²¹. Вот здесь они не правы. Действительно, название «Санта-Барбара» стало нарицательным, — но им у нас обозначают что-то очень долгое, надоевшее, что никак не кончается.

А всего в России были продемонстрированы 1824 серии из 2137. Немного терпения не хватило.

Среди других любимых переводных телесериалов — «Твин Пикс», «Секретные материалы», «Бeverли-Хиллз 90210», «Друзья», «Зена — королева воинов», «Секс в большом городе», «Мистер Бин» и, конечно, «Альф» — вполне себе безобидный семейный телепродукт с озвучкой Александра Клюквина, голос которого по частоте звучания в ушах современных зрителей опередил самого Юрия Левитана. Не сидели без работы и отечественные киноактёры, снимавшиеся как по «мыльным» зарубежным лекалам, так и по мотивам литературных произведений: «Клубничка», «Мелочи жизни», «Горячев и другие», «Графиня де Монсоро», «Петербургские тайны», «Простые истины», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Каменская» и другие.

Включая свои телевизоры, москвичи готовы были уже ко всему. Недаром народная артистка СССР Мария Миронова всегда держала под рукой тряпку — увидев того или иного опостылевшего персонажа, она плевала в экран. А поводов плевать жизнь давала немало: то очередной мошенник начнет собирать деньги с облапошенного населения, то рубль рухнет, то деноминацию объявят. Или покажут голого министра в сауне с проститутками, а один политик в другого соком плеснёт. А вот депутаты дерутся прямо на заседании. Как интересно... Не то что в советское время, когда народные избранники как роботы руки поднимали — только «за!». А в девяностые наступила не жизнь, а паноптикум. В цирк ходить не надо.

В СССР была только одна передача, сообщавшая криминальные новости, — «Человек и закон». Рассказывали в ней в основном о расхитителях социалистической собственности и несунах. А главное, что каждая передача заканчивалась обнадеживающе: следствие закончено и скоро виновные предстанут перед судом. Но в девяностые оптимизм сменился неизвестностью: каждое третье убийство не удавалось раскрыть по горячим следам.

И потому, если первое место по народной популярности занимали сериалы, отвлекавшие от повседневности, то второе отводили новостям. На каждом канале они были свои, но рассказывали об одном и том же. В лицо знали и ведущих, превратившихся уже в хорошо знакомых приятелей. Теперь в новостных программах первым делом сообщали о том, как кого-то застрелили или взорвали: в машине, в лифте или даже на кладбище. Месяца не проходило, чтобы в Москве не покушались на жизнь самых разных граждан: политиков, бизнесменов, журналистов, артистов и просто авторитетных людей. Страдали и простые люди: в июне 1996 года произошёл взрыв самодельного взрывного устройства, заложенного в вагоне поезда между «Тульской» и «Нагатинской». А в январе 1998 года произошёл взрыв в вестибюле на «Третьяковской».

И всё это телевизионщики на своих каналах спешили сообщить как можно быстрее, наперегонки. Порою корреспонденты приезжали на место преступления даже раньше оперативной группы. Телевидение превратилось в огромную «Криминальную Россию». А уголовные преступления стали частью повседневной жизни благодаря в том числе и средствам массовой информации. Громкие убийства того времени — журналистов Влада Листьева и Дмитрия Холодова, спортсменов — братьев Отари Квантришвили, авторитета Сергея Тимофеева (Сильвестра) и других — навсегда останутся в истории Москвы лихих девяностых в том числе и благодаря телевидению.

У многих потребность смотреть телевизор встала в один ряд с другими надобностями: поесть, попить, подышать свежим воздухом. Жили, не отрываясь

от телевизора: а вдруг чего-то пропустишь? Но почему же раньше такого не было? А потому, что советские новости таковыми не являлись. Их и называли по-другому: «Последние известия». Ибо за журналистами строго надзидала цензура, была информация для всех и отдельно для избранных, т.н. белый ТАСС. Бывший спичрайтер Леонида Брежнева Валерий Игнатенко поясняет: «Это был ограничитель публикаций зарубежной прессы для широкой общественности. То, что они писали о нас, высказывали свою точку зрения на развитие мировых процессов — в экономике, культуре, образовании, международной политике, — было отделено от общества. Была установка такая: мы вам даём то, что хотим»²². Иными словами, новости для народа дозировали, как капли из пипетки. И правда, зачем трудящихся огорчать?

А ещё «Последние известия» докладывались советскими дикторами всегда в одном и том же стиле — хладнокровно и сдержанно. Что бы в стране ни происходило (сняли Горбачёва, не сняли) что бы ни случилось, — уже сам тон сообщаемых известий внушал незыблемость. Теперь же сообщали сразу и всё, будто хотели вывалить на голову помойное ведро. В прямом эфире и как-то нервно. «Мы — нация телевизионная. Социологи подсчитали, что в среднем каждый россиянин (включая детей) проводит у телевизора по четыре часа ежедневно. Если исключить малолеток, то выходит — часов шесть. Смотреть в “ящик” — самое популярное занятие. Причем из 320 зарегистрированных каналов смотрят в основном четыре первых. И им верят. Телевидение стало гигантской виртуальной жизнью нашей нации», — пишет в эти годы народный депутат Пётр Филиппов²³. И с тех пор мало что изменилось, только каналов стало больше, да ещё и интернет появился, который тоже смотрят.

Нельзя не сказать об одной необычной новостной телепередаче из Ленинграда-Петербурга, длившейся всего 600 секунд. Москвичи привыкли, что всё самое лучшее создаётся столичными журналистами. Но эту программу о жизни города на Неве смотрели каждый будний день. Оригинальной была авторская подача материала, порою слишком натуралистичной. Но этим она и привлекала, сделав себе высокий рейтинг. Передачу дважды пытались закрыть — в марте и октябре 1993 года за антиельцинскую позицию. Последний раз это удалось. Много сюжетов этой программы осталось в памяти, особенно тот, где жильцы дома выбрасывают из окна телевизор — символ вранья и т.н. чернухи.

Способность телевидения манипулировать массами заложена уже в самой его основе. Но со всей остротой это проявилось именно в девяностые. И неслучайно в 1996 году появилось такое понятие как телекиллер — журналист, убивающий не из пистолета, а словом. «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», — мечтал Владимир Маяковский. Сбылось с лихвой желание поэта-главаря. Политические распри и предвыборная борьба достигали такого накала, что никакого оружия не надо: достаточно было выпустить на экран такого вот телекиллера, и судьба конкурента решена.

Можно много писать о том, что смотрели по телевизору москвичи. Огромен был выбор — это трудно отрицать. Много было детских и семейных передач: «Звёздный час», «Лего-го», «Позвоните Кузе», «Ключи от Форты Боярд», «Зов джунглей», «Устами младенца», «Денди — Новая реальность», «Брейн-ринг», «Счастливый случай», «Утренняя звезда», «Колесо истории» и другие. Какие-то передачи давно канули в лету, совсем немногие выходят в эфир до сих пор, например, «Поле чудес» и «Пока все дома». Известность получили и ведущие, в частности Сергей Супонев, много сделавший для развития детского телевидения.

В девяностые возникло такое понятие как телерейтинг, он-то и стал определять жизнеспособность программ. Появились и развлекательные шоу, представить которые на советском телевидении было невозможно. Например, «Моя семья», герои которой выворачивали наизнанку не только душу, но и грязное бельё. О популярности программы свидетельствует тот факт, что её постоянно пародировали. В частности в программе бывших квнщиков «Джентльмен-шоу» пародия показательно называлась «Моя шведская семья». Чем больше звучало обвинений в пошлости и безвкусице, тем выше становился рейтинг «Моей семьи». В ответ на обвинения в моральном разложении зрителей телена начальство отвечало, что «пипл хавае». Формула, опять же выведенная в девяностые.

Рейтинговыми были и программы «Любовь с первого взгляда», «Я сама» с Юлией Меньшовой, «Музобоз» с Иваном Демидовым в образе «мужика в черных очках», «Бои гладиаторов», «Золотая лихорадка» с розыгрышем слитка золота, «Империя страсти» с раздеванием, дог-шоу «Я и моя собака» с рекламой собачьего корма. Впрочем, реклама была тогда повсеместной и врывается в телеэфир без предупреждения. Рекламировали всё подряд: и банки (куда деньги нести), и склянки (с водкой внутри). Народные артисты делали это особенно художественно. Евгений Леонов призывал покупать телевизоры импортной марки, а Вячеслав Невинный — куриные кубики.

Но больше всего известных артистов снималось в социальной рекламе под названием «Русский проект», демонстрировавшейся с 1995 по 1997 год. Сценаристом, кстати, был все тот же Пётр Луцик, что делал «Окраину». Целью этого весьма странного проекта была реанимация тех самых качеств, что когда-то пытались пропагандировать телевидение советское: дружба и честность, любовь и верность, вера в светлое будущее. Только вот время было совсем иное. И после каждого «социального» рекламного ролика оно о себе напоминало: то полуголая девица снимет с себя последнее, дабы побольше заработать, то теща расскажет о зяте такое, что хоть стой, хоть падай.

В «Русском проекте» снимались все те, кто когда-то внушал советским людям, что «наше кино — самое лучшее в мире»: Олег Ефремов, Нонна Мордюкова, Олег Табаков, Леонид Куравлёв, Зиновий Гердт, Вахтанг Кикабидзе и многие другие. Фразы их героев ушли в народ: «Дима, помаши рукой маме», «Пить надо всё!», «Это мой город!», «До дождя уберём?». Последняя фраза из жизни хлебобобов была остроумно спародирована в одной из юмористических телепередач, где её повторял киллер, ждущий в подворотне свою жертву. Тогда это было как бы смешно.

Обнищание населения — духовное и материальное — логическим образом привело к банальной человеческой реакции, а именно к ностальгии по лучшим временам, когда деревья были большими, молоко вкусным, зубы своими, а цены постоянными и низкими. Этим-то своевременно и воспользовались «телевизионные деятели искусств», как едко обозвала их в своё время Фаина Раневская. В погоне за телерейтингом они безошибочно выбрали самую прибыльную лошадку — новогодние голубые огоньки, являвшиеся в СССР частью праздничного ритуала по встрече Нового года. «Голубой огонёк» выходил в эфир четверть века, с 1962 года, развлекая советских телезрителей песнями, танцами и юмористическими сценками. Гостями программы были космонавты, сталевары, ткачихи, передовики производства и ударники коммунистического труда — герои той эпохи. Они поздравляли народ с Новым годом, желая ему больших успехов в коммунистическом строительстве. Но уже к концу 1991 года дело дошло до того, что с поздравлением к телезрителям

31 декабря выступил не кто иной, как писатель-сатирик Михаил Задорнов, предваивший выступление президента Бориса Ельцина.

Потом возник цикл «Старые песни о главном» на Общественном российском телевидении (ОРТ, так с 1995 года назывался нынешний Первый канал), умело эксплуатирующий ностальгию телезрителей по советской эпохе. С названием особо заморачиваться не пришлось — «Старые песни о главном» в трёх сериях, первая из которых была продемонстрирована под новый 1996 год. Суть состояла в том, что нынешние певцы девяностых перепевали шлягеры советской эстрады. Сначала действие разворачивалось в декорациях колхоза, следом в доме культуры и, наконец, в павильонах «Мосфильма». И ничего удивительного нет в том, что интерес к советскому песенному наследию укрепился у широкой телеаудитории. Выяснилось, что «песни советских композиторов» не такие уж и «пыльные». Что, оказывается, именно на прошлую эпоху и пришёлся расцвет эстрады, а никак не на тот период, когда всё советское пренебрежительно называли «совком».

А с 1998 года уже по второму телевизионному каналу стал транслироваться в новогоднюю ночь «Голубой огонёк на Шаболовке», по стилю оформления студии призванный напомнить зрителям годы их молодости, когда телевизоры были в основном чёрно-белыми. Вполне естественной стала и реакция сатириков-зубоскалов, иронизировавших над названием старой-новой передачи, учитывая специфический состав т.н. поп-звёзд девяностых, коих и показывали в этом «Голубом огоньке» во всей красе.

Во многом передачи телевидения девяностых были калькой с западной телепродукции. Но было и то, что появиться раньше никак не могло. Например, трансляция богослужений по телевидению и по всем каналам одновременно, как когда-то съезды партии и ноябрьские парады. В январе 1991 года состоялась первая трансляция Рождественского Патриаршего богослужения по центральному телевидению из Богоявленского собора. Поначалу это воспринималось как нечто удивительное, а затем постепенно привыкли: «Смотрела по телевизору рождественскую службу из Елоховского собора, которую вёл Патриарх. Всё время показывали Никиту Михалкова, который крестился и низко кланялся», — отметила в дневнике 7 января 1992 года москвичка Татьяна Юрьева²⁴.

Но показывали и других. Перечитывая дневник Олега Борисова, я вдруг обнаружил, что и он в тот день был объектом телекамеры в соборе: «Год начался на высокой ноте. Наш друг Серг. Бор. Станкевич пригласил на рождественскую службу в Елоховский собор. Места заняли в 23.00. В особом месте для почётных гостей. Рядом, плечом к плечу, — Никита Михалков. На нас направлены телекамеры: получается, на всю страну молимся. Служба закончилась в 4 утра. Юра (сын актёра — А.В.) стоял сзади и несколько раз поддерживал наши спины. После этого — трапеза в Даниловом монастыре, бывшем когда-то мужским общежитием. Когда прощались, Никита вздохнул: “Неужели мы так и не пересечёмся?...” Кто знает... Я с удовольствием пересмотрел недавно его “Обломова”. Замечательный, чистый фильм. Природа и актёры воздействуют на меня, унося в мир детства, к нашим корням. Фильм воспринимается современно: Обломов — несветский человек, не переносит над собой никакого насилия, было б у меня такое имение и такой слуга, я бы мало чем от него отличался», — из дневника от 7 января 1992 года²⁵.

Композитора Георгия Свиридова, который уже редко выходил из дома, сидя в валенках (ноги болели), трансляции вдохновляли: «Христос Воскресе! ...Вечером смотрел по телевизору выступление перед Заутреней Патриарха — грустное,

но спокойное, потом водружение Святого Креста на купол Казанского собора в Петербурге — Петрограде — Ленинграде... Теперь надежда лишь в СПОКОЙСТВИИ и ТЕРПЕНИИ (опять и опять). Кажется, что это есть в церковных людях. Терпение, но и действие... Боже, неужели это не фарс, а подлинное Возрождение, медленное, трудное очищение от Зла? Но кажется иногда, что именно это наиболее верный путь. А народ расслоился: с одной стороны, окончательное падение в бандитизм, проституцию во всё, с другой — Церковь и интерес к жизни Духа.

Потом смотрел (с Эльзой) Заутреню из Александро-Невской Лавры. Величественно, красиво, культура службы, культура хорового пения, несколько академичного, чистого. Поют по нотам, хороший регент с красивым, мягким жестом, отличный архидьякон — молодой, увлечённый, чисто поёт. Всё строго, вся служба и причт весь строгий, дисциплинированный, в духе сегодняшнего, военного, в сущности, времени. Даже более военного, чем Пасхальная служба в 1945 году у Спаса-Преображения. Тогда было более мягко, более светло. Помню, невероятное количество народу на всех улицах, вокруг церкви на улице Пестеля — убийцы (Пантелеймоновской) — до перекрёстка с Гагаринской. Была смертельная усталость людей, но и Надежда. Пошли, Господи, блага и здоровья всем близким. Помилуй нас!» — 1 мая 1994 года²⁶. После восстановления Храма Христа Спасителя на Волхонке трансляции велись оттуда.

И ещё одна телепередача, в возможность которой трудно было поверить ещё десятью годами ранее, — «Встречи с Солженицыным». Когда в феврале 1974 года нобелевского лауреата выслали из Советского Союза, мало кто мог предположить, что спустя двадцать один год писатель будет выступать по телевизору в лучшее рейтинговое время. Лидия Чуковская тогда негодовала, но с надеждой на то, что скоро всё пойдёт вспять. Лидия Корнеевна выражала уверенность, что ещё при её жизни в Москве появится площадь Солженицына. Почти угадала.

Много воды утекло за двадцать лет. В конце концов после поездок по миру, весной 1976 года, лишённый советского гражданства писатель, которого будут по советскому телевидению называть всякого рода оскорбительными словами (например, «литературный власовец»), обоснуется в американском штате Вермонт. Все силы он направит на работу над «Красным колесом», не забывая и о борьбе с коммунизмом. Те, кто высылал его из СССР, наверное, и представить не могли, что этот самый коммунизм прикажет долго жить уже совсем скоро, и не из-за книг Солженицына, а по другим причинам — внутреннего порядка. Называться этот процесс будет перестройкой, страна развалится, словно карточный домик. В январе 1990 года писателю вернут советское гражданство, затем снимут обвинения и в «измене родине». Вскоре семье возвратят московскую квартиру.

Встречали Солженицына триумфально — 21 июля 1994 года на Ярославском вокзале, куда поезд прибыл после двухмесячного турне писателя по России, начавшегося во Владивостоке. Всё это подробно освещали по телевидению — так раньше показывали разве что поездку товарища Брежнева по стране. «Третьего дня включил телевизор в 7 вечера, чтобы узнать, что делается в мире, и услышал, что в ближайший час на Ярославском вокзале ожидается прибытие Солженицына. Поскольку пешего хода мне до вокзала минут 15, я решил причаститься к этому великому историческому событию. Привокзальное пространство заполняла толпа. Состояла она не только из встречавших прославленного изгнанника, но и из тех, кто, повинуясь привычным нуждам, спешил на электрички или только что сошёл с них. И поэтому определить на глазок, сколько же народу пришло именно встречать

Солженицына, было трудно. Возле меня бородатый мужчина лет тридцати с гаком не очень громко кричал: “Солженицын. Православие. Россия для русских”. Услышал я и другие возгласы: “Предатель! Убирайся в Америку!”, “Жида — вон из России!”. Это орали в основном женщины пенсионного и предпенсионного возраста. Одна из них надрылась: “Почему это у евреев три родины — Америка, Израиль, Россия, а нас, русских, хотят нашей единственной родины лишить?”. И опять мужчина, не первоначально увиденный мной, а другой, закликушествовал: “Россия для русских”. Повернувшись к нему, я спросил, как он отнесётся к тому, что его брат будет жить в Латвии, а там местные люди будут кричать: “Латвия для латышей”? На мой вопрос последовал ясный и исчерпывающий ответ: “У меня никогда не было и не будет брата в Латвии”. На вокзале я нос к носу столкнулся со Стасиком Л. Потом с Мариэттой Ч. С розой в руке пробиравшейся к герою торжества. Уже из газет я узнал, что омовцы так и не пропустили её к Солженицыну. Сам он вместе с Лукиным, Карякиным и Лужковым стоял на помосте, сначала слушал приветствия, а потом выступил с краткой речью. Прямо как весной семнадцатого встреча Владимира Ильича тоже на вокзале. Только на Финляндском в Питере, а не Ярославском в Москве», — отметил в дневнике 24 июля 1994 года литературный критик Лев Левицкий²⁷. Эта забавная аналогия действительно напрашивалась.

Приняли Солженицына как пророка — Александр Исаевич выступал то тут, то там, и не только как писатель, а как общественный деятель, призывающий к повышению роли местного самоуправления, употребляя давно забытое слово «земство». В частности, в ноябре 1994 года он выступил с трибуны Государственной думы (в то время размещавшейся на Новом Арбате, дом 36). Наконец, ему предоставили самую главную трибуну — первую программу российского телевидения, где в 1995 году около полугода и выходила специальная передача «Встречи с Солженицыным», в которой он рассуждал о том, «как нам обустроить Россию». Судя по короткому сроку жизни этой передачи, в Кремле она не всем понравилась.

Зато в московских театрах вновь были рады видеть Солженицына-драматурга и ставили его пьесы. В частности в Малом театре на Театральной площади, дом 1, в январе 1995 года прошла премьера спектакля «Пир Победителей». В декабре 1998 года в Театре на Таганке (Земляной вал, дом 76/21) в постановке Юрия Любимова выходит спектакль «Шарашка» по роману «В круге первом». Премьера совпала с восьмидесятилетием автора 11 декабря. Здесь же, в театре, Александр Исаевич заявил, что отказывается принять высшую награду страны — орден Святого апостола Андрея Первозванного: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу». О неприятии происходящего вокруг свидетельствуют и новые его произведения, например, «Россия в обвале». Выясняется, что столь печальные последствия «декоммунизации» Солженицын предвидел ещё в 1970-е годы. Критикой власти было наполнено и выступление писателя в Центральном доме архитектора в Гранатном переулке, дом 7, в апреле 1998 года. Но в отличие от советских времен, когда открытое осуждение Солженицыным существовавших порядков вызывало серьёзный дискомфорт в ЦК КПСС и брожение в некоторых слоях общества, в новой «демократической России» это уже мало кого трогало: люди думали не о том, как жить, а о том, как выжить. Последнюю дюжину лет (с весны 1995 года) писатель прожил в заповедном московском районе Троице-Лыково.

И про одну трансляцию нельзя не рассказать. Кровавый октябрь 1993 года, когда в Москве на несколько дней разразилась гражданская война, остался

на кадрах телехроники. Более того, расстрел здания Верховного Совета РФ танками с Новоарбатского моста показывали в прямом эфире. А накануне, пока телевизоры ещё работали (футбол передавали!), в новостных программах прошёл подробный сюжет о штурме телецентра «Останкино», когда военный грузовик вломился на первый этаж здания. Выбор именно телецентра как одной из основных целей нападения объясняет объективную логику мятежников: кто владеет информацией, тот владеет миром. А деньки тогда выдались ясные, солнечные, настоящее бабье лето.

Интересны свидетельства не только тех, кто вышел из дому, но и тех, что заняли места у телевизоров. Когда сегодня анализируешь реакцию телезрителей этих трагических дней, складывается ощущение, что далеко не все вообще могли совместить реальность и телекартинку:

«В девять часов утра по телевизору передали выступление Ельцина. Он заявил, что “происходящие события в Москве — это запланированный переворот... Генеральная прокуратура получила указание возбудить уголовные дела против преступников. Вооружённый мятеж будет подавлен в кратчайшие сроки”. Через несколько минут после выступления Ельцина танки Т-80, выстроившиеся на Калининском мосту, начали палить по верхним этажам Белого дома. По телевизору — всё это демонстрировалось в прямом эфире! — выметнулись из окон языки пламени. Жутко было то, что происходило тогда у Белого дома. Ещё страшнее — то, что происходило в России, прильнувшей к экранам телевизоров. Эта прямая трансляция сокрушительнее, чем снаряды, выпущенные по Белому дому, была по сознанию миллионов россиян, вынуждая их покориться беспощадному режиму», — писатель Николай Коняев²⁸.

«Наутро я по телевизору смотрю: стоят танки, перед мостом на Кутузовском проспекте. Время уже давно вышло, операция должна была начаться где-то с 6 до 7, утра. А здесь уже 7, уже 8, уже 9. Ничего, так сказать, нет. Я начинаю интересоваться, в чём проблема. Говорят, не те снаряды привезли, поехали за холостыми. Ну, в общем, когда привезли холостые, они выехали на мост, я понял, что кто-то изменил план. То есть не с той стороны, а с этой. Более того, начали бить не по низу, а начали бить по верху, 17-й этаж. 17-й этаж — он своеобразный, там секретные документы и там все финансовые документы. Поэтому вообще трудно понять, почему он выбран был, тем более холостыми, и выстрелов было много, не было ни пожаров, ничего, но как только стали попадать в эти окна, так возник пожар. То ли была попытка уничтожить документы? С какой стороны, не могу понять, поскольку следствия не было, в конце концов... трудно вообще было понять многие вещи, которые там внутри творились.

Но началась, конечно, стрельба. Стреляли снайперы, которые были расставлены везде. Но самое потрясающее, конечно, что оттуда исчезли все баркашовцы и все остальные, хотя, надо сказать, наш план первоначальный, когда мы попросили уйти из здания всех, кто безоружный и кто не хочет, так сказать, сопротивляться, по-моему, две тысячи человек оттуда вышли утром рано, где-то ещё часа в четыре-пять. Остались те, кто при погонах, кто при оружии, кто не согласные, организаторы, руководители, и многие депутаты остались. Ну, депутаты, я со многими потом разговаривал, у них, конечно, выиграла вот эта амбиция, дело чести, так сказать, Конституцию защищать: кто бы я ни был, но я прежде всего депутат, и я обязан защищать Конституцию. Вот это очень такой момент был важный, хотя были ребята, с которыми мы дружили и дружим, но вот такая их принципиальность. И в последующем

глубочайшая обида, раздражение до сих пор остаются», — Сергей Филатов, глава администрации президента РФ²⁹.

«Ночь: 1 час 46 минут. Постепенно войска входят в Москву. У Моссовета по призыву Гайдара и Лужкова собрались тысячи — уже проельцинских — людей, готовых на баррикадах защищать Кремль. В Останкине погибло несколько, а ранено с десяток человек. Вечером звонили друзья из Питера и США: все волнуются. Мы же втроём не спим, перебегая от телевизора к радио “Эхо Москвы” и обратно. Вооружённые бандиты перемещаются по Москве на машинах. Они всё ещё пытаются судьбу. По нашему телевидению очень хорошо говорила Мариэтта Чудакова. И вообще вещание идёт без перебоев. Вечер. Голова гудит от непрерывной информации. Ночью был штурм Останкина. Утром правительственные войска начали обстрел Белого дома. Недавно CNN показывало, как из здания выходят депутаты и боевики с поднятыми руками. Говорят, что в здании 500 трупов: это работа Альфы, спецподразделения МБР. Осиное гнездо разорено, но по Москве ещё ходят бандиты», — москвичка Наталья Юрьева³⁰.

«Двое суток мы провели перед включённым телевизором, ловя последние известия, глядя на бесноватые толпы, захватывающие мэрию и штурмующие телецентр в Останкино, на танки, прямой наводкой бьющие с Новоарбатского моста по Белому дому, и начавшийся пожар, на капитулировавших мятежников, которых вывели из Белого дома. В ночь с третьего на четвёртое Митька и гостивший у нас Дима Ойнас ушли к Моссовету. Я не смог оторваться от телевизора, к тому же был грязен и небрит после многодневного сидения над авторефератом (в доме отключена горячая вода); в таком виде — как смерть принимать? Говорят, что убитых больше тысячи (официально сообщено лишь о нескольких десятках). В Москве введено чрезвычайное положение, объявлен комендантский час. По чердакам вылавливают и добивают снайперов», — искусствовед Сергей Попадюк³¹.

«Длинный день — телевизор, радио, газеты, снова телевизор, и так с девяти утра до двенадцати ночи. Подробности вчерашнего дня. Всё висело на волоске, и только чудо спасло Ельцина и нас вместе с ним... Потрясающее свидетельство журналиста Пархоменко — как он был в воскресенье днём в Кремле, в Администрации президента, и что он там видел. И — почему долго “ехали” войска. В Останкино они появились только к утру. Телецентр спасли ребята из “Витязя”, восемьдесят человек, противостоявшие огромной толпе. Они, можно сказать, спасли Россию. Военачальники же ждали, чья возьмёт. Весь этот день, оказывается, Ельцин уговаривал Грачёва. Пархоменко пишет, как в момент уныния и растерянности, когда толпы уже прорвали цепь омонцовцев и брали штурмом мэрию, а сподвижники Ельцина только бранились между собой и спрашивали, где Филатов, а Филатов всё ещё вел “переговоры” в Патриархии, — как в этот момент появились Бурбулис и Полторанин, и всё в этот момент ожило и задвигалось. А президент до сих пор отсутствовал... Между указом о ЧП и его появлением на экранах телевизоров прошло 19 часов! В течение 19 часов все спрашивали: где президент и почему он молчит?» — сценарист Анатолий Гребнев³².

«Москва. ...Было больно и горько смотреть по телевизору, как по приказу “демократа” Ельцина танки лупят снарядами по Белому Дому. Заявления Ельцина и Грачёва, что армия никогда не будет применена против народа, что она нейтральна, оказались очередным подлым обманом. Мог ли я подумать, что ещё при жизни, бесконечно дорогая мне армия будет стрелять в свой народ и в законный парламент! Не мог и подумать, что наши наследники (старых танкистов) будут хладнокровно бить

танковыми снарядами своих людей, закрывшихся в Доме советов, — тех людей, которых народ выбрал своими депутатами. Как перенести эту трагедию недавно ещё Великой страны?» — Геннадий Обатуров, генерал армии, фронтовик³³.

«Несколько дней назад из танков расстреляли Парламент — Верховный Совет. Били по-настоящему. Белый дом местами выгорел — стоит чёрный. Говорят, есть жертвы среди населения. Жуть! И это наш президент, за которого мы с Ольгой голосовали и радовались?.. СМИ уверяют, что Хасбулатов и Рупкой — негодяи, они мешают истинной демократии. По ТВ показали их арест — сажают в автобус. Наручники. Невесёлые, обросшие щетиной лица. Апофеоз нашей демократии — расстрел парламента! По народным избранникам “огонь!”. Нет печатных слов! И гадёныши в телевизоре уверяют, что всё правильно. Не верю больше ни единому слову реформаторов! Ельцин — просто враг народа и моральный урод! И Запад молчит, не тревожит нас экстренным заседанием ООН, громкими заявлениями, ультиматумами, бойкотами. Они, суки, похоже, и заправляют всем бардаком», — писатель Дмитрий Каралис³⁴.

«Сонность невыносимая. Беспокойство непонятное. После всех недавних кровавых событий — плохо. Это как-то давит на меня. Что-то в воздухе воздействует, тревожит. Столько смертей жутких в любимой моей столице. Настоящая двухдневная война. Не верилось. Ходила по Москве, местами совершенно спокойной, где, казалось, ни единого намёка на бушующие военные страсти, и не могла осмыслить происходящее. То, что показывали по телевизору и передавали по радио, ощущалось как нечто отвлечённое, абстрактное, неотсюда. Я не могла объединить в сознании Москву, такую мирную, где воцарилась золотая солнечная осень, и Москву стрельбы и убийств. Это было невозможно. Но это было правдой. И так жутко понимать это», — студентка Елена Полюшкина³⁵.

Телевидение сыграло в те дни и роль провокатора, с одной стороны, а с другой — помогло вспышку гражданского противостояния погасить. Тот факт, что миллионы остались дома, оказался решающим. Сидя у своих телевизоров (а у некоторых было включено даже два: большой в комнате и маленький на кухне, чтобы ничего не пропустить) люди проклинали, плакали, злорадствовали, пили валидол. И это в любом случае оказалось лучше, чем если бы даже те, кого я здесь процитировал, встретились лицом к лицу друг с другом. Всего несколько человек — совершенно разных поколений и профессий вряд ли смогли бы примириться. Что уж говорить о многомиллионном городе и остальной стране.

А генерал армии Анатолий Куликов, командовавший в те дни Внутренними войсками МВД России, благодаря телевидению получал ещё и объективную информацию о происходящем в Белом доме и вокруг него: «Чтобы постоянно отслеживать обстановку в стране и в Москве, я дал команду установить в моём кабинете телевизоры и настроить их на разные телеканалы. Не без труда мои помощники разыскали четыре телевизора туристического типа, но и это стало серьёзным подспорьем в нашей работе: нередко репортёры подбрасывали полицейским генералам пищу для размышлений. Ведь журналистам, в отличие от нас, удавалось довольно свободно общаться с иными оппозиционерами, а это значит, что мы могли просчитывать их возможные действия. Конечно, мы не полагались на искренность тех или иных слов, но для нас было важно понять, насколько они адекватны»³⁶.

Что же касается затянувшихся поисков Бориса Ельцина, то в конце концов он появился на телеэкранах весьма эффектно: вылезая из вертолёт, приземлившегося на Соборной площади в Кремле 3 октября 1993 года. Итогом кровавого октября стала

гибель сотен людей, зачинщиков мятежа вскоре выпустили на свободу. И всё пошло по-новой.

А упомянутая радиостанция «Это Москвы» ныне уже осталась в истории, в девяностые она была одной из самых рейтинговых, выдерживая серьёзную конкуренцию. Десятки новых станций ворвались тогда в эфир — радио слушали, не отключая приёмники, благодаря расширению диапазона вещания на коротких радиоволнах. Позывные у каждой радиостанции были свои, как и аудитория. Прямой эфир, звонки слушателей — всё это стало обычным делом, так сказать, стандартной формой работы. И если поначалу музыкальные радиостанции воспринимались как нечто удивительное, то с годами их становилось всё больше и больше. Радиостанции были на все вкусы — «Европа Плюс», «Авторadio», «Русское радио», «Рокс», «Ностальжи», «М-Радио», «Надежда», «Камертон», «Славянка». Иных уж нет и в помине...

Не отставали от жизни и старые советские радиостанции. Например, «Маяк», в 1992 году ставший радиорупором японской секты «Аум Синрикё». Вечерами, после выпуска новостей вместо привычной фразы «на “Маяке” звучит лёгкая музыка» начинались заунывные песнопения, предвосхищавшие проповеди главы секты — Сёко Асахары. Час религиозной телепропаганды ещё можно было выдержать, но не больше. Число угодивших под влияние секты росло галопирующими темпами как нигде: Россия была непаханым полем для идеологов новой псевдорелигии. Встречи Асахары с российскими политиками и общественными деятелями, студентами московских институтов, массово превращавшимися в университеты, придавало происходящему видимую законность. Москва превратилась в один из центров, откуда по всему миру распространялось вредоносное воздействие «Аум Синрикё».

Многие попадались на удочку после концертов с массовой инициацией в «Олимпийском». Вот лишь одно из свидетельств: «В конце дня Стас Лазарев предложил мне пойти на симфонический концерт (бесплатный) во дворец спорта “Олимпийский”. Оказывается, там исполнялась духовная (“ведущая к высшему блаженству”) музыка Сёко Асахары — создателя новой религии «Аум Синрикё» (соединение буддизма, йоги, христианства, даосизма и др.). Стас этим увлекается, рассказывал и раньше, а я музыку Асахары слушал впервые. Играл московский симфонический оркестр “Кирэн” (сборный из разных коллективов), дирижировали московский дирижёр Вл. Кудря и японец (святой!) Урувала Кассана. Исполнялись три вещи — I концерт для ф-но с оркестром “ПуТЬ”, третья симфония “Святая любовь Кирэна” и вторая симфония “Евангелие Царства Небесного”. Все длинные, было два антракта, концерт длился три с половиной часа. Музыка — в классическом стиле, отдельные места — сильно под Бетховена. Красивая, мелодичная музыка; хотя немного однообразная, в основном бодрая, много частей маршевого характера. Обстановка для меня непривычная. Народу очень много, самого разного, масса молодёжи, были и семьи с младенцами. Поскольку помещение стадиона громадное, пустого места тоже было много; отдельные компании располагались в пустых секторах наверху; оттуда раздавался даже свист и крики в основном в начале вечера, потом они затихли (сами собой или утихомирили милиционеры?). Но весь концерт продолжалось хождение, даже беготня и игры малышей в пустых (не заполненных креслами) частях стадиона. Даже лаяли собаки (потом их, видимо, увели). Всё это в темноте, освещена только сцена. Перед концертом должен был показаться сам гуру — композитор, но вместо этого зачитали его послание — что он плохо себя чувствует, кто-то его из зависти отравил, он приводит себя в форму, чтобы завтра провести там же лекцию днём

и 24-часовую инициацию с 20 до 21 часа! Я понимаю Стаса: каждый пытается куда-то уйти от теперешней грустной жизни, своего старения, предчувствий общей экологической катастрофы; но мне данный конкретный способ чужд, чем-то меня отталкивает», — из дневника москвича Олега Дмитрова от 18 марта 1994 года³⁷.

Кончилась вся эта вакханалия, как часто бывает, весьма печально. В том же году, когда в «Олимпийском» яблоку негде было упасть во время исполнения т.н. духовной музыки, члены секты распылили ядовитый газ зарин в одном из японских городов, что привело к смерти людей. Затем в марте был совершён подобный теракт в метро Токио. В 2018 году верхушка секты была казнена... А москвичи в лихие девяностые по старой привычке продолжали слушать т.н. вражеские голоса — «Голос Америки», «ВВС», «Радио Свобода», «Немецкая волна», которые уже никто не глушил.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Гребнев А. Дневник последнего сценариста 1945—2002. М: Русский импульс, 2006.

² <https://www.kommersant.ru/doc/108726?ysclid=m2jb8v56u0326643155>

³ Вадим Пономарёв. История группы «Звуки Му» вызывает разногласия до сих пор. newsmusic.ru.

⁴ Источник: <http://www.newlookmedia.ru/?p=46848&ysclid=m2pvs6tqmr381503730>

⁵ Веста Боровикова. Вечная жизнь есть. Это факт научный. И никуда от этого не деться. Новые Известия (12 августа 2011).

⁶ Алексей Филиппов. Несъедобный Пушкин. Известия (12 сентября 2001).

⁷ МаМОНов — СПЕКТАКЛЬ. ЕЩЁ ДО ГРИШКОВЦА. Новая газета. 2001.

⁸ <https://tass.ru/opinions/19709281?ysclid=m2mlp4ukx798146671>

⁹ Шумейко В.Ф. Пельмени по протоколу: Анекдоты из коридоров власти / Владимир Шумейко. — М. : Коллекция «Совершенно секретно», 2001. — 188, [1]

¹⁰ Якобидзе-Гитман А.С. Восстание фантазмов: сталинская эпоха в постсоветском кино. — М.: НЛЮ, 2015. — С. 71.

¹¹ Актёр из «Утомлённых солнцем» подозревается в убийстве. Комсомольская правда (18 марта 2004).

¹² Плахов А. Михалков против Михалкова. Архивная копия от 7 июня 2011 на Wayback Machine // Сеанс. — № 9.

¹³ Отец застрелил на пороге суда вероятного убийцу своего сына. Российская газета, 31.08.2011.

¹⁴ Майя Туровская. // Искусство кино, 11—1998.

¹⁵ Виктория Шохина. Перешагнув через могилы. Архивная копия от 10 августа 2011 на Wayback Machine // Независимая газета, 03.10.2003.

¹⁶ Коржаков, там же.

¹⁷ Б.Немцов. Исповедь бунтаря. — М. : Партизан, 2007.

¹⁸ Вячеслав Костиков: «Какой юмор потребуется россиянам на время кризиса?» Аргументы и факты (24 декабря 2008).

¹⁹ Солженицын А.И. Россия в обвале. — Москва: Русский путь, 2006.

²⁰ <https://ria.ru/20191020/1559952808.html?ysclid=m2rj8qpy82264482871>

²¹ <https://www.inopressa.ru/article/10Jan2020/telegraph/santabarbara.html?ysclid=m3ie85tjit403230494>

²² <http://www.yeltsinmedia.com/events/aug> — 28 — 1991.

²³ Филиппов П.С. Возьмись и сделай! — СПб ; Москва: Норма, 2016.

²⁴ Т.Юрьева. Там же.

²⁵ Борисов О.И. Без знаков препинания: Дневник. 1974—1994. М.: Астрель, 2002. 384 с.

²⁶ Свиридов Г. Там же.

²⁷ Левицкий. Там же.

²⁸ Коняев. Там же.

²⁹ Интервью / Президентский центр Б.Н.Ельцина. Проект «Ельцинская эпоха» — Москва.: Центр Б.Н.Ельцина, 2011. — [время 02.48.53].

³⁰ Юрьева. Там же.

³¹ «Впрочем, к чему сравнения, надо всегда оставаться самим собой. Это — истина...» Дневник Сергея Попадюка (записи 11 октября 1959 — 21 июня 1960) // «Хочется жить во всю силу...»: Дневники подростков оттепели / изд. подг. И.Л.Савкина, С.В.Николаева. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023.

³² Гребнев. Там же.

³³ <https://corpus.prozhito.org/person/52/1>

³⁴ Каралис Д.Н. Петербургские хроники: 1983—2010 гг. Роман-дневник. СПб, Издательский дом «Коло», 2011.

³⁵ «Моя душа состоялась»: Дневник Алёны. Рецензии. Стихи. М.: СвР—Аргус, 2005.

³⁶ Куликов А.С. Тяжёлые звёзды: [воспоминания]. — Изд. 2-е, доп. — М.: Война и мир: Клуб военачальников Российской Федерации; Минск: Попурри, 2016.

³⁷ Дмитров. Там же.

Александр Чанцев

Анархи, хаоты и суфийский катехон

Все три книги из этой рубрики объединяет тема странствий. Герой тысячестраничной биографии Уильяма Берроуза и автобиографический персонаж книги вечного хиппи и живого мистика Владимира Видеманна не просто пускаются в путешествия, но живут в состоянии поиска. Такой же неканоничной веры, как и их нестандартные путешествия, как и они, аутсайдеры, сами. Ради этого в нашу нон-фикшн рубрику я впервые привлёк и художественное произведение — роман Сухбата Афлатуни (Евгения Абдуллаева). Ведь его герой, кажется, если не обрёл, то нащупал что-то, что можно найти на излёте странствий и поиска в нашем, как всегда, рушащемся мире.

Старец в высоком замке

Барри МАЙЛЗ. Моё погоняло Берроуз / Пер. с англ. М.Бобровой. — М.: Chaosss/press, 2023. 1135 с.

Уильям Сьюард Берроуз (1914—1997) такой же отец контркультуры XX века, как тот Старец горы, исмаилит-киллер Хасан ибн Ас-Саббах, волшебник, глава тайной секты ассасинов, спецантентов-диверсантов, которых он держал в дальней крепости¹, а потом, натренированных и с помощью магии, гашиша и опиатов, отправлял на секретные задания. Берроузу дали книгу о нём, ему очень понравилась легенда, он инкорпорирует её в свои книги. Таким он был и сам. Не только тем, какие споры вольной мысли во всех почти видах искусств распространял, но и по степени своего влияния на простых читателей и тех, кто, в свою очередь, творил прошлый век. Ассасин от (контр)культуры, он убивал старое, внедрял новое.

Вот из аннотации. «Берроуз писал романы, мемуары, технические руководства и стихи. Он рисовал, делал коллажи, сделал тысячи фотографий, продюсировал сотни часов экспериментальных записей, снимался в кино и записал больше компакт-дисков, чем большинство рок-групп. За свою жизнь Берроуз сотрудничал с многими идолами контркультуры, оказав на них большое влияние: Курт Кобейн, Патти Смит, Майкл Стайп, Энди Уорхол, Мик Джаггер, Йэн Кертис, Дэвид Кроненберг,

Дж.Дж.Баллард, Жан-Мишель Баския, Пол Маккартни, Гас Ван Сент, Том Уэйтс, U2, — и продолжает оставаться культовой фигурой».

И это даже не всё — в этом внушительном списке нет, например, битников, а за возникновение бит-движения он несет прямую ответственность. Впрочем, это отчасти справедливо — он был отцом-основателем, а затем иногда дистанцировался от аффилирования с движением. И ещё метко сказано в книге, что «вовсе не являясь представителями одного поколения, первые битники теперь сумели занять значимые позиции в трёх разных десятилетиях: Керуак был крепко пьющим, громогласным представителем пятидесятых годов, Гинзберг — психоделических антивоенных шестидесятых, а Берроуз теперь представлял всё, что было круто в семидесятых». Возможно, тем его фигура и крепка во времени, что его мрачный, холодный образ, рисующий, даже в футуристическом ключе, картины бунта во времена тотального одиночества и краха, если и не очень вписывается в веселые 60-е, то уж во все остальные времена встает прекрасно.

Разумеется, при таком послужном списке, граничащем с настоящим величием, Берроуз не обделен биографическими исследованиями². В конце этого фолианта-гримуара приведен их внушительный список. Конечно, увы, на русском языке такого богатства нет, а есть — книга того же Барри Майлза «Бит Отель: Гинзберг, Берроуз и Корсо в Париже, 1957—1963», посвященная французским годам битников, которые, впрочем, сам Берроуз считал одними из самых плодотворных. Немаловажно, что Майлз знал как самого Берроуза, так и его круг, участвовал в прижизненной ещё работе по разбору его архива. Бьёт же иные книги труд Майлза даже не этим, а, да, объёмом, всеохватностью. Притом это действительно биография, без захода, как, знаете, бывает, в разбор каждой книги для увеличения размера с помощью не самого глубокого филологического анализа. Посему про некоторые дни Берроуза мы узнаем вплоть до почасового его расписания, увидим в деталях гостиницы, где он жил, обстановку его съемных квартир (в Танжере и бункера в Нью-Йорке уж точно), его диету даже (любил, в английском духе, чай гонять, а что до конца более чем долгой жизни он не отказывался от наркотиков, так это известно давно). При этом скажу сразу — и написано всё это хорошо, и такой тут заряд имён, явлений, тем и событий, что книга, несмотря на объём, читается очень бодро. На ура читается, ведь это тот случай, когда жизнь круче многих романов. Что же касается некоторых огрехов перевода, не почищенных редактором-корректором, и издания (так, огромный указатель имен просто перенесен из оригинала, номера страниц ведут к американскому изданию), то, как говорится, сделайте книгу сами лучше (своим контркультурным посылом явно перпендикулярную ванильным и цензурным временам глянцевого героя).

Так кто же таков Берроуз? Прозвучит, возможно, излишне выпендрено, но если узнаешь его хорошо, подробно знакомясь с его жизнью, то всё равно остается что-то непонятное в нём. Какая-то «доля ангелов».

Вот как он возник, появился, сформировался? Да, семья — многочисленная очень — была интересной. Сухой — как сам Берроуз, шокировавший всех при всей трансгрессивности письма своим образом в костюме-тройке и шляпе и прохладной, вежливейшей манерой обхождения — отец и влюбленная практически в сына, дико

преданная мать. С бабушками-дедушками-дядьями тоже занимательно. Кто-то — изобретатель и успешный бизнесмен (запатентовали что-то типа арифмометра, на акции ещё долго жили), кто-то наркоман и алкоголик. Разнообразно вообще было: дед Берроуза был странствующим священником и автором религиозных сочинений, старший брат матери по делам фирмы встречался с Гитлером и консультировал Геббельса, а мать в юности танцевала с Элиотом, тот происходил из тех же краев (и так же покинул потом Америку). Важнее же, что родители Берроуза были весьма состоятельными и всю свою жизнь содержали Берроуза³, ежемесячно посылая ему чеки и, когда требовался залог за него, бросались (ехал отец или брат, абсолютно не похожий на него, обычный клерк) на помощь. Берроуз, с одной стороны, пытался максимально выйти из-под их контроля, с другой — винил себя потом, что ничего не дал им взамен (мать в доме престарелых не навещал, слал ей стихотворные открытки). А когда они умерли, то подоспело наследство и, на громкой славе «Голого завтрака» и других его произведений, те гонорары, что сделали его относительно состоятельным.

Ему вообще везло. Так, будучи несколько раз на грани передозировки и тюрьмы (и не только за наркотики, но и за убийства — первый труп был в его бит-окружении, второй — жена, которую он застрелил, как известно, играя в Вильгельма Телля), он всегда выкручивался, выходил почти сухим из воды⁴.

Но всё равно, как Берроуз стал Берроузом, а не, скажем, своим братом? Почему не сделал карьеру в другом? Да, в школе счёт ему особо не давался, учеба не очень интересовала. Но он получил в итоге прекрасное образование, ум, очевидно, был незаурядным.

Да, были уже какие-то «звоночки» и небольшие знаки. В раннем детстве имел вроде бы случай какого-то сексуального насилия, которому его подвергла няня-ирландка (она же впечатлила всякими сказками-заговорами из области ирландских народных верований). Да, он читал «неправильную» литературу в виде Лотреамона, Ницше и других. Да, осознал довольно рано свою гомосексуальность — и очень долго не знал, что с ней делать, ведь тогда это не только было под полным запретом и преследовалось, но и многие (как его бабушка, старосветская леди, которая могла подвергнуть полному ostracismu за любую мелочь, а что ее дети и внуки сидят с ней за обедом изрядно пьяные, не замечала) просто даже не слышали о таком, быть такого не может. Да, пришла постепенно и — первый приём от болезни, как у того же Булгакова, — наркозависимость. И как, например, с ней. Да, бывали периоды жесткой зависимости, когда Берроуз тратил все свои деньги на это, одно время в Марокко бродил совершенно больным, тощим как смерть (излишней упитанностью он никогда не отличался, с молодости выглядел как удачный кандидат на роль Кашея) и даже, о ужас, в грязных одеждах, месяц не мылся. Но он всегда брал себя в руки, вводил контроль и слезал, в итоге выработав своеобразную диету (уже 80-летним начинал день с травки и выданного в клинике для наркоманов метадона, запивал водкой, вообще, в неизменённом состоянии не написал практически ни строчки). Возможно, логика тут как у хиппи и ситуационистов: «Освобождение неограниченного удовольствия — самый верный путь к революции повседневной жизни, к построению целостности человека»⁵.

Но ведь многие с этим жили и живут, даже становятся благопристойными членами общества. И у него не только был потенциал для этого, но и вели его,

особенно в начале, мне кажется, два разных вектора. Один, понятно, к той очень свободной жизни (не работал, странствовал, нужны были мальчики и вещества, из Америки бежал, ибо там пытались завинтить гайки) и тому творчеству, что всё это описывало. Другой же — чуть ли не к добропорядочной, спокойной, оседлой жизни. В ранние годы — может, и позже? Ведь под конец жизни Берроуз купил свое первое жилье в Канзасе, красили ему там стены, обставляли, жил внешне как почти обычный гражданин.

Так, после колледжа (и лечений у всяких психологов разных школ) Берроуз серьезно пытался записаться то в армию (подвело зрение), то в военные лётчики (!), то в ВМФ, то в разведку (в будущем ЦРУ у родителей нашелся даже блат, но имидж у Берроуза уже был всё же не для защиты интересов своей страны). То нанимался в частные сыщики, то ещё куда-то его тянуло. Тут-то понятно, это — страсть к маргинальным занятиям. Берроуз всю жизнь очень интересовался жизнью пиратов (хотел в соавторстве даже книгу о них написать) и преступников⁶. Не только одним из любимых собеседников в Танжере у него был сбежавший из Англии мелкий гангстер со своими байками, но и сам Берроуз несколько раз прикидывал собственную карьеру в преступном мире, даже пытался что-то делать в этом направлении (то приторговывал всякой запрещенной химией, то её же хотел поставлять в Европу из Марокко вшитой в седла для верблюдов, его замели, а из-за, опять же, странного имиджа, недоброжелателя и переписки со всем миром сочли было главой международного наркокартеля. Что ж, такое амплуа ему даже льстило). Та же самая романтика и с агентами спецслужб. То у него был любовник из военной разведки, то он с ними обращался в международном, как Шанхай времен международного сетлмента⁷, Танжере, то — его вечные костюмы, шляпы и ещё любовь к оружию — самого принимали за, считали явно не просто писателем⁸. Как это стыковалось с его техникой «невидимки» (он практиковал способность пройти через толпу, даже арабскую, так, чтобы не привлечь ничье внимание), бог весть.

С этим понятно, но Берроуз делал и другие движения к обычной жизни. Когда забеременела его жена, он резко выступил против аборта (при этом жена всё принимала и пила, а он, тактично никого в жизни ни к чему не принуждая, ничего не говорил против), хотел быть хорошим отцом и поначалу им и был. Хотя тоже странновато: они с женой скребли даже стены для пущей дезинфекции, но детей принципиально не мыли. Или несколько раз в жизни пытался, серьезно хотел стать фермером. Покупал землю то в Америке, то в Мексике, копал там какие-то колодцы, вкладывался в поля кукурузы, наёмных рабочих и прочее. На это, конечно, забавно было бы посмотреть, потому что и «на природе» Берроуз ходил в костюме-тройке, а, временно распрощавшись с наркотиками, скоро он и его компания (вокруг него всегда, в особенности в старости, были такие прокси-семьи, кстати, ухаживали за ним в последние годы лучше, чем родственники бы какие-либо) опустошили все алкогольные магазины в радиусе 25 миль (не самый пьющий штат, впрочем). Потом, конечно, всё пошло так, как и, скорее всего, должно было пойти: сына Уильяма Берроуза-младшего воспитывали бабка с дедом, а когда во взрослом возрасте тот стал законченным наркоманом, алкоголиком с циррозом и истеричным побирušкой (при этом, разумеется, во всем винил отца), пожилой Берроуз всячески пытался помочь, вытаскивал его и впал в тяжкую депрессию после его смерти.

Вели его и духи. В убийстве своей гражданской жены Джоан Берроуз винил некоего Уродливого Духа, который не только склонил его взять пистолет смертельно пьяным, но и на протяжении всей жизни ввергал в тяжелейшую депрессию. Про духа не знаем, однако, действительно, Берроуз стрелял метко, как настоящий снайпер, а к безумным поступкам не был склонен, не было в нем этого грубого задора рок-звезды, разносящего гостиничный номер под одобрительный гогот группиз. Кстати, в книге даются различные версии этого происшествия — за которое Берроуз действительно склонен был винить себя до конца жизни (существенного срока в тюрьме-то он избежал, отделавшись в итоге условным из-за сведения всего к несчастному случаю), — включая и следующую. Друг Джоан, который, кстати, недолюбливал Уильяма, как-то сказал, что «она хотела умереть и дала Биллу возможность убить кого-нибудь. Вся эта история с Вильгельмом Теллем была просто фарсом. Ее смерть была подстроена, чтобы освободить Билла, позволить ему совершить “тяжелейшее преступление” — он по-детски (Как Раскольников? — А. Ч.) относился к таким вещам. Джоан отдала свою жизнь за Билла». В пользу этой версии говорит то, что Джоан была инвалидом и хроническим алкоголиком, против — что это оставило серьезный шрам на душе Берроуза на всю жизнь.

Книга и начинается со сцены, когда индейский шаман проводит над 65-летним Берроузом обряд экзорцизма, этого Духа с трудом, но удается изгнать. Берроуз вздыхает с облегчением. «Уильям Берроуз верил в духов, оккультизм, демонов, проклятие и магию. “Я правда верю в магическую вселенную, где ничего не происходит, если только кто-то этого не захочет, а то, что мы видим, — не один бог, а множество богов, наделённых властью и находящихся в конфликте друг с другом”. И он действительно верил, не только в то, что ничто, даже несчастные случаи, не происходит без воли человека (другого человека, сущности), но и что может наводить проклятие (так он «обанкротил» пару кафе, где с ним вели себя «не по рангу», чем любил хвастаться). На вопрос же о своих религиозных взглядах он отвечал: «Исмаилит и гностик или манихей. Манихеи верят в реальность борьбы между добром и злом, но эта борьба не является вечной, поскольку кто-то из них рано или поздно победит». При этом с христианством сражался: «Христианство — это самый вирулентный духовный яд, когда-либо применявшийся на нашей подверженной катастрофам планете. Оно паразитирует на людях, а паразитизм — это сущность зла». Что ж, понятные пафос и риторика для убежденного либертена, к тому же происходившего из семьи и среды с жесткими католическими установками. «Я ненавижу христианство Библейского пояса — мёртвое, задыхающееся под слоями невежества, глупости, едва скрываемого фанатизма и злобной ненависти» — остается пофантазировать, каким бы проповедником живого христианства, например, тех же медитативных и дыхательных техник исихазма Берроуз мог бы стать, коли бы столкнулся с ними. Хотя, по его неприятию и буддизма, можно предположить, что монотеистические религии были для него слишком авторитарны. Или же таковыми он считал то, что уж слишком насаждалось — «всю эту восточную хрень» буддизма и индуизма он не любил, скорее всего, ибо с ними носились в своем кругу хиппи, Гинзберг и прочие контркультурщики того времени. Берроуз-то был исключением и среди них. Он же всегда искал иного, хотел сесть на свой Нова экспресс. «На протяжении всей своей жизни Берроуз опробовал на себе десятки форм самосовершенствования, от сайентологии

до экстрасенсорного восприятия, психоанализа, оргонного ящика Вильгельма Райха и вегетерапии Райха. Он практиковал метод восстановления осанки Александра, изучал общую семантику, семинары Роберта Монро о внетелесном опыте, эксперименты с паранормальными пленками Константина Раудива, “Столп света” майора Брюса Макмануэя, псионическую машину желаний и “Дона Хуана” Карлоса Кастанеды. Он верил в НЛО и похищения инопланетянами Уитли Стриберна и в Лондоне воспользовался компьютером “Контроль”, который отвечал на вопросы за двенадцать шиллингов и шесть пенсов за раз⁹. Он чувствовал, что все эти системы имеют какую-то ценность, но ни одна из них не смогла ему помочь».

Отдельно тут можно отметить опыты Берроуза с аяуаской и латиноамериканским шаманизмом — в поисках их он объездил крайне экзотические места в Панаме, забирался в джунгли. «Билл проехал в кузове грузовика тридцать миль до Пуэрто-Лимона, рядом с извилистой Рио-Какета, где нашел услужливого индейца и за десять минут заполучил лозу яхе. Но индеец отказался её готовить, настаивая на том, что это монополия брухо. По сути, брухо — это чёрный маг, сочетающий элементы колдовства с испанским католицизмом, в то время как курандеро являются наследниками методов народной медицины майя и занимаются белой магией». Впрочем, с широко открытыми глазами восприятия Берроуз находил магическое в менее экзотических местах. Он писал: «Танжер простирается в нескольких измерениях. Ты постоянно находишь места, которые раньше не замечал. Нет границы между реальным миром и миром мифов и символов. Предметы, ощущения поражают своей галлюцинаторностью. Конечно, сейчас я вижу глазами ребёнка, глазами Лазаря, вернувшегося из серого лимба джанки (Берроуз тогда решительно завязал. — А.Ч.). Но то, что я вижу, существует. Другие тоже это видят». Да, Пол Боулз, с которым Берроуз общался все эти годы в Танжере (даже жил по соседству, «могу плюнуть на его крышу») и Роберт Ирвин, автор «Плоти молитвенных подушек», поддержали бы полностью.

Стоит при этом иметь в виду, что духовные поиски Берроуза не были данью моде, минутному пристрастию и занятием полного неопита. Кроме общей начитанности Берроуз занимался этими темами, в частности, в Гарварде (у него были возобновлявшиеся даже в Мексике желания стать то антропологом, то врачом). «Берроуз углубился в изучение колдовства и тибетского тантризма и прочитал множество книг на эту тему. Его профессор, Джордж Лайман Киттрэддж, опубликовал книгу “Колдовство в Старой и Новой Англии” за три года до этого, и Берроуз также читал его “Заметки о колдовстве” (1907). <...> Берроуз читал “Тибетскую книгу мёртвых” в переводе У.Й.Эванса-Венца и перевод “Маханирвана-тантры” сэра Джона Вудроффа. Его мать познакомила его с буддийскими концепциями Четырёх благородных истин во время их долгих бесед (позже она подарила ему свой экземпляр “Сиддхартхи” Германа Гессе, опубликованный в 1951 году). Он на много лет опередил Гинзберга и Керуака в изучении буддизма, но, хотя его интересовали многие идеи, он отверг буддизм, требующий слишком серьёзных научных изысканий для человека с западным происхождением. Он изучал астрологию и занимался йогой, иногда запираясь в своей комнате на несколько дней».

Берроуз был настроен серьёзно, даже одно время планировал «создать институт передовых исследований где-нибудь в Шотландии»¹⁰. «Его целью будет расширение

сознания и изменение сознания в направлении большего диапазона, гибкости и эффективности в то время, когда традиционные дисциплины не смогли предложить жизнеспособных решений. Видите ли, наступление космической эры и возможность исследования галактик и контакта с инопланетными формами жизни ставит перед нами настоящую необходимость в радикально новых решениях. Эксперименты с наркотиками не планируются, в центре не будут разрешены никакие наркотики, кроме алкоголя, табака и личных лекарств, полученных по рецепту врача. В основном предлагаемые нами эксперименты недороги и просты в проведении. Такие вещи, как йогическая медитация и упражнения, общение, эксперименты со звуком, светом и кино, эксперименты с камерами сенсорной депривации, пирамидами, психотропными генераторами и оргонными аккумуляторами Райха, эксперименты с инфразвуком, эксперименты со сновидениями и сном. Расширение сознания в конечном итоге приводит к мутациям».

В конце концов Берроуз приобрел своеобразный образ наставника и продвинутого — как в трансгрессивных опытах своей жизни и искусства, так и, отчасти, в сверхъестественных опытах. «Он нравился Берроузу, потому что очень увлекался магией, а Якуби считал Билла великим магом».

Уж не знаю, насколько великим магом был Берроуз по части наведения им порчи на общепит с плохими манерами, но волшебником он точно был в изобретенном им художественном методе — так называемых его нарезках (cut-up). Кстати, он и использовал, в числе много прочего (литературы, кино, звукозаписи), и для сглаза: «В своем возмездии Берроуз использовал одну из своих новых практик. Ещё со времен Чикагской конвенции он заинтересовался идеей разрезки как способа изменения сознания и подрыва пространственно-временного континуума, фиксируя ситуацию на улице и делая фотографии, а затем воспроизводя их на месте, подменяя реальную действительность и приводя, как он выразился, к несчастным случаям, пожарам и выселению. Он совершил нападение на лондонскую штаб-квартиру саентологии по адресу Фицрой-стрит, 37, в Блумсбери». Никому не стоило связываться с Уильямом С. Берроузом, человеком в старомодной шпионской шляпе!

От Уродливого Духа, а не только от подавляющего американского социума и отвратительного ему истеблишмента, Берроуз бежал большую часть жизни, скитаясь по странам, отелям и съемным домам-квартирам. Книгу, в принципе, можно ещё читать и как травелог с яркими картинками всех тех мест, где обитал Берроуз. Австрия и Хорватия¹¹ (в юности), Америка и Мексика, тот самый бит-отель в Париже и Марокко, конечно (где Берроуз был опять же первым, опередил его только Боулз, а остальные битники подтянулись потом, приезжали в гости), Панама и Дания, то любезный его сердцу, то надоедавший Лондон (вообще, Берроуз торил новые дороги, до всеобщей любви к экзотике, а так-то что Рим, что Лондон костил как скучные, депрессивные и с плохим и дорогим сервисом места). «Доктор рассказал Берроузу много баек о джунглях: о жёлтых сомах с очень ядовитыми шипами...» — расскажут их и нам.

Впрочем, перемещения по городам и весям из-за неблагонадежного имиджа Берроуза были зачастую и не так просты: в Америке на влёте его обыскивали буквально до трусов, в Англии вдруг срезали полагающийся срок пребывания, а в Канаду на ТВ-передачу пришлось пробираться через границу контрабандно.

Когда же Берроуз на старости лет купил свой первый дом на окраине (чтобы он мог стрелять, в черте города се запрещено было) маленького городка в Канзасе, вектор изменился: он сам осел, а ехали уже к нему на поклон. Время, когда Берроуз сам мог кого-то посетить (Селина, поговорили мило, но «Берроуз видел, что Селин был из тех людей, которых можно отправить куда угодно, и они тут же окажутся в плохих отношениях с соседями», а подаренные тем книги Гинзберга Селин и не думал открыть), принимал в Танжере избранных и друзей (Френсис Бэкон, «когда Гинзберг предложил ему выпить из пустой консервной банки, извлеченной из мусорки, пытался протестовать»), прошло, теперь же — не зарастала народная тропа к иконе контркультуры. Патти Смит просто влюбилась в Берроуза (серия фотографий, где она сидит, обнимая его ноги) — но Берроуз уже наострился отбиваться от влюбленностей неугодного ему пола. Приехал к кумиру восторженный Кобейн, посидел в оргонном ящике производства Берроуза. Сам Берроуз в свои годы ни Nirvana не слушал, ни о Кобейне толком не слышал, но оценим прозорливые круги на воде: не только вдохновил Кобейна на известный кавер, ставший его последней песней, *Where Did You Sleep Last Night* (Кобейн подарил Берроузу автограф Ледбелли, автора этой песни, а потом сам его открыл и заслушался), но и увидел в лице Кобейна ту бледность, что выдавала — тот уже был мертвецом, до своего самострела. Делегации же рок-звезд (от Боуи¹² и Леннона-Маккартни¹³ до The Who и U2, cameo в их клипе *Last Night On Earth* стало его последняя съемка¹⁴) не переводились. Как и писательских (от Нормана Мейлера до Герарда Реве) и прочих селебрити. В диапазоне от Фуко и Уорхола до Джаггера, с которым не сложилось, Берроуз всячески им манкировал, то не хотел лететь джетом на свадьбу с Бьянкой, то отказывался освещать их тур, Джаггер смертельно обижался и делал следующий заход. У Берроуза же — единственный духовный эгрегор и социальная страта, понятно, — лучше гораздо складывалось с рокерами такими же авангардными и лиминальными, как и он сам. Лу Рид и Лори Андерсон — вот здесь было о чём поговорить и посотрудничать. Как и они, Берроуз более популярный в Европе, чем в Америке, но и по Америке — заработка ради — ездил уже с выступательными турами, как настоящая рок-стар.

Галерея тех, с кем общался Берроуз на протяжении своей долгой жизни, — это вообще отдельная и почти бездонная тема. Узнать можно разное. Почему Берроуз недолюбливал Керуака (тот постоянно сидел с мамой у телевизора, пил пиво и был слишком обывателем, при этом слишком зависимым от различных легальных и нет субстанций), что Боулз вроде бы убил человека (сам рассказывал такое¹⁵). Как Берроуз общался с теми очень немногими, кого считал достойными сам. Бегал, работая приглашенным журналистом (модные журналы полюбили заказывать у него материалы), с Жене от полиции во время жесткого разгона хипповских манифестаций. Или обсуждал с Беккетом свой метод нарезок: «Нет никаких ответов! Наше отчаяние абсолютно! Абсолютно! Мы даже не можем поговорить друг с другом. Вот что я почувствовал в “Голом ланче” и именно поэтому он мне понравился»¹⁶. С Алексом Трокки они общаются на равных, и это круто: и про Трокки материалов вообще очень мало, и «Книга Каина», на мой взгляд, это один из немногих флагов, наравне с берроузовским, что прошлый век водрузил на вершине неконформистского Эвереста.

Открыть можно многое и про самого Берроуза, разумеется же. Так, перечитывая несколько лет назад его книги, я с удивлением — видимо, банально в силу этого застегнутого на все пуговицы имиджа и макабрических тем — увидел, что Берроуз почти сатирик, очень смешной на самом деле писатель. И это активно подтверждается в биографии Майлза. От того, как мило ещё довольно юные Берроуз, Керуак и Гинзберг играли в шарады и разыгрывали мини-спектакли¹⁷, до свидетельств о том, как Берроуз громыхал зловещим хохотом, сидя за своей печатной машинкой (постояльцы соседних номеров пугались). Книги того же Селина были для Старца из Бит-отеля «смешными, полными жизни и являлись очевидным вдохновением для его творчества». А Боулз так отзывался о «Голом завтраке»: «Я обожал её. Я перечитал её три раза. Думаю, с каждым разом я смеялся все больше. Это классика комического жанра». Вот как!

Биограф, как я уже сказал, тактично не заходит в пересказ книг и филологические области (лишь совсем изредка цитирует, например, что книги Берроуза считали и нежными), но в конце делает обязательное подведение итогов — краткий очерк того, чем Берроуз был велик, на кого повлиял и каким первопроходцем был. Это ясно и так. Под конец жизни сам писатель, хоть и падая иногда в колодцы депрессии и переживая уходы вдохновения, был всем доволен, даже, по наблюдению свиты друзей, как-то смягчился и признавал, что он прожил, в принципе, жизнь счастливого человека. Человека, о котором как-то Гинзберг в смятении докладывал Керуаку: «Я сделаю всё необходимое для Билла и для него, всё, что он захочет, но невозможность его требований в конечном счёте неизбежна, если я не позволю ему навсегда увести меня в Азию или куда-нибудь ещё, чтобы удовлетворить его концепцию отчаяния и нужды». А «отчаяние сознания порождает разрушителей порядка»¹⁸, как написал Рауль Ванейгем в 1967 году.

Герметическая инаугурация в Берлине

Владимир В.ВИДЕМАНН. Трансатлантическая история. — СПб.; М.: Rugram_Пальмира, 2023. 476 с.

Владимир Видеманн родился в Таллине, в 1987-м уехал в Колумбию, оттуда в Германию, сейчас осел в Лондоне. Всё это время плотно тусовался. Его двухтомная вольная энциклопедия тех лет «Запрещённый Союз. Хиппи, мистики, диссиденты»¹⁹ даёт примерное представление о том, с кем он общался. Потому что он из тех, кто в пути познакомится со всеми, через них ещё с другими, будет, следуя своей вольной хипповской звезде, идти всё дальше, на новые встречи, вписки и сейшны. Хиппи и мистики, «анархи и хаоты», как он называет тут берлинских тусовщиков, — это его среда. Видеманн — из тех немногих людей, которым не только в детском, но и в солидном возрасте интересно всё. Не знаю про Ленина, от того даже на расстоянии лет мертвечиной несёт, а вот Владимир Видеманн — живее живого, заводнее многих других молодых.

И молодец он вообще большой. Не забыл в тусовочном угаре все свои приключения, не истратил их «в устном народном творчестве» на байки в тёплой

компании, а, бывших журналистов не бывает, записал, сохранил и последовательно издаёт сейчас.

Помотался он по свету, как уже понятно, изрядно, Берроузу под стать. И если предыдущая книга покрывала перелёт и жизнь в Колумбии²⁰, то эта охватывает с 1988 по 1994 год, когда тоже на месте он не сидел. Казалось бы, работает, то есть ищет заработок человек в Германии, без языка, ещё и когда всю Восточную Германию засыпало остатками Берлинской стены и порождённого её крушением хаоса, не так-то и просто. Ан нет, ему и тут на месте не сидится — Берлин и Санкт-Петербург, Нью-Йорк и Москва, а также все промежуточные остановки и вписки.

Берлин же тех лет был похож на Танжер Берроуза, даже круче замес был. Не зря там за десять лет до этого жил и записывал свои лучшие альбомы Боуи и Игги Поп (The Passenger написан от лица пассажира электрички S-Bahn), вдохновлялись амбьянсом города Лу Рид (альбом «Берлин»²¹), U2 (метафора для новой Европы Зоогора нашлась здесь, произошла от названия станции «Цоо», которая и часто фигурирует на карте Видеманна). Мы помним, конечно, и выступление Ника Кейва в клубе Ex-n-Prop, заснятое Вендерсом в фильме «Небо над Берлином», — так Видеманн в этот клуб и ходит постоянно, барышень своих — тоже со всего глобуса, от Америки до Японии, — водит, с друзьями зависает.

Берлин вообще, мне иногда кажется, воспет авангардным роком так же, как блюзами — какая-нибудь корневая Америка.

Берлин бы определенно приглянулся Берроузу — это была такая территория вне закона, живущая по своим правилам, подобно замку Старца горы: «Тут не было ни крупного бизнеса, ни политической элиты, ни вообще чего-либо “нормального” с точки зрения типичного немецкого образа жизни», а в том же Кройцберге в 1950—1980 годы сложилась своеобразная субверсивная культура, интегрировавшая элементы эстетического хиппизма, политического анархизма и мистического нью-эйджа. Половину населения района составляли иностранные мигранты, в основном турецко-арабского происхождения, другую половину — внутренние мигранты с территории ФРГ, искавшие на оккупированной территории с особым политическим статусом свободы от буржуазных банальностей». Совсем как Берроуз, даже странно, что он не доехал и не осел в Берлине. Возможно, сказалось недоверие к европейским столицам, он предпочитал менее исхоженные локусы.

В местных сквотах каждой твари по паре — «от божественных художников до активистов террористического подполья». В коммунах нет никаких правил, кроме своих: «...Стало быть, нужно менять социальную практику: отказаться от личной собственности и частнособственнической психологии в целом, в том числе — в отношении сексуального партнёра».

«Западный Берлин, эта “забытая территория”, был городом-призраком и европейской столицей радикального авангарда: политического, культурного, экзистенциального. Урбан-арт, эстетика распада, руины войны. Баррикады хаотов-анархистов и полицейские фаланги. Туристы и международная богема. Мекка для сексуальных меньшинств и для нежелающих отдавать свое здоровье бундесверу пацифистов. Студенческий рай, cool, жизнь в себе...»

И ровно в таком ключе Видеманн в своем рваном, микшированном, точно в стиле «нарезок» Берроуза — дневник, отрывок из статьи, воспоминания, цепляющие

прицепом ещё байку и ещё, — повествовании и «раскрывает тему», тему отсутствия темы, отсутствия — или ухода от — дискурса истеблишмента, гнёта системы.

Политический авангард? Начиная рассказывать про то, какая из группировок анархистов захватила какое здание для сквота (это было легче лёгкого после объединения Германий, власти ещё не разобрались с вопросами прав на собственность и, в любом случае, решили покамест не прессовать восточных-осси), Видеманн дает очерки политических раскладов. Иногда довольно запутанных. Экзотичных и радикальных — бунты против власти/полиции тут были и без (описанной) RAF, Фракции Красной армии.

Вообще, анархичность и даже хаотичность всего падение Стены только усиливает. Обстановка, как всегда при крушении империй и их больших нарративов, а нам так и очень знакомая, в ностальгическом ключе даже — в перестройку, 90-е, после путчей такое было, один в один. «А точнее говоря, многочисленные мошенники, которые брали в госказне подъёмные средства якобы на осваивание новых восточных территорий, на самом же деле всё клали себе в карман и по-тихому стушёвывались. Многие осси считают, что веси их просто надули...» Присоединились-присосались ко всеобщему разладу и отечественные братки — как же, шанс продать имущество с оставаемых в ГДР советских военных баз, вывезти из почившего СССР всё ценное, что можно продать. «Точно так же Серёжина контора пыталась заниматься недвижимостью, туризмом, продажей современного искусства и пиаром параллельных проектов точно таких же контор». Этническая мафия, русские рестораны и «понаехавшие» в Берлин все, от республик бывшего СССР до Албании.

Культурный авангард? Сколько здесь, в Берлине, а ещё и в Нью-Йорке, и, заездами, в Петербурге и Москве герой (да он сам, что уж там) Видеманна посетил, это нужно специальный указатель в книге приводить и каталог по его мотивам издавать. Шли туда, друзья позвали сюда, плавно перетекали туда и только с рассветом по пустому городу домой возвратились. Мы же просто приблизительно, брызгами красок на холст (Берроуз свои картины стрелял, в буквальном смысле древесину-полотна расстреливал) покажем только. «У Натана на кухне (составляющей часть галереи) собиралась не только русская, но и международная богема. Помимо Курёхина, Пригова, Тарковского, Гребенщикова²² и других асов отечественной контр-культуры (так у автора; у него вообще иногда вольно. — А.Ч.), тут можно было встретить Ребекку Хорн, Хельмута Ньютона и других асов западного художественного авангарда». Тимур Новиков «непременно хотел знать мнение по поводу современного искусства итальянского исламиста-романтика и традиционалиста-эволианца Клаудио Мутти, о котором он прочел в дугинских “Элементах” <...> Меня же он попросил помочь ему привлечь к проекту гипер-традиционалистов типа Гейдара Джемаля и Александра Дугина — идейных лидеров исламских фундаменталистов и новых правых в современной России. <...> Они обнимаются, целуются. Потом выяснилось, что Тимур знает Пакиту ещё с тех времен, когда они с Африкой тусовались у него на Литейном». А, скажем, подруге на протяжении многих страниц и почти невесте²³ Владимира американской художнице Джулии с Гинзбергом приходилось общаться, а их общий друг Стив из Сиэтла дружил с Кобейном²⁴.

В Нью-Йорке же all tomorrow's parties (Лу Рид), арт и просто тусовки, на порядок плотнее — то, от чего, отдав им дань, в своё время сбежал Берроуз ради более плодотворной тишины творчества в Лондоне.

А с экзистенциальным авангардом двухвекторно, скажем так. С одной стороны, здесь множество таких типажей и жизненных зигзагов²⁵, что Довлатов позавидует, — о, а Видеманн прирожденный рассказчик, такой, знаете, настоящий хип, который за бесплатный кров и ночлег до утра хозяина будет байками благодарить, из любой совершенно области, вот и в книге есть все, от даже очерка нигерийского теневого бизнеса (хотел кто-то местный, русско-израильско-немецкий вписаться в) до «голубого писателя Юкио Мисимы, радикального апологета харакири» (японская художница о разном японском делилась). «По соседству, на Петербургер-штрассе, жила французская художница Жюли. В ее квартире не было ни света, ни отопления», а рисовала и боготворила она русского зэка, чей снимок нашла в каком-то журнале. Или русский виолончелист, приехавший в Берлин автостопом, прибившийся в сквот в разрушенном здании у костров, «будущее было неясно».

Но это, да, всё понятно, очень колоритно, забавно, читается (слушается) просто на ура, такая галерея-кунсткамера-музей-перформанс тех лет. Интереснее с другим, с тем, что можно было бы чуть высокопарно назвать экзистенциальным прорывом. Наш автор, во-первых, за тотальную свободу, за и с теми «нашими, с левой резьбой», во-вторых, явно видит «сны о чём-то большем». «Тот, кто хочет оставаться свободным, в метафизическом смысле этого слова, должен уметь психологически отстаивать свою независимость», — заявляет он. Берроуз бы подписался. Как и под именами уважаемых представителей настоящего либертарианства, приводимых для создания контекста: «Сам де Сад, судя по его текстам, был человеком глубоко отъехавшим, но при этом, с коварством адвоката дьявола, он высветил проблематику человеческой морали и общественной солидарности как продукт патологической (в смысле антибиологической, антиприродной) социализации личности. Это вполне созвучно, к примеру, рассуждениям Вильгельма Райха и даже Вальтера Бенъямина. Законопослушный обыватель как клинический маньяк и мания как норма — центральные темы современного критического искусства в его неприкрытой простоте. Раскрепощённая сексуальность — светлое будущее всего человечества?»

Про манию как норму тут, кстати, не для красного словца. Практики попадаютесь весьма радикальные. И речь даже не о том, что «в половине американских штатов до сих пор просто за гомосексуальный контакт человека могут посадить в тюрьму». И не о том же опыте организации Старца горы в ее нынешних импликациях как в преступном мире («Контроль над криминальной организацией требует существенных усилий и наличия определённых психических способностей. Известно, что многие преступные авторитеты усиленно прибегают к наркомагии, то есть к использованию психотропных средств в качестве инструмента целенаправленного изменения собственного или чужого сознания»), так и одиночками-нонконформистами («Впрочем, к наркомагии прибегают не только крёстные отцы и их крестники, но и в целом лица, претендующие на общественное влияние, — как в позитивном, так и в негативном смысле: звёзды культуры, политики, проповедники»). А о том, что чуть ли не смерть воспринимается как часть художественного праксиса, входит в развлекательно-массмедийный дискурс. Так, труп самоубийцы посередине одной модной выставки

зрители были склонны воспринимать поначалу как очередной экспонат, «а один из полицейских сказал, что вполне понимает такую реакцию людей: “Тахелес (арт-кластер в Берлине. — А. Ч.) изнутри настолько чудовищен и необычен, что смерть здесь совершенно естественно принимается за перформанс”». Или такое не менее извращённое явление, что «Над пропастью во ржи» стала «Библией убийц» (её читал не только убийца Леннона Чемпен, но и душевнобольной Джон Хинкли, покушавшийся на Рейгана, и маньяк Роберт Джон Бардо, убивший актрису Ребекку Шеффер). Впрочем, что удивляться, это судьба всех прекрасных книг, возьмём ту же Библию...

Но всё это, конечно же, Видеманну крайне неблизко, он не только за хипповский реасе, хиппи-пацифизм, но ищет там, где искали и обретали веками, — в традиционных областях. Недаром он общается и оставляет разной степени пространности мемуары о Джамале в Москве (Гейдар-ака²⁶) и Аркадии Ровнере²⁷ в Нью-Йорке (звонил в его журнал «Гнозис», познакомились и встречались). «Недаром мои друзья в Москве хорошо знали Аркадия, и образ его, как представителя русского эзотерического андеграунда на Западе, был окутан мистической аурой герметической инаугурации». Несколько за кадром тень Рериха и «нашего старшего друга Владимира Степанова, “суфия-масона” (как называл его Рам²⁸), которого, к сожалению, в этот раз мне повидать не удалось», Блаватская и Далай-лама.

Впрочем, Видеманн сведущ в любой традиции, всё использует (душно на солнышке ждать концерта Pink Floyd? — он особую технику дыхания тут же использует и воспрянет), о любой, кажется, может рассказать-поведать-прогнать, хоть о Каббале, хоть об афрофутуризме и чёрном масонстве. А уж о Гурджиеве сам четвёртый путь велел, понятия из его учения тут — обиходные словечки, принятые внутри тусовки великих посвященных, их собственный аргот своего рода.

Принимая всё это и свои многочисленные страннические наблюдения за разными странами, рассказчик Владимир суммирует: «Что же мы тут наблюдаем? Во-первых, вопрос о необходимости пересмотра реального авторитета господствующей правовой традиции возник отнюдь не на пустом месте, но как форма поиска современным человеком нового, более универсального измерения своей собственной онтологической ситуации. Верно? А это значит, что вне контекста традиции такой вопрос сам по себе вообще не имеет никакого содержания. Если мы однозначно отбросим традицию, то, тем самым, мы отбросим и те ориентиры, благодаря которым мы пришли к тому, чем являемся в настоящий момент!»

Несколько схоластично, но, безусловно, верно. Впрочем, та эскапада была рассчитана на американских спутников «не в теме» и в баре, а входит он своими размышлениями и в более тонкие и точные материи. «...Краеугольный комплекс фрейдистской психологии — внутренний страх социальной неадекватности. Этот страх заставляет человека чураться всего “странного”». Есть же и такое, диаметрально ему явление, которое Видеманн называет американским нео-экспрессионизмом: «Его цель — не изменение бытия, а его разоблачение. В его оптике мир лишается внутренней устойчивости...» Не так ли работал Берроуз, и не так ли, более тонко, а не лобовой атакой на полицейский кордон, и стоит действовать?

Влияние кофе на время

СухбатАФЛАТУНИ. Катехон. — М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2024. 605 с.

Сказано: «Трудно уснуть, когда ложе
сплетено из гадюк, а подушка соткана из огня».

Ибн аль-Мукаффа. Калила и Димна

Полицейские же кордоны в будущем будут повсеместнее, изощреннее. Они в прямом смысле слова заберутся в голову человека — так будут следить, собирать доказательную базу, а потом ещё проводить обыск в воспоминаниях. Сыщики внедрятся в мозг, вживутся в чужую жизнь. И обвиненного — главного героя Сожжённого (настоящее имя Фархад, а вообще потом пристанет к нему много имён) — сожгут. В буквальном смысле, на городской площади, с восстановлением всех средневековых карнавальных церемониалов. Но в новом духе, гуманном — сделают перед кострищем укольчик, подержат зонт, когда заморосит. А распоряжаться всем будет прибывший из Брюсселя Инквизитор. Он получил повышение, перешел на эту должность из комитета по правам человека.

Но всё это ох как неточно. Потому что гораздо больше, чем из такой фактологии, роман скроен из тех воспоминаний, в которых тонут с головой и сердцем безучастные сыщики (а уж что говорить об их непосредственных участниках), ещё не дотлевших чувств, снов. Того, что, по Э.Э.Каммингсу, глубже слёз. И того, как всё это перетекает друг в друга, растворяется как дым, как его отличить и от воздуха отделить?

А ещё добавить странствия не только ментальные, в голове, комнате и на письме, а настоящие. Германия, где живёт возлюбленная Сожжённого переводчица²⁹ Анна, СССР времен его истончения и истления, куда она едет, Самарканд, откуда Фархад не желает уезжать, и они оседают, до всё же самолета в Германию, с остановкой в Грузии и Турции.

Условно поданное будущее (настоящее? уже прошлое для героев? тут точных указателей тоже нет) и — черты времени. Реальность, созданная героями, и реальность вокруг. Детали метафизические и самые настоящие обрушатся, как то сияние вниз³⁰. Германия, где приехавших из Союза селят в общежитии, там и поругаться-то нормально, по-советски, нельзя, настучат соседи, и оштрафуют. И то, откуда уехали, — хрущёвки и в них засолка капусты (придавить камнем крышку). Всё это обрушается. Люди оказываются выставлены в разбитых витринах эпохи. «Манекены для всей необъятной страны изготавливались в Вильнюсе, Литовская ССР, и они смахивали на литовцев. У манекенов-женщин были серые змеиные глаза. От вида местной продукции, в которую их наряжали, на их лицах проступала брезгливая улыбка».

Такой, как говорится, сеттинг — детали времени, их условность, мечты и любовная история героев — может напомнить хиты недавних лет, «Авиатор» Водолазкина, «Грифоны охраняют лиру» Соболева и прочие стилизации той или иной степени изысканности (и инварианты некогда популярного жанра альтернативной

истории). Но стилизация ради стилизации и конструкт имени самого себя — дело милое, но довольно мертворожденное. У Сухбата Афлатуни, автора «Поклонения волхвов», лауреата «Русской премии», финалиста «Большой книги», «Ясной поляны», «Русского Букера» и, не очень большую тайну мы откроем, прозаика, поэта, философа и критика из Узбекистана Евгения Абдуллаева, всё сложнее гораздо и сложносочинённой. (И я бы если уж сравнивал, то сравнил бы с книгами Питера Хёга — у современного датского сказочника тоже всё переплетено, от тайных нейропсихологических экспериментов государства до исихазма. Но сравнения — практика тоже мертворожденная, так что оставим.)

Хотя бы потому, что Фархад, экскурсовод, природный и партикулярный теоретик и визионер, озабочен этим самым катехоном, тем, что удержит мир на краю, сохранит. Это открылось ему в его видениях-рассуждениях? В которых, в частности, он, в давней своей статье на своем сайтике в глубине становящегося Рунета, предсказал теракт 11 сентября. Тогда-то им и заинтересовались спецслужбисты. Связей с террористами и иной крамолы не обнаружили, сайт удалили, взяли на карандаш и в разработку. Так, в той же Германии инвалид Сожжённый заработал немного серьёзных денег тем, кого сейчас называют футурологом (позже предсказав «охватившую мир пандемию, назвав ее “китайской болезнью” и угадав симптомы. <...> Он предсказал с точностью почти до дня начало Долгой войны. Он предсказал... Это, наконец, переполнило чашу терпения тех, кто до того за его предсказаниями просто молча следил. И даже пользовался ими. Из чаши потекло на стол»). Но на этом очень впроброс фактическая и дистопическая линия обрывается, неважно это.

«Человечество училось писать на песке. Порыв сетевого ветра — и песок снова пуст и гладок». Это про его личную страничку, на которую только несколько любителей случайно вывело и которую только постфактум-то и вспомнили. Но это показательно. Потому что даже стиль подчеркивает относительность всего и вся, реальности ли, не так добравшихся до адресата воспоминаний ли. «Здесь можно нажать “энтер” или даже несколько “энтеров”. Можно начать новую главу, поставив “25”. Или “26”. “30”. Какая разница?» Кавычки в цитате добавляют условности-отстранённости, заметим. Да заметили мы это и раньше уже, как не. «Собственно, музыка и есть ересь — просто лишённая слов. Здесь должна стоять звёздочка. Сноска, отсылающая вниз, на дно этой страницы. Но страница пока ещё не заполнена»; «Над одним из минаретов он разглядел * <звёздочка. — Прим. ред.>»; «...Звонок в полседьмого. Чего-то... Утра»; «Здесь должна была быть небольшая глава о Фаусте, о его пребывании в славном городе Эрфурте. О его необычных лекциях и ещё более странных пирах». Но главы нет, и всё это напоминает куртуазные стилистические игры блестящего и сокрытого стилиста Владимира Казакова.

«Но море молчало. На песке подсыхала медуза, мусор, обломки раковин. Они жадно и напряжённо ждали прихода Антихриста. Пока не придёт Антихрист, не придет Христос». Так могли ждать чего-то в своём нигде герои ещё одного прекрасного стилиста, увы, недавно умершего, ферганца Шамшада Абдуллаева.

«В тот год она родилась; родилась и заплакала, как все новорождённые, вносящие за вход в этот мир пошлину из слёз». А потом, скорее всего, заснула. «Сон подобен храму, растущему вниз».

Едва ли не чаще, чем блеск стилистических излучений, в книге тихий стиль — стиль притчи. «И тогда они говорят ему, показывая направо, на подсыхающую землю в чёрных лужах: “Где та река из твоих слёз, семени и слюны, из твоего пота и той воды, которой ты поливал засохшие цветы, надеясь их оживить?”»

На всё это распадается — и собирается — роман. А как ещё, если таков, заснятый в падении, сам мир? Его нужно поймать, удержать, хотя бы на место падения подстелить что-то, хоть старую циновку, хоть убитый коврик, чтобы смягчить (грехо)падение из сада-рая.

Герой пристально всматривается в этот трагический мир, где даже «Бог есть боль». «Хронотоки чуть сдвинулись — и снова замерли. Нет, видеть их он не мог. Тот, кто видел хотя бы часть хронотока, внутренне бы ослеп. Продолжал бы жить с ослепшим, шарящим в темноте мозгом. Он видел их как бы сквозь задымлённое стекло». Он созерцает и видит — «Его рот ел курицу... Его глаза ели длинные облака... Его ладони ели подлокотники кресла».

Для подобного видения нужно войти, хотя бы примириться с двумя составляющими мироздания — пространством и временем. «Кант считал пространство и время формами нашего восприятия. Формами того, как наш мозг отражает реальность. Я говорю о другом. Мозг не просто отражает их — он их генерирует. Он создает время и проецирует его вовне». «Его занимал вопрос о соотношении индивидуального времени и коллективного. Гипотеза состояла в том, что ускорение первого может странным образом замедлить второе». А «через несколько лет он узнает, что это открытие уже было сделано до него. Влияние кофе на время открыли суфии. Те самые кружащиеся суфии³¹». Хотя и это не точно, ведь «здесь, в Туране, всё движется по кругу, даже кофе пить не нужно. Время вращается на месте, как одинокий суфий». Кружится, замедлясь или ускоряясь, произвольно или следуя иным, ещё более глубоким, сложным и неподвластным человеческому уму законам. «Мы могли прибыть в Веймар... в Веймар! Но — старцами. Или детьми».

У героя, Сожжённого Фархада, опухоль мозга, я уже говорил об этом? Забыл? Ну вот сказал. Так что, вполне возможно, это все видения, ведь опухоль выкусывает куски мозга, а потом вырезают в свою очередь её саму. Как в той легенде о змеях, растущих из головы правителя, чтобы они не съели мозг своего владельца, их нужно кормить чужим мозгом, казнимых юношей. Это сказание актуализировано в романе Владимира Медведева «Заххок»³² — в политическом ключе (всякая власть пожирает то, что призвана охранять и пестовать)³³, здесь же — в видийном, прозорливо-пророческом, уже понятное дело. Визионеру приходится платить за открытое ему — и вот он спит на подушке из змей, сутками в тёмной комнате.

Все эти техники и откровения нужны, разумеется, не для предсказаний терактов (тяжело так говорить, но они не причина, а следствие хаоса) и чего-то практического, чего от него ждут те же спецслужбы и какой-то закрытый клуб, делающий ставки на будущее. А ради — того самого катехона. «Главное — услышать Бога... А не заставить его услышать нас, не кричать ему, как это в вашей вере. Не забегать перед ним, не дёргать за край одежды». А следовать ему, гласу среди миров пространств и времён. Отринуть шум близкий времени, чтобы услышать то, что за ним. Вообще «нужно выйти из времени. Ты же сам сказал: катехон. Вращение мира против движения солнца,

против часовой стрелки. И ритуальный обход вокруг Каабы совершается тоже против часовой стрелки, тоже бегом. Чтобы выйти из времени, нужно приложить немалые силы. Находясь во времени, ты не сможешь услышать Бога, ты будешь слышать только себя». А «кто прильнёт к Богу, к тому прильнёт Бог. И что ты прежде искал, то ищешь ныне тебя».

Сожжённый же нашёл то, что искал. То есть свою вечную — ещё одна плата, ещё одна инициация? — возлюбленную Анну потерял, она умерла. Но выжил (три операции) и даже сбежал. В осуществление своей мечты — уйти от всех в пустыню (от всех не получается, он даже обрёл против своей воли какую-то популярность и поклонников, те приезжают иногда, он общается с ними на языке молчания), в пустошь за-под Самаркандом, разбить там в песках сад. Сад, посаженный и взращённый на пепле — его Анны, его деревьев, которые сжигают приезжие-местные, его слов и жизни. «Он стал человеком сада. Сада и молитвы».

А кто всё же этот человек? Известно, что «суфием может оказаться ваш сосед, человек, живущий напротив вас, или ваша служанка: суфии могут быть богатыми или бедными, иногда они становятся затворниками» (и, кстати, могут они быть и обеспеченными, поскольку «суфий же убеждён, что его внешние достижения — результат внутреннего понимания и развития. Деньги могут быть внешним отражением его успехов, но важность их нельзя сравнивать с важностью суфийского опыта») ³⁴, ведь «суфийская практика слишком тонка, чтобы иметь формальное начало», как говорится в трактате «Тайны прошлого и будущего». А про Сухбата Афлатуни мы знаем, что ему давно совсем не чужды подобные темы — так, лишь один пример, одним из ключевых героев его повести «Глиняные буквы, плывущие яблоки» был дервиш. Итак. Про суфиев сказано также, что те спят во время «событий дня» подобно летучей мыши — так Фархад проспал все экскурсии и походы Анны, оставаясь с мигренью в комнате на своем изголовье из змей. И ему открывалось во время этих снов, как и им: «Суфийские старцы могли ходить по воде (похожий трюк с (не)самоутоплением делает и Фархад после своего аутодафе. — А.Ч.), рассказывать о событиях, происходящих одновременно в разных странах, жить истинно реальной жизнью и многое, многое другое» ³⁵. Действительно, «обострённое восприятие, которым обладает суфий, иногда помогает воспринимать вещи, совершенно не воспринимаемые другими» ³⁶. Неудивительно, что и со временем у них отношения складываются иначе, чем у других: и «формалистические идеи о времени и пространстве могут быть неприменимы по отношению к истинной реальности» ³⁷, и по свидетельствам ещё Аттар, великий посвященный, писатель и деятель суфийского движения, изобрёл специальное упражнение, останавливающее время. Главное же, суфии возделывали «тайный сад» своего познания, приближения к божественному. Был ли Фархад ³⁸ скрытым имамом Махди, тем, кто явится в конце, как Христос Пантократор, как Майтрея, будда будущего, как авестийский Саошьянт ³⁹, чтобы спасти этот мир после его конца и сопроводить в Джаннат, прекрасный сад для праведников? Вряд ли, в конце концов, у суфиев нет главных и вообще иерархии. Но во все времена было понятие сотворения мира заново, восстановления разрушенного в обновленном, преображенном контуре. Тут можно вспомнить целую идейную цепочку: зороастрийский Фрашокард, *renovatio mundi*, пакибытие христиан, алхимическое возрождение элементарей в стадии альбеда Великого Делания, палингенезис (от Парацельса до Шопенгауэра и политических

теорий модерна)... Самым ярким и универсальным символом этого понятия выступает, конечно же, феникс. Не намекает ли на этот контекст сама фигура Сожжённого — ещё в начале романа — и функционирующего на всём его протяжении? Тоже вряд ли, но смысловые контуры, возможно, и задаёт, в подтексте и подкорке учитывается. Сам же Фархад, скорее всего, был никем (его же и сожгли), безымянным праведником⁴⁰, ведь только в полной безымянности, тишине и самоуничтожении можно хоть как-то удержать этот мир от распада⁴¹.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Отменил там законы шариата, при этом запретил все предметы роскоши, тем самым нивелировав богатство и бедность. Его последователи по приказу старца возводили неприступные крепости и скупали везде редкие книги. Попасть «во врата иной жизни» замка могли лишь избранные, проведя перед тем несколько дней в голоде и холоде на пороге, как в дзэнское обучение или в ряды Бойцовского клуба. Жить в такой коммуне-утопии, арабском военизированном («Рай покоится в тени сабель») фаланстере Фиуме Берроузу бы определенно понравилось. Правда, аскеза Берроуза иногда подводила — он любил хорошо поесть, особенно чёрную икру.

² Появилась даже и русскоязычная. *Хаустов Д.* Берроуз, который взорвался. Бит-поколение, постмодернизм, киберпанк и другие осколки. — М.: Individuum, 2020. Но, к сожалению, из-за явно компилятивного фактологического характера, поверхностного анализа и довольно вычурного языка даже в полуфинал с предлагаемой работой её ставить нельзя.

³ А ещё терпимыми (вращаясь по делам бизнеса в кругах арт-дилеров, дружили с частыми в этой среде геями) и терпеливыми (с сыном).

⁴ Даже из такой экзотики, как попадание в латиноамериканские застенки — голым, с температурой за 40, его кинули на каменный пол в каземат. Впрочем, за какие-то увиденные местными официальными порядками в документах, тут же почти и освободили.

⁵ *Ванейгем Р.* Революция повседневной жизни. Трактат об умении жить для молодых поколений / Пер. с фр. Э.Саттарова. — М.: Гилея, 2005. С. 121.

⁶ Есть и такие обертоны: «Сегодня я вновь чувствую восхищение, которое испытывал в юности перед преступниками — но это не устаревший романтизм, а восхищение, вызванное тем, что благодаря преступникам разоблачаются те алиби, которыми прикрывается социальная власть, чтобы не быть свергнутой прямо на месте. Иерархическая социальная организация напоминает гигантский рэкет...» *Ванейгем Р.* Там же. С. 18. А французский поэт-анархист Эрнест Кёрдеруа называл преступление бунтом одиночки.

⁷ «В Танжере существовала свобода от налогов, свобода обмена мировых валют, не было таможенных пошлин на транзитные товары, и каждый мог торговать золотом или открыть компанию и торговать, не раскрывая себя. Для въезда не требовалось визы, и можно было оставаться здесь сколько угодно». Рай для противника какого-либо контроля и надзора потом постепенно, конечно, прикрутили-закрыли.

⁸ Впервые это отметили Керуак и Гинзберг еще в 1944-м, сравнив Берроуза с Шерлоком Холмсом. «...Орлиное лицо, тонкие губы, высокая, стройная фигура, долгое молчание. Они оба употребляли кокаин, оба всегда ходили с оружием, оба носили с собой стреляющую дубинку, оба вели обширные альбомы. Оба были мастерами маскировки и невосприимчивы (почти) к женским чарам. У обоих были свои ватсоны...» Затем англомания Берроуза — старомодные манеры, английские сигареты и даже подставки для яиц на завтрак — тенденцию усилила.

⁹ Примерно как сейчас люди всю общаются с ИИ, проводя досужее время и пытаясь делать бизнес в ChatGPT.

¹⁰ А немного раньше за магическими откровениями Арто рвался в Ирландию. В Латинской Америке с теми же целями, что и наш герой, он тоже побывал.

¹¹ Там Берроуз впервые женился — на еврейке, чтобы вывезти её в Америку и тем самым спасти от надвигающейся коричневой чумы.

¹² Боуи не только использовал технику нарезки, но и признавался, что на образы Зигги Стардаста и Пауков с Марса его вдохновили Берроуз и «Заводной апельсин» Кубрика-Бёрджесса.

¹³ Общались они недолго и неплотно, но в пантеон на обложке Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Берроуз тем не менее попал.

¹⁴ А вот сыграть роль распятого старика в нирвановском клипе Heart-Shaped Box Берроуз отказался — очень жаль.

¹⁵ Да и вообще они, хоть и сошлись не сразу, были во многом похожи: «Они оба бежали из Америки, где они не могли жить свободно и о которой они оба отзывались пренебрежительно. Они оба стали писателями во второй половине жизни...»

¹⁶ С Беккетом они обсуждали тот факт, что Берроуз для своих нарезок берет классиков, даже новых и даже Элиота. Возможно, в этом им двигал отчасти и следующий мотив: «Идеология — это ложь языка; радикальная теория — это правда языка; конфликт между ними, будучи конфликтом между человеком и тайной бесчеловечностью в нём самом, предшествует преобразованию мира в человеческую реальность, так же как и его трансмутации в метафизическую реальность. Всё, что люди делают и ломают, проходит через посредничество языка. Семантическая сфера является основным полем битвы, в которой противостоят друг другу воля к жизни и дух покорности. Это неравный конфликт. Слова служат власти лучше, чем их используют люди; они служат ей вернее, чем большая часть людей, тщательнее, чем прочие виды посредничества (пространство, время, техника...)». *Ванейгем Р.* Там же. С. 97.

¹⁷ А ещё умел хорошо танцевать танго, вальс и фокстрот — «издержки» воспитания в гнезде американских великосветских помещиков новых времён.

¹⁸ *Ванейгем Р.* Там же. С. 41.

¹⁹ См.: *Чанцев А.* Самадхи в ватнике: Две книги о мистиках и неформалах // Перемены. 2019. 19 июля (<https://www.peremeny.ru/blog/23847>).

²⁰ См.: *Чанцев А.* Мистический глобус // Учительская газета. 2021. 6 июля (<https://ug.ru/misticheskij-globus/>).

²¹ Для справедливости отметим, что Лу Рид в Берлине не жил, Боуи бытовал в конце 70-х, с Кейвом Видеманн чуть разминулся, а вот Боно сотоварищи мог и встретить где-нибудь на улицах. Странно, что не встретил, он же встречает всех, вот только прилетел в Нью-Йорк, посетил место убийства Леннона и Strawberry Fields в Центральном парке, так Йоко Оно с японскими телевизионщиками встретил. А потом в Берлине её же со своей японской гёрлфренд. Договорились о совместном проекте. Везёт.

²² Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

²³ Впрочем, из-за её ветрености и поисков себя герой разнообразно страдает, точь-в-точь как Эдичка в Нью-Йорке.

²⁴ Хотя, подозреваю, все жители Череповца дружили с Башлачёвым, Омска — с Летовым и т.п.

²⁵ Только чаще не с алкогольным, а мистическо-нонконформистско-криминальным вектором: «Поскольку историю с отсидкой скрыть было невозможно, Леонид честно рассказал хозяину о том, что воровал и как пересмотрел свои взгляды на вещи благодаря розенкрейцеровскому учению о перманентном совершенствовании человека».

²⁶ Ака — уважительное обращение к собеседнику старше по возрасту /статусу. Любопытный момент. По-таджикски «ака» произносится как «ако». Джемаль и круги, где он вращался по этой теме, воспевали именно девственный таджикский народ (скорее даже памирскую его часть), а не узбеков-тюрков, происходивших от «варваров»-кочевников, но при этом всё равно употребляли, как видим, тюркскую фонетическую норму. Не было ли в этом подспудной приверженности традиции пантюркизма? Сам Джемаль, однако же, считал основой панисламизма

именно Османскую империю, а пантюркизм называл атеистической национал-социалистической идеологией. О его отношении к пантюркизму и панисламу см. дискуссию: Панисламизм: иллюзия или неизбежность? // Независимая газета. 2004. 21 июля (https://www.ng.ru/problems/2004-07-21/6_politx.html).

²⁷ О Ровнере см. предпоследний выпуск рубрики: <https://magazines.gorky.media/druzhba/2024/12/za.html>.

²⁸ Рам Михаэль Тамм, мистический философ, один из первых йогов в СССР, духовный учитель Видеманна.

²⁹ «Тоже вымирающая профессия: скоро всё будет переводить машина. Стиль — пережиток эпохи модерна; несёт печать неравенства, фаллоцентризма и угнетения». В «мировом одиночестве победившей либеральной идеи. Которой больше не с кем спорить, не с кем и не за что бороться».

³⁰ Парафраз из песни Егора Летова.

³¹ Согласно Идрису Шаху, вообще впервые открыли: «Кофе, который мы с вами пьём, согласно традиции впервые стали употреблять суфии для большей ясности сознания». *Шах И.* Суфии / Пер. с англ. Н. Богомоловой. Харьков: Прогресс, 1993. С. 65.

³² О книгах Медведева, Абдуллаева и других ведущих писателей региона (или о регионе, потому что некоторые из авторов уже давно перебрались в Москву) см.: Чанцев А. Среднеазиатский вектор // Новый мир. 2017. № 8 (https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2017/8/sredneaziatskij-vektor.html?).

³³ Здесь — через отрицание — обыгрывается и эта тема. Ведь катехон в изначальной трактовке — это тот правитель и государство, что удерживает и охраняет. В книге же речь о более фундаментальном, не политическом, но бытийном сохранении мира «над пропастью во ржи». Геополитическая тема, впрочем, не полностью элиминирована, она возникает иногда («Но Третий Рим остался. Москва стоит и дышит. Ходит, гоняя подземный ветер, метро», фараоны, «строящие вечность» в виде пирамид и «Рос-странство», «е-время» и «по России странство»), но разговор о ней увёл бы нас в те области, которым я предпочитаю другие. Да и в книге герой «уже тогда понял, что история — всего лишь мелкие волны на поверхности тяжёлых, бездонных вод. Даже не волны — рябь». А так-то в книге, как и у Видеманна, как у Берроуза, очень много всего: Гегель и Гёльдерлин, Ницше и Реставрация Мэйдзи.

³⁴ *Шах И.* Там же. С. 38, 66—67.

³⁵ Там же. С. 37.

³⁶ Там же. С. 75.

³⁷ Там же. С. 86.

³⁸ Здесь можно, наконец-то, вспомнить и привести значение имени Фархада (благо сам Сухбат Афлатуни, чье имя переводится с узбекского как Диалоги Платона, языковой семантике явно отдает дань): Фарр по-арабски — божественная благодать, которая осеняет только представителей царского дома, а хади — указующий путь к истине. В эпосе Навои «Фархад и Ширин»:

Хакан подумал: «В этом смысл найди:
Блеск — это “фарр”, а знак судьбы — “хади”». —
Так имя сыну дал хакан: Фархад...
Нет, не хакан, — иные говорят,
Сама любовь так нарекла его,
Души его постигнув естество.
Не два понадобилось слова ей, —
Пять слов служило тут основой ей:
«Фирак» — разлука. «Ах» — стонаний звук,
«Рашк» — ревность, корень самых горьких мук,
«Хаджр» — расставанье. «Дард» — печали яд.
Сложи пять первых букв, прочтешь: «Фархад».

Как мы видим, все эти значения нашли отражение в судьбе Фархада, не совсем удавшегося вероучителя и несчастливов влюблённого, пережившего расставание с Анной (да и эпизод её измены). Еще интереснее, что в сюжете Навои также фигурирует футурология своего рода. Фархад находит в сокровищнице отца в Китае волшебное зеркало, предрекающее будущее. Чтобы оно заработало, нужно пройти инициацию — драконы и проч., причем в землях греческих под надзором самого Сократа. В зеркале Фархад увидит небесный сад и лицо неземной красоты и потеряет покой, которого у него, впрочем, никогда и не было. Это лицо (армянской национальности, кстати, оценим размах логистики притязаний и международность, как у всех героев нашей рубрики) Ширин скорее эманация божественной благодати, нежели живая девушка, почти Грааль, сулящий алхимический брак вернее, нежели обычные отношения.

³⁹ Когда мёртвые воскреснут для последнего суда — огненной ордалии. За плечами Сожжённого же инквизиторский костёр, настоящая ордалия местного значения.

⁴⁰ Владимир Видеманн так описывает этот типаж в одной из своих книг: «...Некто вроде Хизра в Средней Азии: бессмертный пророк, персонаж фольклорной передачи, скрытый святой, наблюдающий за поведением людей. Это йог, аскет и волшебник, владеющий тайными знаниями и многочисленными науками». *Видеманн В.* Тайна чёрного мурти, или У истоков адвайты: Индийская мистическая философия в практическом ключе. М.; СПб.: Т8 Издательские технологии, Пальмира, 2024. С. 238.

⁴¹ Я молю как о Причастии —

Удержи мою плоть от распада, восставь мою кровь,

Будь мне спасением, всё в твоей власти,

Так влей в эти мёртвые руки живую любовь!

С.Калугин, «Ночь защиты»

Евгений Абдуллаев

Кто сегодня знаменитый?

На книжном базаре, когда торговали писатели, над каждым киоском была вывешена табличка: здесь продает книги такой-то.

В. подслушала разговор двух барышень:

— Давай пойдем посмотрим на Эйхенбаума.

— Не стоит, он, кажется, не очень знаменитый.

Лидия Гинзбург, запись 1928 года

Что сегодня делает литератора известным?

То же, что и прежде: соединение *трёх* типов известности.

Первый — цеховое признание. Второй — востребованность книжным (и шире — медийным) рынком. И третий — вовлеченность в какие-либо политические проекты.

Три этих типа могут частично не совпадать и даже конфликтовать друг с другом. Один тип может какое-то время преобладать. Но для широкой известности требуется сочетание всех трёх. Чтобы тебя знали и *свои* (коллеги-литераторы), и *не-свои* (активные читатели), и *чужие* (не-читатели).

Если автор обладает только цеховым признанием (печатается в литературных журналах, участвует в литературных фестивалях, преподаёт на литературных курсах), — это случай «широкой известности в узких кругах». Автор для авторов. Да и литературский цех внутри неоднороден, и признание в одном его сегменте часто сочетается с непризнанием в другом, с безразличием в третьем, с безвестностью в четвертом.

Книжный рынок действует по другой логике, и механизмы известности здесь другие. Рынок может принимать в расчет репутацию автора внутри цеха, а может — и не принимать, и создавать «литературное имя» самостоятельно. Если литературное сообщество ослаблено (раздроблено и недофинансировано), книжный рынок способен даже навязывать ему своих фаворитов. И оно будет их признавать; по крайней мере, какая-то его часть. Если, конечно, те хотя бы что-то собой представляют.

Наконец, общественная, политическая востребованность писателей. Отдельными группами, сообществами, партиями, институтами власти.

Повторюсь — это три очень разных типа известности.

Известность внутри литературного цеха основана на том, как автор *пишет*; насколько он полезен литературе и её институтам.

Известность внутри книжного (и медийного) рынка — на том, как автор *покупается*; насколько он полезен издательскому бизнесу.

Известность внутри политического поля — на том, как автора можно *использовать* в социальных и/или политических проектах; насколько он может быть полезен политикам.

Как говорит Сталин в «Детях Арбата»: «Маяковский — способный человек, его стихами надо пользоваться, но это уже скорее политика».

Фраза, разумеется, придуманная — но точная.

Наиболее важным всегда предполагалось признание внутри литературного цеха. Наиболее надежным, наименее подверженным рыночной и политической конъюнктурам. «И славен буду я, доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит».

Не книгопродавец, не государственный муж, а — пиит.

Стоит ли вообще стремиться к признанию за пределами цеха? Не слишком ли большую цену за это признание («рыночное» и «политическое») придется заплатить? Репутационную, моральную, творческую... Это уже вопрос личного выбора.

Последние лет сорок можно условно разделить на три периода.

Вторая половина 80-х — начало 2000-х, когда известным автора делало, прежде всего, внутрицеховое признание. С середины 2000-х до начала 2020-х, когда всё большее влияние на это начал оказывать книжный рынок. И период с начала 2020-х, когда известность становится всё более политически мотивированной.

Деление огрубленное. Но без огрубления невозможно ни одно обобщение.

Эта смена периодов наиболее отчетливо видна на истории премиального процесса, крупнейших российских премий.

«Русский Букер», возникший в 1991 году, был премией преимущественно «цеховой». В его жюри, в отличие от его британского первоисточника, никогда не входили издатели. И лет десять «Русский Букер» оставался наиболее крупной и влиятельной премией, а его лауреаты оказывались в центре медийного внимания.

В начале 2000-х ситуация меняется. Развивается и набирает силу российский книжный рынок. Что и отражают две премии, «Национальный бестселлер» и «Большая книга», возникшие, соответственно, в 2001-м и в 2005-м. «Нацбест» был создан издателями, и среди номинаторов и членов жюри также присутствовали издатели. «Большая книга» отчасти воспроизводила «цеховой» характер «Русского Букера»: издатели не входят в Экспертный совет, формирующий длинный и короткий списки, но присутствуют в жюри (чего не было в «Букере»).

Наконец, в прошлом году возникает премия «Слово», о которой я уже писал («ДН», 2025, № 2). Финансируемая напрямую государством и стремящаяся быть как можно более государственной, даже на уровне риторики. «Национальная премия “Слово”, — сообщается на сайте премии, — это... стимул к созданию произведений, в основе которых лежит любовь к родной земле, духовно-нравственные ценности...»

Для «Букера» была более важна эстетическая ценность произведения («цеховой» критерий). Для «Нацбеста» — ценность и перспективность автора для книжного рынка; отсюда «нацбестовский» девиз: «Проснуться знаменитым». Что касается «Слова», то это, прежде всего, соответствие и произведения, и автора «государственному заказу» (как он руководством премии понимается).

Другой вопрос, как вообще сегодня премии, даже самые крупные, влияют на известность автора. И вообще — что сегодня на нее влияет?

Здесь, конечно, требуются ещё какие-то социологические исследования, опросы.

Последний, тематический, проводился ВЦИОМом в 2021 году; ещё *до всего*. Картина сонного царства. Треть опрошенных вообще ни одной книги за год не прочла, почти половина (44%) — не более пяти книг (вопрос ещё — каких). Только четверть прочла пять или более книг.

Ну и, соответственно, предпочтения.

«Самые популярные писатели среди россиян — Дарья Донцова (5%), Борис Акунин* (4%), Захар Прилепин (4%), Виктор Пелевин (3%) и Татьяна Устинова (3%). Топ наиболее популярных писателей совпадает для всех трёх групп читателей, при этом пять наиболее популярных авторов чаще упоминались в ответах «нечитателей» (Донцова — 7%, Акунин* — 6%, Прилепин — 5%, Пелевин — 7%, Устинова — 4%)».

То есть «большие имена» легче называли именно те респонденты, которые ни одной книги за год не прочли. И, наоборот, те, которые осилили хотя бы пять книжек (и больше) «чаще других называли авторов, которые не набрали 1% ответов»¹.

В целом, если смотреть на данные ежегодных опросов, то с середины нулевых и до начала 2020-х картина была аналогичной. Рейтинг «писателей года» возглавляла Дарья Донцова, рядом оказывался либо кто-то из ее коллег-детективщиков, либо из классиков (Пушкин, например)². Неуклонно снижались только проценты — по мере снижения чтения художественной литературы.

Это особенно заметно при сравнении с самым первым из «вциомовских» опросов, 2006 года. Четверку самых известных авторов заняли тогда детективщики: Дарья Донцова (31% опрошенных именно её назвали «писателем года»), Борис Акунин* (16%), Александра Маринина и Татьяна Устинова (по 13%). 4% назвали Солженицына, по 3% — Виктора Пелевина и Михаила Веллера³.

Тут интересно даже не кого называли, — а сколько респондентов могли назвать кого-то писателем года. Сравните 31 процент или даже 16 или 13 с теми процентами, которые набирают «самые популярные» в 2020-е.

И другой момент, тоже важный. Опросы очень четко показывают определяющее влияние именно книжного рынка на известность того или иного имени. Донцова, Акунин*, Устинова — это лучше всего продаваемые авторы. Влияния первого фактора известности, внутрицехового признания, по этим спискам не прослеживается. Даже Сорокин в них не вошел.

Впрочем, Сорокин, как и «вошедший» Пелевин, — это тоже больше про книжный рынок, чем про цеховое признание. Пелевин получил первую известность внутри литературного цеха после публикации в «Знамени» (хотя невключение «Чапаева и Пустоты» в длинный список «цехового» «Букера» было показательным), но очень быстро стал востребован книжной индустрией. Сорокин вообще был

* Включен Минюстом в список иностранных агентов.

¹ ВЦИОМ представляет данные о том, сколько россияне читают и какими видят современных отечественных писателей // Сайт «ВЦИОМ». 9 июня 2021 г. (URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/russkii-pisatel-glazami-chitatelei>).

² ВЦИОМ представляет результаты опроса о главных персонах минувшего года — политиках, спортсменах и писателях // 11 января 2023 г. (URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/persony-2022-politiki-sportsmeny-pisateli>).

³ Люди года: Путин, Плющенко, Полишук // Сайт «ВЦИОМ». 26 декабря 2006 г. (URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/lyudi-goda-putin-plyushhenko-polishhuk>).

вначале признан западными славистами, чье влияние в 90-е было значительным; и тоже с конца 90-х стал широко издаваться и продвигаться книгоиздателями.

Данные ВЦИОМа вполне согласуются и с той статистикой, которую ежегодно публикует на своем сайте Книжная палата. «Двадцать наиболее издаваемых авторов по художественной литературе». По количеству тиражей из современных русских писателей последние пять лет лидирует, опять же, Дарья Донцова, затем Маринина (2020) или Устинова (2021, 2022), затем (до 2023 года) Акунин, и, наконец, Пелевин. Пару раз, в 2021 и 2024 годах, на предпоследней позиции возник Аркадий Стругацкий.

Такая статистика. Не слишком для любителей серьезной прозы радостная, но в целом понятная. Выше известность — выше тиражи, выше тиражи — выше известность.

Но в одном пункте тут заметно расхождение.

Начиная с 2021 года «писателем года» по данным опросов ВЦИОМ оказывается Захар Прилепин (2022, 2024 — 4%); другие авторы не могут набрать в ответах респондентов даже такие проценты¹. При этом в число «двадцатки» наиболее издаваемых авторов Прилепин не входит (хотя тоже издается, и немало).

Случай Прилепина, конечно, особый и требующий отдельного разговора. Тут он интересен тем, что отражает смену парадигмы, о которой говорилось выше. Что с начала 2020-х писательская известность становится всё более мотивированной *политически* и менее напрямую связанной с книжным рынком.

Вообще, заметно, как логика книжного рынка начинает не совпадать с политическим «духом времени», тон в котором все больше задают правоконсервативные силы. От призывов возродить советскую систему государственного книгоиздания и эксгумировать «Художественную литературу» — до... Даже затрудняюсь сказать чего: каждую неделю что-то новое, не соскучишься.

Вот недавний случай. Если прежде стрелы метались в основном в «Эксмо-АСТ» и несколько независимых книжных магазинов, то в конце марта «рвануло» внутри самого правоконсервативного лагеря. Под обстрелом оказалось «Евразийское книжное агентство», точнее, его редактор Вадим Левенталь. Поводом стал выход романа Максима Кантора «Сторож брата». Последовали потоки обвинений, запрет на презентацию романа в Питере... При том что Левенталь, по крайней мере, с начала десятых критиковал либералов, а после создания «Союза 24 февраля» сразу же в него вступил.

Дело, думаю, не в неискренности Левенталья, в которой его принялись обвинять; дело в столкновении двух логик. Логика книжного рынка и логики происходящего в последние годы (и не только в России) правоконсервативного поворота, с его этатизмом и упором на вне рыночные методы. Логика книжного рынка требует выпускать тексты, способные привлечь как можно более широкое читательское внимание, пусть даже скандальное. Правоконсервативная логика требует подобные тексты как раз *не* выпускать, либо жестко цензурировать.

И совмещать эти две логики становится всё труднее.

¹ ВЦИОМ представляет данные о том, кого россияне считают политиком, спортсменом, артистом, музыкантом, писателем уходящего года // Сайт «ВЦИОМ». 26 декабря 2026 г. (URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/lyudi-goda-putin-plyushhenko-polishhuk>).

Как всё это повлияет на формирование литературных репутаций и известность тех или иных писателей, сказать сложно. Будет ли вообще выдвижение каких-то имен в «современные классики»? Пока, за исключением Прилепина, это не очень заметно.

За последние годы, по сути, в этом смысле вообще мало что изменилось.

Простое сопоставление. В ноябре 2013 года на встрече президента с литературной общественностью на сцену были посажены не крупные современные литераторы, а потомки великих писателей (ситуация, совершенно не представимая, если бы встреча была, скажем, с музыкантами или театральными деятелями); в ноябре 2025 года, в состав правления обновленного Союза писателей России вошли... нет, писатели, само собой, вошли — но одновременно и известные представители театральных кругов, кинематографа, тележурналистики. Видимо, опять же, для привнесения недостающего символического капитала. В других творческих союзах подобное представить сложно.

Но, возможно, это и неплохо. Бывают обстоятельства, когда лучше быть «не очень знаменитым». Или, еще раз процитировав классика: «Иные, лучшие, мне дороги права;/ Иная, лучшая, потребна мне свобода:/ Зависеть от царя, зависеть от народа — Не всё ли нам равно?..» Но это уже, повторяюсь, дело личного авторского выбора.

Борис Минаев

Дон Кихот из Рыбинска

Так совпало, что одновременно появились или «вышли в свет» театральная премьера и сериал, где главные роли исполняет артист Тимофей Трибунцев.

Как-то раньше я о нем ничего не знал (поскольку российские сериалы практически не смотрю, да и в театре он мне не попадался). Надо сказать, знакомство получилось оглушительным.

Тут можно было бы просто написать «потому что актер гениальный», но в театральных рецензиях так писать не принято, и я скажу по-другому.

Трибунцев поразил — и поразил именно тем, что и забулдыга-журналист из Рыбинска, которого вдруг стали посещать «видения», связанные с убийствами (ну дурацкий же сюжет, согласитесь), и всем нам знакомый рыцарь печального образа действительно оказались людьми одной конструкции, одного материала, одной внутренней пружины — и исполнитель обеих ролей это блестяще доказал.

Режиссёр сериала «Подслушано в Рыбинске» Пётр Тодоровский-младший (то есть внук классика Петра Ефимовича Тодоровского и сын Валерия Тодоровского) и автор сценария Иван Баранов (в соавторстве с режиссёром) — создали не просто увлекательное и трагикомичное зрелище, они всю эту жестокую и неправильную картину нашего российского мира превратили каким-то волшебным образом в правильную: в ту картину, где есть место и любви, и нежности, и где люди, преодолевая обстоятельства, чем-то реально жертвуют ради других и на что-то надеются.

Если одним предложением, они создали ту картину мира, в которой *нет безысходности*.

Для одних такая задача сама по себе кажется абсурдной, для других — считающих, что наша страна впереди планеты всей, даже этот заход содержит в себе немало крамолы. То есть тут важна мера, пропорция.

Я не буду, конечно, пересказывать замысловатые сценарные ходы «Подслушано в Рыбинске», скажу лишь одно: для того, чтобы люди, из нашей суровой российской реальности, как сейчас говорят, «вскрылись», чтобы в них проступило всё это «человеческое», проступило сквозь вину, сквозь стыд, сквозь отчаяние, — им был нужен настоящий сумасшедший.

Окончательно отвязавшийся от социальных связей и социальных правил, но не отказавшийся от своего личного понимания мира.

Разве не то же самое происходит и в «Дон Кихоте»?

«...В органическом, произвольном процессе творчества гений помимо воли, *помимо сознания* неожиданно для самого себя приходит иногда к таким комбинациям чувств, образов и идей, глубину и значительность которых дано оценить только

отдаленным поколениям читателей. В этом смысле поэт носит в своей груди не только прошлое, но и неизвестное будущее всего человечества», — писал о Сервантесе Дмитрий Мережковский.

Наверное, в разные эпохи Дон Кихот был нужен русскому обществу по-разному. В далеком XIX веке — думаю, как «символ веры» всех оппонентов тогдашнего режима, антагонистов российского устройства жизни, казавшегося незыблемым. Как *alter ego* Герцена и Добролюбова, Желябова и Перовской, целого поколения «народников» и борцов, которые отчаянно сражались с ветряными мельницами из поколения в поколение.

В культуре сталинской эпохи он олицетворял ценности официального «гуманизма» в борьбе с «феодализмом» и прочими измами, помогал приспособить под советские клише всю историю Европы.

Мещане, обыватели позднесоветского розлива, номенклатурщики и винтики системы — во всех них целился своим длинным и острым копьём «Человек из Ламанчи», один из главных спектаклей «шестидесятников».

При этом с песнями и танцами — то есть открывая зрителю совершенно другой театр: театр веселья и импровизации.

Сегодняшний Дон Кихот — совсем другой.

И здесь я снова должен вернуться к Тимофею Трибунцеву, исполнителю главной роли. Потому что спектакль, поставленный Антоном Фёдоровым в Театре Наций, относится к тому разряду, надо сказать, любимому мной, когда *другой* актёр на сцене просто невозможен, и вся структура, все линии, вся палитра красок создателей спектакля — держится именно на одной личности.

...Он очень страшный и в то же время неуловимо трогательный.

Как и в любом настоящем клоуне, в этом актёре присутствует и безумие, и добрая вера в лучшее (а амплуа тут именно клоунское, и думаю, совершенно не случайно сам облик исполнителя противостоит привычным клише советского театра и кино — высокий, с длинными усами, нелепый и добрый дедушка, нет, Трибунцев именно «злой клоун», с «диким глазом», маленький и дерганый, с кровавыми тампонами в носу). Да, смешение разных начал. Но только это смешение — оно не константа, а происходит прямо на наших глазах, и вот в пробирке, которая и кипит, и булькает, и переливается разными красками, — происходит постоянное перерождение Дон Кихота.

И это, кстати, очень важный шаг в понимании образа: если в том, «старом „Дон Кихоте“» мучительная реальность разбивалась о неизменные «рыцарские ценности», то в спектакле Фёдорова Дон Кихот меняется сам в зависимости от ситуаций, причем сам же их и создает.

Если в семнадцатом веке Сервантес брал за основу пародию на рыцарские романы, то в двадцать первом — автор спектакля о Дон Кихоте «сегодняшнем» берет за основу бандитский кинематограф, гангстерские саги, приключения героя, вооруженного пистолетом. (Многие критики пишут об аллюзиях к фильмам Тарантино, мне вот как-то такие сравнения не приходили в голову, когда я сидел в зале, никаких отсылов и аллюзий я не нашел, всё сделано здесь и сейчас).

Да, герой Трибунцева бродит по сцене с пистолетом и даже порой стреляет, берет в заложники посетителей обычной прачечной, приходящих сюда привести в порядок свою одежду, — наркомана, проститутку, да просто обычных людей, чтобы заставить их играть в свою игру, и в первой части он предстает настоящим маньяком, — пусть это маньяк «высокой идеи», но это в первую очередь маньяк.

Верней, *кажется* таким.

Удивительно, что, поменяв буквально всё, режиссёр оставляет своих героев в выдуманной Испании, на сцене даже появляются персонажи-бандиты, пародийно говорящие на псевдо-испанском языке, тут и прачечная «не наша», и улица «не наша», и всё «не как у нас», за исключением самого Дон-Кихота, потому что более «русского» актёра, чем Тимофей Трибунцев (особенно после «Подслушано в Рыбинске»), я и придумать себе не могу.

Ну, наверное, выдуманный мир легче кроить и клеить заново, да и странно было бы (наверное) помещать Дон Кихота буквально в российский социум, хотя...

Замечу на полях, про «клеить и кроить», что спектакль в этом смысле абсолютно «ручной работы», то есть режиссёр не просто сам создавал костюмы для всех персонажей, придумывал всё пространство спектакля и его мельчайшие детали, именно как художник (он и в официальной программке обозначен в двух этих ипостасях), не просто вместе с художником по свету Игорем Фоминым и мультипликатором Надей Гольдман создавал невероятно сложную визуальную палитру, — спектакль в принципе наполнен и даже слегка переполнен находками, шутками, приёмами, маленькими новеллами, микро-историями, это целый мир, далеко не просто устроенный и не такой уж однозначно-понятный для восприятия.

Так вот, что касается выдуманной Испании в спектакле.

Мне кажется, она и появилась на сцене, такая яркая, «не наша», — чтобы на контрасте подчеркнуть, что спектакль именно о России.

Но что же здесь русского?

Во-первых, образ человека, который под дулом пистолета загоняет человечество к счастью, к «правильным» ценностям и к идеальному устройству жизни. У каждого из нас возникнут свои аллюзии (вовсе не тарантиновские), но все они точно из нашей истории.

Во-вторых, обращением к «маленькому человеку», который пытается быть большим, а в этом спектакле целая галерея образов несчастных маргиналов, убогих простаков, с трудом выживающих в этом «прекрасном новом мире», созданном современной цивилизацией, попросту раздавленных ею. (И здесь я бы обязательно отметил, конечно, Семёна Штейнберга, Артёма Шевченко, Марию Лапшину, Наталью Рычкову, Сергея Шайдакова — без всех тех, кто постоянно присутствует на сцене, даже порой бессловесно, невозможен и сам Дон Кихот.)

Однако «маленькие люди» есть везде, но почему-то не покидает ощущение, что они именно «наши», — почему? Может быть, дело в их «выученной беспомощности», то есть привычке *так* жить?

Ну и наконец то, что преображает спектакль и неожиданно выравнивает его смыслы.

Две встречи Дон Кихота с «внешним миром», которые становятся для него подлинным потрясением.

Это встреча с «настоящим рыцарем» Карденьо (Андрей Максимов), огромным бойцом в доспехах, пахнущим порохом и железом, — практически «машина для убийства», он, конечно, тоже пришел ко двору в современном мире. И несмотря на «душевные порывы» он именно страшен, а не смешон (оказывается, рыцари существуют, но они совсем другие — вот потрясение).

И это встреча с Герцогом и Герцогиней (Алексей Чернышов и Анастасия Светлова). Как и в романе, они играют с Дон Кихотом, притворяются, что согласны с ним во всём, в конце концов, издеваются и ёрничают.

Но тут, в спектакле, происходит нечто особенное: режиссёр как будто отдирает с треском скотч, скрепляющий условность и реальность, и получается, что на сцену вышли сегодняшние богатые, сидевшие в зале рядом с нами, купившие билет таким образом, чтобы оказаться на сцене, рядом с героями, рядом с «Дон Кихотом». Интерактив! Мы можем только догадываться, сколько стоит такой билет, но дело не в этом — они настоящие!

Это очень узнаваемые персонажи. Буквально из нашей жизни.

Для них (в первую очередь для роскошно одетой и прекрасно выглядящей Герцогини) эта «рыцарская история» прежде всего забавный трюк, аттракцион, развлечение, товар.

Своим восторженным смехом она уничтожает Дон Кихота, все его идеи и мечты, как из огнемета.

Богатство и власть вытесняют со сцены и искусство, и жизнь.

Богатство и власть — то главное, что самой жизни противостоит, по Антону Фёдорову.

И делает он это очень ярко.

В этом двойном зеркале Дон Кихот вдруг оказывается другим.

Вовсе не маньяком. Вовсе не злым клоуном.

Вовсе не безумцем с пистолетом, берущим в заложники несчастных героев «прачечной».

Если он и маньяк, то только своей идеи — как и сказано в начале, — сделать мир таким, чтобы в нём было место любви и нежности, и где люди, преодолевая обстоятельства, чем-то реально жертвуют ради других и на что-то надеются.

Имеет ли право Дон Кихот кого-то убивать ради этой идеи? Конечно же, нет.

Имеет ли он право страдать и погибать ради нее? Конечно же, да.

Какой же он на самом деле? Мы не знаем, мы ждем продолжения, мы верим в то, что изменится наш мир.

В лучшую сторону.

Summary

Alexei Ivanov. The Formula of the Moscow Morning

"We, half-baked Muscovites, "renegades" from Petersburg-Leningrad were walking to get acquainted with Moscow and admired it. We liked everything: crooked streets going up and down — a wonder for Peter, old Moscow mansions with family monograms on the facades, the tangle of Basmannij bystreets..." In this long short story the protagonists are travelling through time and circumstances of the past life and through the political twists and turns.

Nickolay Verevchkin. A Hut in the Walnut Grove

"A sad beauty, the gloom of loneliness, the bitter flavor of detachment wafted from the abandoned dwelling... Under the jar with a candle there was a yellowish piece of paper: "Welcome, the kind person! Take a rest, feel yourself at home. When leaving don't forget to shut the door". The host has left his hut long ago, probably he is not among the living already but his invitation is here. The story is about the fullness and fragility of life. The watercolor writing of the author refers to Paustovskij and Kazakov.

Poetry

The lyrical miniatures of Alexej Alyokhin aphoristic, light, ringing like "notes out of the air" are about creation, people's fates and life which is no less but also no more than "inhale and exhale".

Evgeinij Dyakonov and Olga Sulchinskaya's poems are about love.

The poet from Kazakhstan Zair Asim in his philosophical vers libre is meditating over "the life of the memory" and makes a paradoxical conclusion: "The memoirs are given us for not to remember".

Alexander Vaskin. The Generation of "Santa-Barbara"

Two pictures from the kaleidoscope of the "dashing nineties".

Watching "Santa-Barbara" became a part of the everyday life. There were even anecdotes. The wife tells her husband: "I'll go to live at Santa-Barbara!" The husband answers: "How are you going to live there? You even don't know the language". "But at least I know everybody there!"

1998. Alexander Solzhenitsyn refuses to receive the highest award of the state the Order of St Andrew the First-Called: "I can't take the award from the supreme authority which has brought Russia up to the present disastrous condition".

The culture of the "dashing nineties" differs from the eras of stagnation and thaw sing by the fact that it is very difficult to be structured, — asserts the author.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России — ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»
Москва, ул. Тверская, 17
(вход с Малого Гнездниковского переулка)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



**7/2025**

Читайте:

Владимир Лим. Последнее кочевье. Роман

*Они шли колонной на бронетранспортёрах и грузовиках по дороге к Панджшерскому ущелью, и он думал, как нагрузит это слово смыслами, подскакивая на ухабах, когда моджахеды выбили первую и последнюю машины и стали поливать их, словно беззащитных зверей в клетке, из пулемётов и русских «калашей», продолжая выбивать гранатомётами, одну за другой, боевые машины, и он побежал за всеми. Майор, только что сидевший рядом с ним, стоял теперь возле перевернутой взрывом машины и что-то кричал ему или в рацию, а он рвался бежать прочь от этого страшного места, ему, как и всем пацанам, очень хотелось жить, и когда майор упал, он побежал дальше, к скале, и переставлял ноги до тех пор, пока вдруг ясно, как будто с него спала какая-то пелена, не понял, что он **проклятый трус**, и с этим ему придётся доживать свою **поганую трусливую жизнь**. И он развернулся, закричал что-то солдатам, подобрал брошенный кем-то автомат, побежал навстречу пулям, они свистели над головой, щёлкали о камни, обходили, облетали, словно заговорённого, и оттащил майора за дымящий бронетранспортёр, а потом с размаху кинулся под грузовик, в эту жуткую чёрную дыру в приподнятом углу расплющенного кузова, откуда уже никто не выползал. И поэтому запомнил, что грузовик лежал кверху колёсами, и колёса эти бешено крутились.*

